МШолохов

6

# МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

# МИХАИЛ ШОЛОХОВ

## Собрание сочинений в восьми томах



Москва
«Художественная литература»
1986

# МИХАИЛ ШОЛОХОВ

## Собрание сочинений

## Том 6

# ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

Роман
в двух
книгах



Москва
«Художественная
литература»
1986

Р2
Ш78

Составление
*М. Манохиной*

Оформление
*Ю. Боярского*

Ш $\frac{4702010200-109}{028(01)-86}$ подписное

# ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

## Книга вторая

## ГЛАВА I

Земля набухала от дождевой влаги и, когда ветер раздвигал облака, млела под ярким солнцем и курилась голубоватым паром. По утрам из речки, из топких, болотистых низин вставали туманы. Они клубящимися волнами перекатывались через Гремячий Лог, устремляясь к степным буграм, и там таяли, невидимо растворялись в нежнейшей бирюзовой дымке, а на листьях деревьев, на камышовых крышах домов и сараев, повсюду, как рассыпанная каленая дробь, приминая траву, до полудня лежала свинцово-тяжелая, обильная роса.

В степи пырей поднялся выше колена. За выгоном зацвел донник. Медвяный запах его к вечеру растекался по всему хутору, волнуя томлением сердца девушек. Озимые хлеба стояли до горизонта сплошной темно-зеленой стенкой, яровые радовали глаз на редкость дружными всходами. Серопески густо ощетинились стрелками молодых побегов кукурузы.

К концу первой половины июня погода прочно установилась, ни единой тучки не появлялось на небе, и дивно закрасовалась под солнцем цветущая, омытая дождями степь! Была она теперь, как молодая, кормящая грудью мать,— необычно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства.

Каждое утро, еще до восхода солнца, Яков Лукич Островнов, накинув на плечи заношенный брезентовый плащ, выходил за хутор любоваться хлебами. Он подолгу стоял у борозды, от которой начинался зеленый, искрящийся росинками разлив озимой пшеницы. Стоял неподвижно, понурив голову, как старая, усталая лошадь, и размышлял:

«Ежели во время налива не дунет «калмык» [1], ежели не прихватит пшеничку суховеем, огрузится зерном колхоз, будь он трижды богом проклят! Везет же окаянной Советской власти! Сколько годов при единоличной жизни не было дождей вовремя, а ныне лило, как на пропасть! А будет хороший урожай — и перепадет колхозникам на трудовые дни богато, да разве тогда повернешь добром их против Советской власти? Ни в жизнь! Голодный человек — волк в лесу, куда хошь пойдет; сытый человек — свинья у кормушки, его и с места не стронешь. И чего господин Половцев думают, чего они дожидаются, ума не приложу! Самое время бы сейчас качнуть Советскую власть, а они прохлаждаются...»

Яков Лукич, уставший от ожидания обещанного Половцевым переворота, рассуждал так, конечно, со зла. Он отлично знал, что Половцев вовсе не прохлаждается и чего-то выжидает отнюдь не зря. Почти каждую ночь по яру, вплотную подходившему с горы к саду Островнова, пробирались из дальних хуторов и чужих станиц гонцы. Они, наверное, оставляли лошадей в лесистой вершине яра, а сами шли пешком. На тихий, условный стук им открывал дверь Яков Лукич, не зажигая лампы, провожал в горенку к Половцеву. В горенке ставни были закрыты день и ночь, а изнутри наглухо завешены толстыми, валяными из серой шерсти полстями. Даже в солнечный день там было темно, как в погребе, и так же, как в погребе, пахло плесенью, сыростью и затхлым, спертым воздухом редко проветриваемого помещения. Днем ни Половцев, ни Лятьевский не выходили из дому; парашу добровольным узникам заменяло стоявшее под оторванной половицей оцинкованное ведро.

Каждого из тех, кто воровски приходил по ночам, Яков Лукич бегло осматривал, зажигая в сенцах спичку, но еще ни разу он не встречал знакомого лица; все были чужие и, как видно, издалека. Как-то у одного из связных Яков Лукич осмелился тихо спросить:

— Ты откуда, станишник?

Мерцающий огонек спички осветил под башлыком бородатое, добродушное по виду лицо пожилого казака, и Яков Лукич увидел прищуренные глаза и блеснувшие в насмешливой улыбке зубы.

---

[1] Калмык — юго-восточный ветер. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

— С того света, станишник! — таким же тихим шепотом ответил приезжий. И повелительно добавил: — Веди скорее к самому и поменьше любопытствуй!

А спустя двое суток этот же бородатый и с ним еще один казак, помоложе, приехали снова. Они внесли в сенцы что-то тяжелое, но ступали тихо, почти бесшумно. Яков Лукич зажег спичку, увидел на руках у бородатого два офицерских седла, перекинутые через плечо уздечки с серебряным набором; второй держал на плече какой-то сверток, длинный и бесформенный, завернутый в черную лохматую бурку.

Бородатый, как давнишнему знакомому, подмигнул Якову Лукичу, спросил:

— У себя? Оба дома? — и, не дожидаясь ответа, пошел в горенку.

Спичка догорала, обжигая пальцы Якова Лукича. В темноте бородатый обо что-то споткнулся, вполголоса выругался.

— Погоди, я сейчас,— сказал Яков Лукич, доставая непослушными пальцами спичку из коробка.

Половцев сам открыл дверь, тихо сказал:

— Входите. Да входите же, что вы там возитесь? Зайди и ты, Яков Лукич, ты мне нужен. Потише, я сейчас зажгу огонь.

Он зажег фонарь «летучая мышь», но прикрыл его сверху курткой, оставив лишь узкую полоску света, косо ложившуюся на крашенные охрой доски пола.

Приезжие почтительно поздоровались, положили возле двери принесенные вещи. Бородатый сделал два шага вперед, щелкнул каблуками, протянул вытащенный из-за пазухи пакет. Половцев вскрыл конверт, быстро пробежал письмо, близко придвинув его к фонарю, сказал:

— Скажите Седому спасибо. Ответа не будет. Жду от него вестей не позже двенадцатого. Можете отправляться. Рассвет вас не застанет в дороге?

— Никак нет. Добежим. У нас кони добрые,— ответил бородатый.

— Ну ступайте. Благодарю за службу.

— Рады стараться!

Оба разом повернулись, как один, щелкнули каблуками, вышли. Яков Лукич восхищенно подумал: «Вот это вышколенные! Старую школу проходили на строевой службе, по ухватке видно!.. А почему же они его никак не величают?..»

Половцев подошел к нему, положил тяжелую руку на

плечо. Яков Лукич невольно подобрался, выпрямив спину, вытянув руки по швам.

— Видал орлов? — Половцев тихо засмеялся.— Эти не подведут. Эти за мной пойдут в огонь и в воду, не так, как некоторые подлецы и маловеры из хутора Войскового. Теперь посмотрим, что нам привезли...

Став на одно колено, Половцев проворно распутал белые сыромятные ремни, туго спеленавшие бурку, развернул ее и достал части разобранного ручного пулемета, завернутые в промасленную мешковину четыре матово блеснувших диска. Потом осторожно извлек две шашки. Одна из них была простая, казачья, в потерханных, видавших виды ножнах, другая — офицерская, с глубоко утопленной серебряной головкой и георгиевским потускневшим темляком на ней, в ножнах, выложенных серебром с чернью, на черной кавказской портупее.

Половцев, опустившись уже на оба колена, на ладонях вытянутых рук держал шашку, откинув голову, как бы любуясь тусклыми отсветами серебра, а потом прижал ее к груди, сказал дрогнувшим голосом:

— Милая моя, красавица! Верная старушка моя! Ты мне еще послужишь верой и правдой!

Массивная нижняя челюсть его мелко задрожала, на глазах вскипели слезы ярости и восторга, но он кое-как овладел собой и, повернувшись к Якову Лукичу бледным, исказившимся лицом, зычно спросил:

— Угадываешь ты ее, Лукич?..

Яков Лукич сделал судорожное глотательное движение, молча кивнул головой: он узнал эту шашку, он впервые видел ее еще в тысяча девятьсот пятнадцатом году на молодом и бравом хорунжем Половцеве на австрийском фронте...

Молча и с безразличным видом лежавший на кровати Лятьевский привстал, свесил босые ноги, с хрустом потягиваясь, угрюмо сверкнул единственным глазом.

— Трогательное свидание! — хрипло сказал он.— Повстанческая, так сказать, идиллия. Не люблю я этих сентиментальных сцен, заквашенных на дурном пафосе!

— Перестаньте! — резко сказал Половцев.

Лятьевский пожал плечами:

— Почему я должен перестать? И что я должен перестать?

— Перестаньте, прошу вас! — совсем тихо проговорил

Половцев, поднимаясь на ноги и медленной, словно крадущейся походкой направляясь к кровати.

В прыгающей левой руке он держал шашку, правой расстегивал, рвал ворот серой толстовки. Яков Лукич с ужасом увидел, как от бешенства сошлись к переносью глаза Половцева, как под цвет толстовки стало его одутловатое лицо.

Спокойно и не торопясь Лятьевский прилег на кровать, закинул за голову руки.

— Театральный жест! — сказал он, насмешливо улыбаясь, глядя в потолок одиноким глазом.— Все это я уже видел, и не раз, в паршивых провинциальных театрах. Мне это надоело!

Половцев остановился в двух шагах от него, очень усталым движением поднял руку, вытер испарину со лба; потом рука, безвольная и обмякшая, скользнула вниз.

— Нервы...— сказал он невнятно и косноязычно, как парализованный, и лицо его потянула куда-то вкось похожая на улыбку длинная судорога.

— И это я слышал уже не раз. Да полно вам бабиться, Половцев! Возьмите себя в руки.

— Нервы...— промычал Половцев.— Шалят нервы... Мне тоже надоело в этой темноте, в этой могиле...

— Темнота — друг мудрых. Она способствует философским размышлениям о жизни, а нервы практически существуют только у малокровных, прыщеватых девиц и у дам, страдающих недержанием слова и мигренью. Нервы — позор и бесчестье для офицера! Да вы только притворяетесь, Половцев, нет у вас никаких нервов, одна блажь! Не верю я вам! Честное офицерское слово, не верю!

— Вы не офицер, а скот!

— И это я слышал от вас не один раз, но на дуэль я вас все равно вызывать не буду, идите вы к черту! Старо и несвоевременно, и дела есть поважнее. К тому же, как вам известно, достопочтеннейший, дерутся только на шпагах, а не на полицейских селедках, образец которой вы так трогательно и нежно прижимали к своим персям. Как старый артиллерист, я презираю этот вид холодного украшения. Есть и еще один аргумент против вызова вас на дуэль: вы — плебей по крови, а я — польский дворянин, одной из самых старых фамилий, которая...

— Слушай сюда, с... шляхтич! — грубо оборвал его Половцев, и голос его неожиданно обрел привычную твердость и металлический, командный накал.— Глумиться

над георгиевским оружием?! Если ты скажешь еще хоть одно слово, я зарублю тебя как собаку!

Лятьевский привстал на кровати. На губах его не было и тени недавней иронической улыбки. Серьезно и просто он сказал:

— Вот в это я верю! Голос выдает ваши искренние и добрые намерения, а потому я умолкаю.

Он снова прилег, до подбородка натянул старенькое байковое одеяло.

— Все равно я убью тебя,— упрямо твердил Половцев, по-бычьи склонив голову, стоя возле кровати.— Вот этим самым клинком я из одного ясновельможного скота сразу сделаю двух — и знаешь когда? Как только свергнем на Дону Советскую власть!

— Ну, в таком случае я могу спокойно жить до глубокой старости, а может быть, проживу вечно,— усмехаясь, сказал Лятьевский и, матерно выругавшись, отвернулся лицом к стене.

Яков Лукич возле двери переступал с ноги на ногу, словно стоял на горячих угольях. Несколько раз он порывался выйти из горенки, но Половцев удерживал его движением руки. Наконец он не вытерпел, взмолился:

— Разрешите мне удалиться, ослобоните меня, ваше благородие! Уже скоро светать будет, а мне рано надо в поле ехать...

Половцев сел на стул, положил на колени шашку и, опираясь о нее руками, низко согнувшись, долго хранил молчание. Слышно было только, как тяжело, с сапом, он дышит да тикают на столе его большие карманные часы. Яков Лукич думал, что Половцев дремлет, но тот рывком поднял со стула свое грузное, плотно сбитое тело, сказал:

— Бери, Лукич, седла, а я возьму остальное. Пойдем спрячем все это в надежном и сухом месте. Может быть, в этом, как его... э, черт его... в сарае, где у тебя сложены кизяки, а?

— Место подходящее, пойдемте,— охотно согласился Яков Лукич, не чаявший выбраться из горенки.

Он уже взял было на руки одно седло, но тут Лятьевский вскочил с кровати как ошпаренный, бешено сверкая глазом, зашипел:

— Что вы делаете? Я спрашиваю вас: что вы изволите делать?

Половцев, склонившийся над буркой, выпрямился, холодно спросил:

— Ну, а в чем дело? Что вас так взволновало?

— Как же вы не понимаете? Прячьте, если вам угодно, седла и вот этот металлолом, но пулемет и диски оставьте! Вы живете не на даче у приятеля, и пулемет нам может понадобиться в любую минуту. Вы это понимаете, надеюсь?

После короткого раздумья Половцев согласился:

— Пожалуй, вы правы, радзивилловский ублюдок. Тогда пусть все остается здесь. Иди, Лукич, спать, можешь быть свободен.

И до чего же прочной на сохранность оказалась старая служивская закваска! Не успел Яков Лукич и подумать о чем-либо, а босые ноги его уже сами по себе, непроизвольно, сделали «налево кругом», и натруженные пятки сухо и почти неслышно стукнулись одна о другую. Заметивший это Половцев слегка улыбнулся, а Яков Лукич, только притворив за собою дверь, понял свою оплошность, крякнул от конфуза, подумал: «Попутал меня этот бородатый черт своей выправкой!»

До самого рассвета он не сомкнул глаз. Надежды на успех восстания сменялись у него опасениями провала и запоздалыми раскаяниями по поводу того, что очень уж опрометчиво связал свою судьбу с такими отпетыми людьми, как Половцев и Лятьевский. «Эх, поспешил я, влез как кур во щи! — мысленно сокрушался Яков Лукич.— Было бы мне, старому дураку, выждать, постоять в сторонке, не примолвливать поначалу Александра Анисимовича. Взяли бы они верх над коммунистами — вот тогда и мне можно было бы к ним пристать на готовенькое, а так — очень даже просто подведут они меня, как слепого, под монастырь... И так рассудить: ежели я в стороне, да другой, да третий, тогда что же получится? Век на своем хребту возить Советскую власть? Тоже не годится! А подобру-поздорову она с нас не слезет, ох, не слезет! Скорее бы уже какой-нибудь конец приходил... Обещает Александр Анисимович и десант из-за границы, и подмогу от кубанцев, мягко стелет, а каково спать будет? Господь его милостивый знает! А ну как союзники отломят высаживаться на нашу землю, тогда что? Пришлют, как в девятнадцатом году, английские шинели, а сами будут у себя дома кофеи распивать да со своими бабами в утеху играть,— вот тогда что мы будем делать с одними ихними шинелями? Кровяные сопли будем утирать полами этих шинелей, только и всего. Побьют нас большевики, видит бог, побьют! Им это дело привычное.

Тогда уж пропадем все, кто супротив них встанет. Дымом возьмется донская землица!»

От этих мыслей Якову Лукичу стало грустно и жалко себя чуть не до слез. Он долго кряхтел, стонал, крестился, шепча молитвы, а потом снова в назойливых думах вернулся к мирскому: «И чего Александр Анисимович не поделят с этим кривым поляком? Чего они постоянно сцепливаются? Такое великое дело предстоит, а они живут, как два злых кобеля в одной конуре. И все больше этот одноглазый наскакивает, брехливый, то так скажет, то этак. Поганый человек, никакой веры я ему не даю. Недаром пословица говорит: «Не верь кривому, горбатому и своей жене». Убьет его Александр Анисимович, ей-богу, убьет! Ну и господь с ним, все одно он не нашей веры».

Под эти успокаивающие мысли наконец-то Яков Лукич забылся недолгим и тягостным сном.

## ГЛАВА II

Яков Лукич проснулся, когда уже взошло солнце. За какой-то час он умудрился перевидеть множество снов — и все один другого нелепее и безобразнее.

То ему снилось, что он стоит в церкви возле аналоя, молодой и нарядный, в полном жениховском уборе, а рядом с ним — в длинном подвенечном платье, весь, как белым облаком, окутанный фатой, лихо перебирает ногами Лятьевский и пялит на него блудливо-насмешливый глаз и все время подмигивает им бесстыже и вызывающе. Яков Лукич будто бы говорит ему: «Вацлав Августович, негоже нам с тобой венчаться: ты же хучь и плохонький, а все-таки мужчина. Ну куда это годится, такое дело? Да и я уже женатый. Давай скажем про все это попу, а то он окрутит нас людям на смех!» Но Лятьевский берет холодной рукою руку Якова Лукича, наклоняясь к нему, доверительно шепчет: «Не говори никому, что ты женатый! А из меня, милый Яша, такая жена выйдет, что ты только ахнешь!» — «Да ну тебя к черту, кривой дурак!» — хочет крикнуть Яков Лукич, пытаясь вырвать свою руку из руки Лятьевского, но это ему не удается,— пальцы у Лятьевского холодные, стальные, а голос Якова Лукича странно беззвучен и губы будто сделаны из ваты... От ярости Яков Лукич плюется и просыпается. На бороде у него и на подушке — клейкая слюна...

Не успел он осенить себя крестным знамением и прошептать «свят, свят», а ему уже снова снится, что он с сыном Семеном, с Агафоном Дубцовым и другими одноxуторянами бродит по какой-то огромной плантации, под руководством одетых в белое молодых женщин-надсмотрщиц они рвут помидоры. И сам Яков Лукич и все окружающие его казаки почему-то голые, но никто, кроме него, не стыдится своей наготы. Дубцов, стоя к нему спиной, склоняется над помидорным кустом, и Яков Лукич, задыхаясь от смеха и возмущения, говорит ему: «Ты хучь не нагинайся так низко, рябой мерин! Ты хучь баб-то постыдись!»

Сам Яков Лукич срывает помидоры, смущенно приседая на корточки, и только одной правой рукой, левую он держит словно нагой купальщик перед тем как войти в воду...

Проснувшись, Яков Лукич долго сидел на кровати, тупо смотрел перед собой ошалело испуганными глазами. «Такие паскудные сны к добру не снятся. Быть беде!» — решил он, ощущая на сердце неприятную тяжесть и уже наяву отплевываясь при одном воспоминании о том, что недавно снилось.

В самом мрачном настроении он оделся, оскорбил действием ластившегося к нему кота, за завтраком ни с того ни с сего обозвал жену «дурехой», а на сноху, неуместно вступившую за столом в хозяйственный разговор, даже замахнулся ложкой, как будто она была маленькой девчонкой, а не взрослой женщиной. Отцовская несдержанность развеселила Семена: он скорчил испуганно-глупую рожу, подмигнул жене, а та вся затряслась от беззвучного смеха. Это окончательно вывело Якова Лукича из себя: он бросил на стол ложку, крикнул срывающимся от злости голосом:

— Оскаляетесь, а скоро, может, плакать будете!

Не докончив завтрака, он демонстративно стал вылезать из-за стола и тут, как на грех, оперся ладонью о край миски и вылил себе на штаны недоеденный горячий борщ. Сноха, закрыв лицо руками, метнулась в сени. Семен остался сидеть за столом, уронив на руки голову; только мускулистая спина его вздрагивала да ходуном ходили от смеха литые лопатки. Даже вечно серьезная жена Якова Лукича и та не могла удержаться от смеха.

— Что это с тобой, отец, ныне подеялось? — смеясь, спросила она.— С левой ноги встал или плохие сны снились?

— А ты почем знаешь, старая ведьма?! — вне себя крикнул Яков Лукич и опрометью выскочил из-за стола.

На пороге кухни он зацепился за вылезший из дверного косяка гвоздь, до локтя распустил рукав новой сатиновой рубахи. Вернулся к себе в комнату, стал искать в сундуке другую рубаху, и тут небрежно прислоненная к стене крышка сундука упала, весомо и звучно стукнула его по затылку.

— Да будь же ты проклят! И что это нынче за день выдался! — в сердцах воскликнул Яков Лукич, обессиленно садясь на табурет, бережно ощупывая вскочившую на затылке здоровенную шишку.

Кое-как он переоделся, сменил облитые борщом штаны и порванную рубаху, но так как очень волновался и торопился, то позабыл застегнуть ширинку. В таком неприглядном виде Яков Лукич дошел почти до правления колхоза, про себя удивляясь, почему это встречающиеся женщины, поздоровавшись, как-то загадочно улыбаются и поспешно отворачиваются... Недоумение его бесцеремонно разрешил семенивший навстречу дед Щукарь.

— Стареешь, милушка Яков Лукич? — участливо спросил он, останавливаясь.

— А ты молодеешь? Что-то по тебе не видно! Глаза красные, как у кроля́, и слезой взялись.

— Глаза у меня слезятся от ночных чтениев. На старости годов читаю и прохожу разное высшее образование, но держу себя в аккурате, а вот ты забывчив стал прямо по-стариковски...

— Чем же это я забывчив стал?

— Калитку дома позабыл закрыть, скотину пораспускаешь...

— Семен закроет,— рассеянно сказал Яков Лукич.

— Твою калитку Семен закрывать не будет...

Пораженный неприятной догадкой, Яков Лукич опустил глаза долу, ахнул и проворно заработал пальцами. В довершение всех бед и несчастий, свалившихся на него в это злополучное утро, уже во дворе правления Яков Лукич наступил на оброненную кем-то картофелину, раздавил ее и, поскользнувшись, растянулся во весь рост.

Нет, это было уже чересчур, и все творилось неспроста! Суеверный Яков Лукич был глубочайше убежден в том, что его караулит какое-то большое несчастье. Бледный, с трясущимися губами, вошел он в комнату Давыдова, сказал:

— Захворал я, товарищ Давыдов, отпустите меня нынче с работы. Кладовщик меня заменит.

— Ты что-то плохо выглядишь, Лукич,— сочувственно отозвался Давыдов.— Пойди отдохни. К фельдшеру сам зайдешь, или прислать его к тебе на дом?

Яков Лукич безнадежно махнул рукой:

— Фельдшер мне не поможет, отлежусь сам...

Дома он велел закрыть ставни, разделся и лег на кровать, терпеливо ожидая шествующую где-то беду... «А все эта проклятая власть! — мысленно роптал он.— Ни днем, ни ночью нету от нее спокою! По ночам какие-то дурачьи сны снятся, каких сроду в старое время не видывал, днем одно лихо за другим вожжою тянется за тобой... Не доживу я при этой власти положенного мне от бога сроку! Загнусь раньше времени!»

Однако тревожные ожидания Якова Лукича в этот день были напрасны: беда где-то задержалась и пришла к нему только через двое суток и с той стороны, откуда он меньше всего ожидал ее...

Перед сном Яков Лукич для храбрости выпил стакан водки, ночь проспал спокойно, без сновидений, а утром ободрился духом, с радостью подумал: «Пронесло!» День провел в обычной деловой суете, но на следующий день, в воскресенье, заметив перед ужином, что жена чем-то встревожена, спросил:

— Что-то ты, мать, вроде как не в себе? Аль корова захворала? Вчера и я тоже примечал за ней, будто она какая-то невеселая вернулась из табуна.

Хозяйка повернулась к сыну.

— Сема, выдь на-час, мне с отцом надо погутарить...

Причесывавшийся перед зеркалом Семен недовольно проговорил:

— Что это вы все какие-то секреты разводите? В горенке эти друзья отцовы — черт их навалил на нашу шею — день и ночь шепчутся, а тут — вы... Скоро от ваших секретов житья в доме не станет. Не дом, а женский монастырь: кругом одни шушуканья да шепотки...

— Ну, это не твоего телячьего ума дело! — вспылил Яков Лукич.— Сказано тебе — выйди, значит, выйди! Больно уж ты что-то разговорчив стал... Смотри, поджимай язык, а то его и прищемить недолго!

Семен вспыхнул, повернулся к отцу лицом, глухо сказал:

— А вы, папаня, тоже поменьше грозитесь! В семье

у нас пужливых и маленьких нету. А то, ежели мы один другому грозить зачнем, как бы всем нам хуже не было...

Он вышел, хлопнув дверью.

— Вот и полюбуйся на своего сыночка! Каков герой оказался, сукин сын! — с сердцем воскликнул Яков Лукич.

Никогда не вступавшая в пререкания с ним жена сказала сдержанно:

— Да ведь как рассудить, Лукич, и нам эти твои жильцы-дармоеды не дюже в радость. Живем при них с такой оглядкой, аж тошно! Того и гляди, сделают у нас обыск хуторские власти, ну, тогда пропали! Не жизня у нас, а трясучка, каждого шороха боишься, каждого стука. Не дай и не приведи господь никому такой жизни! И об тебе и об Семушке я вся душой изболелась. Дознаются про наших постояльцев, заберут их — да и вас прихватют. А тогда что мы, одни бабы, будем делать? По миру с сумкой ходить?

— Хватит! — прервал ее Яков Лукич.— Без вас с Семкой знаю, что делаю. Ты об чем хотела гутарить? Выкладывай!

Он плотно притворил обе двери, близко подсел к жене. Вначале он слушал ее, наружно не выказывая охватившей его тревоги, а под конец, уже не владея собой, вскочил с лавки, забегал по кухне, потерянно шепча:

— Пропали! Погубила ро́дная мамаша! Голову сняла!

Немного успокоившись, он выпил подряд две большие кружки воды, в тяжком раздумье опустился на лавку.

— Что же будешь делать теперь, отец?

Яков Лукич не ответил на вопрос жены. Он его не слышал...

Из рассказа жены он узнал, что недавно приходили четыре старухи и настоятельно требовали, чтобы их провели к господам офицерам. Старухам не терпелось узнать, когда офицеры, с помощью приютившего их Якова Лукича и других гремяченских казаков, начнут восстание и свергнут безбожную Советскую власть. Тщетно жена Якова Лукича заверяла их, что никаких офицеров в доме не было и нет. В ответ на это горбатая и злая бабка Лощилина разгневанно сказала ей: «Молода ты мне, матушка, брехать! Твоя же родная свекровь говорила нам, что офицерья ишо с зимы проживают у вас в горнице. Знаем, что живут они, потаясь людей, но ведь мы же никому не скажем про них. Веди нас к старшему, какого Александром Анисимычем кличут!»

...Входя к Половцеву, Яков Лукич испытывал уже знакомый ему трепет. Он думал, что Половцев, услышав о случившемся, взбесится, даст волю кулакам, и ждал расправы, по-собачьи покорный и дрожащий. Но, когда он, сбиваясь и путаясь от волнения, однако ничего не утаив, рассказал все, что услышал от жены, Половцев только усмехнулся:

— Нечего сказать, хороши из вас конспираторы... Что ж, этого и надо было ожидать. Стало быть, подвела нас твоя мамаша, Лукич? Что же теперь будем делать, по-твоему?

— Уходить вам надо от меня, Александр Анисимович! — решительно сказал ободренный приемом Яков Лукич.

— Когда?

— Чем ни скорее, тем лучше. Раздумывать дюже некогда.

— Без тебя знаю. А куда?

— Не могу знать. А где же товарищ... Извиняйте, пожалуйста, за оговорку! Где же господин Вацлав Августович?

— Нет его. Будет ночью, и ты его встретишь завтра возле сада. Атаманчуков тоже на краю хутора живет? Вот там и перебуду считанные дни... Веди!

Они дошли крадучись, и, перед тем как расстаться, Половцев сказал Якову Лукичу:

— Ну, будь здоров, Лукич! Ты подумай, Лукич, насчет своей мамаши... Она может завалить все наше дело... Ты об этом подумай... Лятьевского встретишь и скажешь, где я сейчас.

Он обнял Якова Лукича, коснулся его жесткой, небритой щеки сухими губами и, отдалившись, как бы прирос к давно не мазанной стенке дома, исчез...

Яков Лукич вернулся домой и, улегшись спать, необычно сурово подвинул к краю жену, сказал:

— Ты вот что... ты мать больше не корми... и воды ей не давай... она все равно помрет не нынче-завтра...

Жена Якова Лукича, прожившая с ним долгую и нелегкую жизнь, только ахнула:

— Яша! Лукич! Ты же сын ее!

И тут Яков Лукич, чуть ли не впервые за все время совместного и дружного житья, наотмашь, с силой ударил немолодую свою жену, сказал приглушенно и хрипло:

— Молчи! Она же нас в такую трату даст! Молчи! В ссылку хочешь?

Яков Лукич тяжело поднялся, снял с сундука небольшой замок, осторожно прошел в теплые сени и замкнул дверь горенки, где была его мать.

Старуха услышала шаги. Давным-давно она привыкла узнавать его по шагам... Да и как же ей было не научиться распознавать слухом даже издали поступь сына? Пятьдесят с лишним лет назад она — тогда молодая и красивая казачка,— отрываясь от домашней работы, стряпни, с восторженной улыбкой прислушивалась к тому, как неуверенно, с перерывами шлепают по полу в соседней горнице босые ножонки ее первенца, ее единственного и ненаглядного Яшеньки, ползунка, только что научившегося ходить. Потом она слышала, как вприпрыжку, с пристуком, топочут по крыльцу ножки ее маленького Яшутки, возвращающегося из школы. Тогда он был веселый и шустрый, как козленок. Она не помнит, чтобы в этом возрасте он когда-нибудь ходил,— он только бегал, и бегал-то не просто, а с прискоком, вот именно как козленок... Тянулась жизнь — как и у всех, кто живет,— богатая длинными горестями и бедная короткими радостями; и вот она — уже пожилая мать — недовольно вслушивается по ночам в легкую, как бы скользящую походку Яши, стройного и разбитного парня, сына, которым она втайне гордилась. Когда он поздно возвращался с игрищ, казалось, что чирики его почти не касаются половиц,— так легка и стремительна была его юношеская поступь. Незаметно для нее сын стал взрослым семейным человеком. Тяжеловесную уверенность приобрела его походка. Уже давно звучат по дому шаги хозяина, зрелого мужа, почти старика, а для нее он по-прежнему Яшенька, и она часто видит его во сне маленьким, белобрысым и шустрым мальчуганом...

Вот и теперь, заслышав его шаги, она спросила глуховатым, старушечьим голосом:

— Яша, это ты?

Сын не отозвался ей. Он постоял возле двери и вышел во двор, почему-то ускорив шаги. Сквозь дремоту старуха подумала: «Хорошего казака я родила и доброго хозяина, слава богу, вырастила! Все спят, а он на баз пошел, по хозяйству хлопочет». И горделивая материнская улыбка слегка тронула ее бесцветные, высохшие губы...

С этой ночи в доме стало плохо...

Старуха — немощная и бессильная — все же жила; она просила хоть кусочек хлеба, хоть глоток воды, и Яков

Лукич, крадучись проходя по сенцам, слышал ее задавленный и почти немой шепот:

— Яшенька мой! Сыночек родимый! За что же?! Хучь воды-то дайте!

...В просторном курене все домашние избегали бывать. Семен с женой и дневали и ночевали во дворе, а жена Якова Лукича, если хозяйственная нужда заставляла ее бывать в доме, выходила, трясясь от рыданий. Но когда к концу вторых суток сели за стол ужинать и Яков Лукич после долгого безмолвия сказал: «Давайте пока это время переживем тут, в летней стряпке»,— Семен вздрогнул всем телом, поднялся из-за стола, качнулся, как от толчка, и вышел...

...На четвертый день в доме стало тихо. Яков Лукич дрожащими пальцами снял замок, вместе с женой вошел в горенку, где когда-то жила его мать... Старуха лежала на полу около порога, и случайно забытая на лежанке еще с зимних времен старая кожаная рукавица была изжевана ее беззубыми деснами... А водой она, судя по всему, пробавлялась, находя ее на подоконнике, где сквозь прорезь ставни перепадал и легкий, почти незаметный для глаза и слуха дождь и, может быть, ложилась в это туманное лето роса...

Подруги покойницы обмыли ее сухонькое, сморщенное тело, обрядили, поплакали, но на похоронах не было человека, который плакал бы так горько и безутешно, как Яков Лукич. И боль, и раскаяние, и тяжесть понесенной утраты — все страшным бременем легло в этот день на его душу...

## ГЛАВА III

Тоска по физическому труду угнетала Давыдова. Все его здоровое, сильное тело жадно просило работы, такой работы, от которой к вечеру в тяжелом и сладком изнеможении ныли бы все мускулы, а ночью вместе с желанным отдыхом немедля бы приходил и легкий, без сновидений, сон.

Однажды Давыдов зашел в кузницу проверить, как подвигается ремонт обобществленных лобогреек. Кисло-горький запах раскаленного железа и жженого угля, певучий звон наковальни и старчески хриплые, жалующиеся вздохи древнего меха повергли его в трепет. Несколько

минут он молча стоял в полутемной кузнице, блаженно закрыв глаза, с наслаждением вдыхая знакомые с детства, до боли знакомые запахи, а потом не выдержал искушения и взялся за молот... Два дня он проработал от зари до зари, не выходя из кузницы. Обед ему приносила хозяйка. Но какая же это к черту работа, когда через каждые полчаса человека отрывают от дела, синея, стынет в клещах поковка, ворчит старый кузнец Сидорович и мальчишка-горновой откровенно ухмыляется, глядя, как уставшая от напряжения рука Давыдова, то и дело роняя на земляной пол карандаш, вместо разборчивых букв выводит на очередной деловой бумажке какие-то несуразные, ползущие вкривь и вкось каракули.

Плюнул Давыдов на такие условия труда и, чтобы не быть помехой Сидоровичу, ругаясь про себя, как матерый боцман, ушел из кузницы; мрачный, злой засел в правлении колхоза.

По сути, целые дни он тратил на разрешение обыденных, но необходимых хозяйственных вопросов: на проверку составляемых счетоводом отчетов и бесчисленных сводок, на выслушивание бригадирских докладов, на разбор различных заявлений колхозников, на производственные совещания,— словом, на все то, без чего немыслимо существование большого коллективного хозяйства и что в работе менее всего удовлетворяло Давыдова.

Он стал плохо спать по ночам, утром просыпался с неизменной головной болью, питался кое-как и когда придется, и до вечера не покидало его ощущение незнакомого прежде, непонятного недомогания. Как-то незаметно для себя самого Давыдов чуточку опустился, в характере его появилась никогда ранее не свойственная ему раздражительность, да и внешне выглядел он далеко не таким молодцеватым и упитанным, как в первые дни после приезда в Гремячий Лог. А тут еще эта Лушка Нагульнова и постоянные мысли о ней, всякие мысли... Не в добрый час перешла ему окаянная бабенка дорогу!

Всматриваясь насмешливо прищуренными глазами в осунувшееся лицо Давыдова, Размётнов как-то сказал:

— Все худеешь, Сема? Ты с виду сейчас как старый бык после плохой зимовки: скоро на ходу будешь ложиться, и весь ты какой-то облезлый стал, куршивый... Линяешь, что ли? А ты поменьше на наших девок заглядывайся и особенно — на разведенных жен. Тебе это дело для здоровья ужасно вредное...

— Иди ты к черту со своими дурацкими советами!

— А ты не злись. Ведь я же любя советую.

— Вечно ты придумываешь всякие глупости, факт!

Давыдов багровел медленно, но густо. Не в силах преодолеть смущение, он нескладно заговорил о чем-то постороннем. Однако Размётнов не унимался:

— Это тебя во флоте или на заводе научили так краснеть: не то чтобы одним лицом, но и всей шеей? А может, ты и всем туловом краснеешь! Сыми рубаху, я погляжу!

Только завидев недобрые искорки в помутневших глазах Давыдова, Размётнов круто изменил направление разговора, скучающе позевывая, заговорил о покосе, смотрел из-под полуопущенных век с притворной сонливостью,— но шельмоватую улыбку то ли не мог, то ли попросту не хотел спрятать под белесыми усами.

Догадывался Размётнов об отношениях Давыдова и Лушки или знал об этом? Скорее всего, что знал. Ну, разумеется, знал! Да и как можно было сохранить эти отношения в тайне, если беззастенчивая Лушка не только не хотела их скрывать, а даже нарочно выставляла напоказ. Дешевенькому самолюбию Лушки, очевидно, льстило то обстоятельство, что она — отвергнутая жена секретаря партячейки — прислонилась не к рядовому колхознику, а к самому председателю колхоза, и ее не оттолкнули.

Несколько раз она выходила из правления колхоза вместе с Давыдовым, вопреки суровым хуторским обычаям брала его под руку и даже слегка прижималась плечом. Давыдов затравленно озирался, боясь увидеть Макара, но руки не отнимал, приноравливаясь к Лушкиной поступи, шагал мелко, как стреноженный конь, и почему-то часто спотыкался на ровном... Нахальные хуторские ребятишки — жестокий бич влюбленных — бежали следом, всячески кривляясь, выкрикивали тонкими голосами:

Из кислого теста
Жених и невеста!

Они бешено изощрялись, без конца варьируя свое нелепое двустишие, и пока мокрый от пота Давыдов проходил с Лушкой два квартала, кляня в душе ребятишек, Лушку и свою слабохарактерность, «кислое тесто» последовательно превращалось в крутое, пресное, сдобное, сладкое и так далее. В конце концов терпение Давыдова иссякало: он мягко разжимал смуглые Лушкины пальцы, крепко вцепившиеся в его локоть, говорил: «Извини, мне некогда,

надо спешить»,— и уходил вперед крупными шагами. Но не так-то просто было отделаться от преследования назойливых ребят. Они разделялись на две партии: одна оставалась изводить Лушку, другая упорно сопровождала Давыдова. Было лишь одно верное средство избавиться от преследования. Давыдов подходил к ближайшему плетню, делал вид, что выламывает хворостину, и тотчас же ребят словно ветром сдувало. Только тогда председатель колхоза оставался полновластным хозяином улицы и ее окрестностей...

Не так давно, в глухую полночь, Давыдов и Лушка в упор наткнулись на сторожа ветряной мельницы, находившейся далеко в степи, за хутором. Сторож — престарелый колхозник Вершинин — лежал, укрывшись зипуном, под курганчиком старой сурчиной норы. Завидев идущую прямо на него пару, он неожиданно поднялся во весь рост, по-военному строго окликнул:

— Стой! Кто идет? — и взял на изготовку старенькое, к тому же еще незаряженное ружье.

— Свои. Это я, Вершинин! — неохотно отозвался Давыдов.

Он круто повернул назад, увлекая за собой Лушку, но Вершинин догнал их, умоляюще говоря:

— Не будет ли у вас, товарищ Давыдов, табачку хучь на одну завертку? Чисто пропадаю не куря, уши попухли!

Лушка не отвернулась, не отошла в сторону, не закрыла лица платком. Спокойно смотрела она, как торопливо отсыпает Давыдов табак из кисета, так же спокойно сказала:

— Пошли, Сема. А ты, дядя Николай, лучше воров стереги, а не тех, кто по степи любовь пасет. Не одни злые люди ночью гуляют...

Дядя Николай коротко хохотнул, фамильярно похлопал Лушку по плечу:

— Да ить, милая Луша... ночное дело — темное: кто — любовь пасет, а кто—чужое несет. Мое дело, сторожевое, окликать каждого, охранять ветряк, потому что в нем колхозный хлеб, а не кизяки. Ну, спасибо за табачок. Счастливо вам! Желаю удачи...

— На кой черт ты ввязываешься в разговоры? Отошла бы в сторону, может, он и не узнал бы тебя,— с нескрываемым раздражением сказал Давыдов, когда они остались одни.

— Мне не шестнадцать лет, и я не девка, чтобы мне стесняться всякого старого дурака,— сухо ответила Лушка.

— Но все-таки...

— Что все-таки?

— Зачем тебе все это надо на выставку выставлять?

— Да что он мне, родный папаша или свекор?

— Не понимаю я тебя...

— А ты понатужься да пойми.

Давыдов не видел в темноте, но по голосу догадался, что Лушка улыбается. Раздосадованный ее беспечностью к своей собственной женской репутации и полным пренебрежением к приличиям, он с жаром воскликнул:

— Да пойми же, дурочка, что я о тебе беспокоюсь!

Еще суше Лушка ответила:

— Не трудись. Я как-нибудь сама. Ты о себе беспокойся.

— Я и о себе беспокоюсь.

Лушка сразу остановилась, вплотную придвинулась к Давыдову. В голосе ее зазвучало злорадное торжество:

— Вот с этого ты и начинал бы, миленочек! Ты только о себе беспокоишься, и тебе стало досадно, что именно тебя с бабой ночью в степи увидели. А дяде Николаю все равно, с кем ты по ночам блудишь.

— При чем тут — «блудишь»? — озлился Давыдов.

— А что иначе? Дядя Николай пожил на свете и знает, что ты со мной сюда ночью пришел не ежевику собирать. И тебе стало страшно, что́ о тебе подумают в Гремячем добрые люди, честные колхозники. Так ведь? Тебе наплевать на меня! Не со мной, так с другой ты все равно гулял бы за хутором. Но тебе и грешить хочется, и в холодке, в тени, хочется остаться, чтобы никто про твои блудни не знал. Вот ты какой, оказывается, жук! А так, миленочек, не бывает, чтобы всю жизнь в холодке спасаться. Эх ты, а ишо матрос! Как же это у тебя так получается? Я не боюсь, а ты боишься? Выходит, что я мужчина, а ты баба, так, что ли?

Лушка была настроена скорее шутливо, чем воинственно, но по всему было видно, что она уязвлена поведением своего возлюбленного. Помолчав немного, презрительно поглядывая на него сбоку, она вдруг быстро сняла черную сатиновую юбку, сказала тоном приказа:

— Раздевайся!

— Ты спятила! Для чего это?

— Наденешь мою юбку, а я — твои штаны. Это будет по справедливости! Кто как себя ведет в этой жизненке, тому и носить то, что положено. Ну, поторапливайся!

Давыдов рассмеялся, хотя и был обижен Лушкиными словами и предложенным обменом. Всеми силами сдерживая накопившееся раздражение, он тихо сказал:

— Брось озоровать, Луша! Одевайся, пойдем.

Нехотя и вяло двигаясь, Лушка надела юбку, поправила волосы, выбившиеся из-под платка, и вдруг сказала с неожиданной и глубокой тоской в голосе:

— Скучно мне с тобой, матросский тюфяк!

Тогда до самого хутора они шли, не проронив ни слова. В переулке так же молча простились. Давыдов сдержанно поклонился, Лушка еле заметно кивнула головой, скрылась за калиткой, будто растаяла в густой тени старого клена...

Несколько дней они не встречались, а потом, как-то утром, Лушка зашла в правление колхоза, терпеливо выждала в сенях, когда уйдет последний посетитель. Давыдов хотел было закрыть дверь в свою комнату, но увидел Лушку. Она сидела на лавке, по-мужски широко расставив ноги, туго обтянув юбкой круглые колени, покусывала подсолнечные семечки и безмятежно улыбалась.

— Семечек хочешь, председатель? — спросила она смеющимся низким голосом. Тонкие брови ее слегка шевелились, глаза смотрели с открытой лукавинкой.

— Ты почему не на прополке?

— Сейчас пойду, видишь — одетая во все будничное. Зашла сказать тебе... Приходи сегодня, как стемнеет, на выгон. Буду ждать тебя возле гумна Леоновых. Знаешь, где оно?

— Знаю.

— Придешь?

Давыдов молча кивнул головою, плотно притворил дверь.

Он долго сидел за столом в мрачном раздумье, подперев щеки кулаками, уставившись взглядом в одну точку. Было ему о чем подумать!

Еще до первой размолвки два раза Лушка в сумерках приходила к нему на квартиру,— посидев немного, громко говорила:

— Проводи меня, Сема! На дворе темнеет, и я что-то боюсь идти одна. Ужасти, как боюсь. Я с детства ужасно пужливая, с детства напужанная темнотой...

Давыдов делал страшное лицо, указывал глазами на дощатую стенку, за которой хозяйка — старая религиозная женщина — негодующе, по-кошачьи злобно фыркала и гремела посудой, собирая мужу и Давыдову что-то на

ужин. Тонкий, изощренный слух Лушки отчетливо воспринимал свистящий шепот хозяйки:

— Это она-то боится! Сатана, а не баба! Да она в потемках на том свете сама к молодому черту ощупкой дорогу найдет и дожидаться не будет, когда он к ней припожалует. Прости, господи, мое великое согрешение! Это она-то пужливая! Напужаешь тебя темнотой, нечистого духа, как же!

Лушка только улыбалась, слушая столь нелестную для себя характеристику. Не таковская она была баба, чтобы на ее настроение повлияли наветы какой-то богомольной старухи! Чихать она хотела на эту вечно мокрогубую ханжу и чистюлю! На своем коротком замужнем веку отважной Лушке не в таких переделках приходилось бывать и не такие схватки выдерживать с гремяченскими бабами. Она отлично слышала, как хозяйка вполголоса бормотала за дверью, называя ее и беспутной и гулящей. Боже мой, да разве такие, сравнительно безобидные, слова приходилось Лушке выслушивать, а еще больше говорить самой в стычках с обиженными ею женщинами, когда они лезли в драку и нападали на нее с отменными ругательствами, в слепой наивности своей полагая, что только им одним положено любить своих мужей! Во всяком случае, Лушка умела постоять за себя и всегда давала противницам должный отпор. Нет, никогда и ни при каких обстоятельствах она не терялась и за хлестким словом в карман юбки не лазила, не говоря уже о том, что еще не было в хуторе такой ревнивицы, которая сумела бы опростоволосить Лушку, сорвать с ее головы платок... Но старуху она все же решила проучить — так просто, порядка ради, руководясь одним жизненным правилом: чтобы за ней, Лушкой, всегда оставалось последнее слово.

Во второе свое посещение она на минутку задержалась в проходной хозяйской комнате, пропустив вперед Давыдова, и, когда тот вышел в сени, а затем сбежал по скрипучим ступенькам крыльца, Лушка с самым невинным видом повернулась лицом к хозяйке. Лушкин расчет оказался безошибочным. Старая Филимониха наспех облизала и без того влажные губы, не переводя дыхания проговорила:

— Ну и бессовестная же ты, Лукерья, сроду я таких ишо не видывала!

Лушка с величайшей скромностью потупила глаза, остановилась посреди комнаты как бы в покаянном раздумье. У нее были очень длинные, черные, будто подрисо-

ванные ресницы, и когда она опустила их, на побледневшие щеки пала густая тень.

Обманутая этим притворным смирением, Филимониха уже примиреннее зашептала:

— Ты сама подумай, бабонька, мысленное это дело тебе, замужней, ну хучь и разведенной, являться на квартиру к холостому мужчине да ишо в потемках? Какую же это совесть перед людьми надо иметь, а? Опамятуйся ты, постыдись, ради Христа!

Так же тихо и елейно, в тон хозяйке, Лушка ответила:

— Когда господь бог, вседержитель наш и спаситель....— Тут она выжидающе замолчала, после короткой паузы подняла недобро сверкнувшие в сумраке глаза.

Богомольная хозяйка при упоминании имени божьего тотчас же набожно склонила голову, стала торопливо креститься; вот тогда-то Лушка и закончила торжествующе, но уже голосом по-мужски грубым и жестким:

— ...Когда бог раздавал людям совесть, делил ее на паи, меня дома не было, я на игрищах была, с парнями гуляла, целовалась-миловалась. Вот и не досталось мне при дележке ни кусочка этой самой совести. Поняла? Ну чего ты рот раскрыла и никак его не закроешь? А теперь вот тебе мой наказ: пока твой квартирант не придет домой, пока он со мной будет мучиться, молись за нас, грешных, старая кобыла!

Лушка величаво вышла, не удостоив ошеломленную, онемевшую, уничтоженную вконец хозяйку даже презрительным взглядом. Ожидавший ее у крыльца Давыдов настороженно спросил:

— О чем вы там, Луша?

— Все больше о божественном,— тихонечко смеясь и прижимаясь к Давыдову, ответила Лушка, усвоившая у бывшего мужа манеру отделываться шуткой от нежелательного разговора.

— Нет, серьезно: что она там шептала? Не обидела она тебя?

— Меня обидеть у нее просто возможностев никаких нету, не под силу ей это дело. А шипела она из ревности, ко мне тебя ревнует, мой щербатенький! — снова отшутилась Лушка.

— Подозревает она нас, факт! — Давыдов сокрушенно помотал головой.— Не надо было тебе приходить ко мне, вот в чем дело!

— Старухи испугался?

— Чего ради?

— Ну, а если такой парень-отвага, так нечего об этом и речей терять!

Трудно было убедить в чем-либо своенравную и взбалмошную Лушку. А Давыдов, как молнией, ослепленный внезапно подкравшимся большим чувством, уже не раз и всерьез подумывал о том, что надо объясниться с Макаром и жениться на Лушке, чтобы в конце концов выйти из того ложного положения, в какое он себя поставил, и тем самым прекратить всякие могущие возникнуть на его счет пересуды. «Я ее перевоспитаю! У меня она не очень-то попляшет и оставит всякие свои фокусы! Вовлеку ее в общественную работу, упрошу или заставлю заняться самообразованием. Из нее будет толк, уж это факт! Она неглупая женщина, а вспыльчивость ее кончится, отучу пылить! Я не Макар, у них с Макаром коса камень резала, а у меня не тот характер, я другой подход к ней найду»,— так, явно переоценивая свои и Лушкины возможности, самонадеянно думал Давыдов.

В тот день, когда они условились встретиться возле леоновского гумна, Давыдов уже с обеда начал посматривать на часы. Велико же было его изумление, перешедшее затем в ярость, когда за час до условленной встречи он услышал и распознал легкую Лушкину поступь по крыльцу, а затем ее звонкий голос:

— Товарищ Давыдов у себя?

Ни хозяйка, ни старик ее, как раз в это время находившийся дома, ничего не ответили. Давыдов схватил кепку, ринулся к двери и лицом к лицу столкнулся с улыбающейся Лушкой. Она посторонилась. Молча они вышли за калитку.

— Мне эти игрушки не нравятся! — грубо сказал Давыдов и даже кулаки сжал, задыхаясь от гнева.— Зачем ты явилась сюда? Где мы с тобой уговаривались встретиться? Отвечай же, черт тебя возьми!..

— Ты что на меня кричишь? Кто я тебе — жена или кучер твой? — в свою очередь спросила не потерявшая самообладания Лушка.

— Оставь! Я вовсе не кричу, а спрашиваю.

Лушка пожала плечами, издевательски спокойно проговорила:

— Ну, если спрашиваешь без крика, тогда другое дело. Соскучилась, вот и пришла раньше времени. Ты, небось, рад и доволен?

— Какой черт — «доволен»! Ведь теперь моя хозяйка будет трепаться по всему хутору! Что ты ей наговорила в прошлый раз, что она на меня и не смотрит, а только кудахчет, и кормит какой-то дрянью вместо обыкновенных щей? О божественном говорили? Хорошенький божественный разговор, если она при одном слове о тебе начинает икать и синеет, как утопленник! Это факт, я тебе говорю!

Лушка расхохоталась так молодо и безудержно, что у Давыдова невольно смягчилось сердце. Но на этот раз он вовсе не склонен был веселиться, и когда Лушка, глядя на него смеющимися и мокрыми от слез глазами, переспросила:

— Так, говоришь, икает и синеет? Так ей и надо, богомолке! Пускай не сует нос не в свое дело. Подумаешь, подряд она взяла следить за моим поведением!

Давыдов холодно прервал ее:

— Тебе все равно, что она будет распространять о нас по хутору?

— Лишь бы ей это занятие на здоровье шло,— беспечно ответила Лушка.

— Если тебе это безразлично, то мне далеко не безразлично, факт! Хватит тебе валять дурочку и выставлять напоказ наши отношения! Давай я завтра же поговорю с Макаром, и мы с тобой либо поженимся, либо — горшок об горшок, и врозь. Не могу я жить так, чтобы на меня пальцами указывали: вон, мол, идет председатель — Лушкин ухажер. А вот таким своим наглядным поведением ты в корне подрываешь мой авторитет. Понятно тебе?

Вспыхнув, Лушка с силой оттолкнула Давыдова, проговорила сквозь зубы:

— Тоже мне жених нашелся! Да на черта ты мне нужен, такой трус слюнявый? Так я за тебя и пошла замуж, держи карман шире! Ты по хутору со мной вместе стесняешься пройти, а туда же, «давай поженимся»! Всего-то он боится, на всех оглядывается, от ребятишек и то шарахается, как полоумный. Ну и ступай со своим авторитетом на выгон, за леоновское гумно, валяйся там на траве один, кацап несчастный! Думала, что ты человек как человек, а ты вроде Макарки моего: у того одна мировая революция на уме, а у тебя — авторитет. Да с вами любая баба от тоски подохнет!

Лушка немного помолчала и вдруг сказала неожиданно ласковым, дрогнувшим от волнения голосом·

— Прощай, мой Сема!

Несколько секунд она стояла как бы в нерешительности, а потом быстро повернулась, пошла скорым шагом по переулку.

— Луша! — приглушенно позвал Давыдов.

За поворотом, как искра, сверкнула белая Лушкина косынка и погасла в темноте. Проводя рукою по загоревшемуся отчего-то лицу, Давыдов стоял неподвижно, растерянно улыбался, думал: «Вот тебе и нашел время сделать предложение! Вот тебе и женился, орясина, факт!»

* * *

Размолвка оказалась нешуточной. Да, по сути, это уже не размолвка была и даже не ссора, а нечто похожее на разрыв. Лушка упорно избегала встреч с Давыдовым. Вскоре он переменил квартиру, но и это обстоятельство, несомненно ставшее известным Лушке, не толкнуло ее на примирение.

«Ну и черт с ней, если она такая психологическая!» — со злобою думал Давыдов, окончательно потеряв надежду увидеть свою любимую где-нибудь наедине. Но что-то уж очень горько щемило у него сердце, а на душе было сумрачно и непогоже, как в дождливый октябрьский день. Как видно, за короткий срок сумела Лушка найти прямую тропинку к бесхитростному и не закаленному в любовных испытаниях сердцу Давыдова.

Правда, в намечавшемся разрыве были и свои положительные стороны: во-первых, тогда отпадала бы необходимость идти на тяжелое объяснение с Макаром Нагульновым, а во-вторых, с той поры уже ничто не грозило бы железному авторитету Давыдова, несколько поколебленному его до некоторой степени безнравственным поведением. Однако все эти благие рассуждения приносили несчастному Давыдову очень малое утешение. Стоило ему остаться наедине с самим собой, как тотчас он, сам того не замечая, уже смотрел куда-то в прошлое невидящими глазами, улыбался с задумчивой грустинкой, вспоминая милый сердцу запах Лушкиных губ, всегда сухих и трепетных, постоянно меняющееся выражение ее горячих глаз.

Удивительные глаза были у Лушани Нагульновой! Когда она смотрела немного исподлобья, что-то трогательное, почти детски-беспомощное сквозило в ее взгляде, и сама она в этот момент была похожа скорее на девчонку-

подростка, нежели на многоопытную в жизни и любовных утехах женщину. А через минуту, легким касанием пальцев поправив всегда безупречно чистый, подсиненный платок, она вскидывала голову, смотрела уже с вызывающей насмешливостью, и тогда тускло мерцающие, недобрые глаза ее были откровенно циничны и всезнающи.

Эта способность мгновенного перевоплощения была у Лушки не изученной в совершенстве школой кокетства, а просто природным дарованием. Так, по крайней мере, казалось Давыдову. Не видел он, пораженный любовной слепотой, что возлюбленная его была особой, может быть, даже более чем надо, самоуверенной и, несомненно, самовлюбленной. Многое кое-чего не видел и не замечал Давыдов.

Однажды он, в приливе лирической влюбленности, целуя слегка напомаженные Лушкины щеки, сказал:

— Лушенька моя, ты у меня как цветок! У тебя даже веснушки пахнут, факт! Знаешь, чем они пахнут?

— Чем? — спросила заинтересованная Лушка, приподнимаясь на локте.

— Какой-то свежестью, ну, вроде как росой, что ли... Ну, вот как подснежники, почти неприметно, а хорошо.

— У меня так оно и должно быть,— с достоинством и полной серьезностью заявила Лушка.

Давыдов помолчал, неприятно удивленный таким развязным самодовольством. Немного погодя спросил:

— Это почему же у тебя так и должно быть?

— Потому что я красивая.

— Что ж, по-твоему, все красивые пахнут?

— Про всех не скажу, не знаю. Я к ним не принюхивалась. Да мне до них и дела нет, я про себя говорю, чудак. Не все же красивые бывают с конопинками, а конопушки — это веснянки, они и должны у меня пахнуть подснежниками.

— Зазнайка ты, факт! — огорченно сказал Давыдов.— Если хочешь знать, так не подснежниками твои щеки пахнут, а редькой с луком и с постным маслом.

— Тогда чего же ты лезешь с поцелуями?

— А я люблю редьку с луком...

— Гутаришь ты, Сема, всякую чепуху, прямо как мальчишка,— недовольно проговорила Лушка.

— С умным по-умному... Знаешь?

— Умный и с дураком умный, а дурак и с умным вечный дурак,— отпарировала Лушка.

Тогда они тоже ни с того ни с сего поссорились, но то была мимолетная ссора, закончившаяся через несколько минут полным примирением. Иное дело теперь. Все пережитое с Лушкой теперь казалось Давыдову прекрасным, но невозвратимым и далеким прошлым. Отчаявшись увидеть ее наедине, чтобы объясниться и до конца выяснить по-новому сложившиеся отношения, Давыдов всерьез затосковал. Он поручил Размётнову вести по совместительству и колхозные дела, а сам на неопределенное время собрался поехать во вторую бригаду, подымавшую майские пары на одном из отдаленных участков колхозной земли.

Это было не отъездом, вызванным какими-то деловыми соображениями, а позорным бегством человека, который хотел и в то же время боялся наступающей любовной развязки. Давыдов все это превосходно понимал, временами глядя на себя как бы со стороны, но уже окончательно издергался, потому и предпочел решение выехать из хутора, как наиболее приемлемое для себя, хотя бы уже по одному тому, что там он не мог видеть Лушку и надеялся несколько дней прожить в относительном спокойствии.

## ГЛАВА IV

В начале июня часто шли необычные для лета дожди: тихие, по-осеннему смирные, без гроз, без ветра. По утрам с запада, из-за дальних бугров, выползала пепельно-сизая туча. Она росла, ширилась, занимая полнеба,— зловеще белели ее темные подкрылки,— а потом снижалась так, что прозрачные, как кисея, нижние хлопья ее цеплялись за крышу стоявшей в степи, на кургане, ветряной мельницы; где-то высоко и добродушно, еле слышной октавой разговаривал гром и спускался благодатный дождь.

Теплые, словно брызги парного молока, капли отвесно падали на затаившуюся в туманной тишине землю, белыми пузырями вспухали на непросохших, пенистых лужах; и так тих и мирен был этот летний негустой дождь, что даже цветы не склоняли головок, даже куры по дворам не искали от него укрытия. С деловитой озабоченностью они рылись возле сараев и влажных, почерневших плетней в поисках корма, а мокрые и слегка утратившие свою величественную осанку петухи, невзирая на дождь, кричали врастяжку и по очереди, и бодрые голоса их сливались с чириканьем беззастенчиво купавшихся в лужах воробьев

и писком ласточек, как бы припадавших в стремительном полете к пахнущей дождем и пылью, ласково манящей земле.

Все петухи в Гремячем Логу были на редкость, прямо-таки на удивление разноголосы. Начиная с полуночи, перекличку открывал раньше всех просыпавшийся петух Любишкиных. Он голосил веселым, заливистым тенором, как молодой и старательный по службе командир роты: ему солидным, полковничьим баритоном отзывался петух со двора Агафона Дубцова; затем минут пять над хутором висел сплошной, непрекращающийся крик, а уж после всех, громко бормоча спросонок и мощно хлопая на насесте крыльями, генеральским сиплым басом, с командной хрипотцой и надсадцем в голосе оглушительно ревел самый старый в хуторе рыжий и дебелый петух Майданниковых.

Кроме влюбленных и тяжелобольных, что в понятии Нагульнова было почти одно и то же, позже всех в хуторе отходил ко сну сам Макар Нагульнов. Он по-прежнему старательно изучал английский язык, пользуясь ночным досугом. На спинке стула у него в комнате висело холстинное полотенце, в углу стоял кувшин холодной колодезной воды. Тяжело давалась Макару наука! С расстегнутым воротом рубахи, всклокоченный и мокрый от пота, сидел он за столом возле настежь распахнутого окна, вытирал полотенцем пот со лба, под мышками, на груди и на спине, а время от времени, свешиваясь через подоконник, лил на голову воду из кувшина и сдержанно рычал от удовольствия.

Тускло горела пятилинейная лампа, в абажур, сделанный из газетной бумаги, бились ночные бабочки, за стеной смиренно похрапывала старуха хозяйка, а Макар слово за словом одолевал ужасно трудный и чертовски нужный ему язык... Как-то около полуночи он, отдыхая, сел на подоконник покурить и тут впервые по-настоящему услышал петушиный хорал. Внимательно прислушавшись, пораженный Макар в восторге воскликнул: «Да это же прямо как на параде, как на смотру дивизии! Чудеса, да и только!..»

С той поры он стал каждую ночь ожидать петушиной побудки и с наслаждением вслушивался в командные голоса ночных певцов, презирая в душе соловьиные лирические выщелки и трели. Особенно нравился ему генеральский бас майданниковского петуха, служивший в общем петушином хоре как бы заключительным аккордом. Но

однажды порядок переклички, к которому он уже привык и который внутренне одобрял, был нарушен самым неожиданным хулиганским образом: после могучего петушиного баса вдруг где-то совсем рядом, за сараем, во дворе жившего по соседству Аркашки Менка, мальчишеским залихватским альтом проголосил какой-то паршивый, как видно из молоденьких, петушок и после долго по-куриному вскудахтывал и давился какой-то гнусной отрыжкой. В наступившей затем тишине Макар отчетливо слышал, как возился в курятнике, умащиваясь и хлопая крыльями, дрянной петушишка, очевидно боясь свалиться от собственного крика с насеста.

Эта выходка была явным нарушением дисциплины и полным пренебрежением к субординации. Это было в представлении Макара до некоторой степени похожим на то, как если бы после доподлинного генерала, поправляя его, вдруг заговорил какой-нибудь захудалый отделенный командир, к тому же еще заика. Возмущенный до глубины души, Макар не мог стерпеть такого безобразия, он крикнул в темноту: «Отставить!..» — и с яростью захлопнул окошко, вполголоса ругаясь.

На вторую ночь эта история повторилась, на третью — то же самое. Еще два раза кричал Макар в темноту: «Отставить!» — будя и пугая своим криком хозяйку. Стройная гармония ночной петушиной переклички, где голоса и время выступлений были как бы расписаны по рангам, непоправимо нарушалась. Тотчас же после полуночи Макар стал ложиться спать... Он уже не мог дольше заниматься, запоминать мудреные слова. Мысли его вертелись возле нахального петуха, и он со злостью думал, что петух этот в жизни, без сомнения, такой же пустой и вздорный, как и сам его хозяин. Про себя Макар мысленно честил ни в чем не повинную птицу и прохвостом, и паразитом, и выскочкой. Соседский петух, осмеливавшийся подавать голос после майданниковского петуха, окончательно выбил Макара из колеи: успеваемость в изучении английского языка покатилась у него стремительно вниз, настроение изо дня в день портилось... Пора было кончать с подобным беспорядком!

Утром на четвертый день Макар зашел во двор к Аркашке Менку, сухо поздоровался, попросил:

— А ну, покажи своего петуха.

— Зачем он тебе понадобился?

— Интересуюсь его наружностью.

— Да на черта она тебе понадобилась, его наружность?
— Давай показывай! Некогда мне с тобой тут сватать-ся! — раздраженно сказал Макар.
Пока он сворачивал папироску, Аркашка не без труда выгнал хворостиной из-под амбара пеструю толпу нарядных кур. Ну так и есть! Предположения Макара полностью подтвердились: среди дюжины крикливо оперенных, легкомысленных и кокетливых кур вьюном вертелся небольшой, защипанный, серо-мышастой масти, неказистый петушок. Макар оглядел его взглядом, полным нескрываемого презрения; обращаясь к Аркашке, посоветовал:
— Зарежь ты этого недоноска!
— На что же это я буду его резать?
— На лапшу,— коротко ответил Макар.
— С какой же стати? Он у меня один в хозяйстве и до курей охотлив.
Макар иронически улыбнулся, скривив губы:
— Только и делов, что до курей охотлив? Подумаешь, важность какая! Дурачье дело не хитрое.
— Так от него больше ничего и не требуется. Огород на нем пахать я не собираюсь, он и однолемешного плуга не потянет...
— Ну, ты без шуточек! Шутить я и сам умею, когда надо...
— А чем он помешал тебе, мой петух? — уже нетерпеливее спросил Менок.— Дорогу тебе перешел или что?
— Дура он у тебя, никакого порядку не знает.
— Какого же это порядку? На огород к твоей хозяйке летает или что?
— На огород он не летает, а так, вообще..
Макару было неудобно объяснить, о каком порядке он ведет речь. С минуту он стоял молча, широко расставив ноги, бросая на петуха уничтожающие взгляды, а потом его осенило:
— Знаешь что, сосед,— оживившись, сказал он Аркашке,— давай меняться петухами?
— А откуда в твоем безлошадном хозяйстве может оказаться петух? — спросил заинтересованный Менок.
— Найдется, и не такой защипанец, как этот!
— Что ж, неси, сменяемся, ежели петушок будет подходящий. Я за своего не стою.
Через полчаса, как бы мимоходом, Макар заглянул во двор Акима Бесхлебнова, у которого в хозяйстве было изрядное число кур. Разговаривая о том и о сем, Макар

пытливо присматривался к бродившим по двору курам, вслушивался в петушиные голоса. Все пять бесхлебновских петухов были, как на подбор, рослые и внушительной расцветки, а главное, все они были в меру горласты и по виду очень степенны. Перед тем как распрощаться, Макар предложил:

— Вот что, хозяин, продай-ка мне одного петушка, а?

— Изволь, товарищ Нагульнов, но ведь курица во щах слаже, выбирай любую, у бабы их до черта!

— Нет, мне только петуха надо. Дай мне на время мешок, чтобы упрятать его.

Спустя немного Макар уже стоял во дворе Аркашки Менка, развязывая мешок. Аркашка, страстью которого, как известно, была любая мена, в предвкушении предстоящего обмена довольно потирал руки, приговаривал:

— Поглядим, что у тебя за козырь, а то, может, ишо и додачи попросим. Развязывай скорее, чего ты возишься! Сию минуту я поймаю своего кочета, и мы их стравим на драку, чей кочет побьет, тому и магарыч требовать. Ей богу, так, иначе я и меняться не буду! Твой, каков он из себя с виду? Ядреный ростом?

— Гвардеец! — коротко буркнул Макар, развязывая зубами затянувшийся на мешке узел.

Аркашка, на бегу поддерживая сползающие штаны, рысью бросился к курятнику. Через минуту оттуда уже неслись дикие петушиные вопли. Но когда он вернулся, прижимая к груди перепуганного до смерти, часто дышавшего петушка, Макар стоял, склонившись над развязанным мешком, и озадаченно почесывал затылок: «гвардеец» лежал в мешке, тяжело распластав крылья, и в предсмертном томлении закатывал круглые оранжевые глаза.

— Это что же с ним такое? — спросил изумленный Аркашка.

— Осечка!

— Хворый оказался?

— Говорю тебе, что осечка с ним получилась.

— Какая же у петуха может быть осечка? Чудно ты говоришь!

— Да не у петуха, глупый ты человек, а у меня осечка вышла. Нес его, а он вздумал в мешке кукарекать, срамить меня при народе — дело было возле правления,— ну, я самую малость ему голову на сторону повернул... Понимаешь, самую малость, а видишь, что оно получилось. Неси живей топор, а то издохнет без всякого толку.

Обезглавленного петуха Макар перебросил через плетень, крикнул возившейся возле крыльца хозяйке:

— Эй, мамаша! Щипи его, пока он тепленький, завтра лапши сваришь!

Ни слова не говоря Аркашке, он снова направился к Бесхлебнову. Тот вначале заупрямился, говоря: «Этак ты у меня всех курочек повдовишь!» — но потом все же продал второго петуха. Обмен с Аркашкой состоялся, а через несколько минут Аркашкин петух без головы уже летел через плетень, и вслед ему донельзя довольный Макар кричал хозяйке:

— Бери эту заразу, мамаша! Щипи его, недисциплинированного черта, и — в котел!

Он вышел на улицу с видом человека, сделавшего большое и нужное дело. С горестным сожалением, покачивая головой, провожала его глазами Аркашкина жена, без меры удивленная кровопролитной расправой над петухами, которую учинил на их дворе Макар. На ее молчаливый вопрос Аркашка приложил указательный палец ко лбу, повертел им из стороны в сторону, сказал шепотом:

— Тронулся! Хороший человек, а тронулся. Бесповоротно сошел с ума, не иначе. Сколько ему, бедняге, ни сидеть по ночам! Доконали его а́нглийские языки, будь они трижды прокляты!

С той поры мужественно переносивший одиночество Макар стал беспрепятственно слушать по ночам петушиное пение. Целыми днями он работал в поле на прополке хлебов наряду с женщинами и ребятишками, а вечером, поужинав пустыми щами и молоком, садился за самоучитель английского языка и терпеливо дожидался полуночи.

Вскоре к нему присоединился и дед Щукарь. Как-то вечером он тихо постучал в дверь, спросил:

— Разрешите взойтить?

— Входи. Ты что явился? — встретил его Макар не очень-то ласковым вопросом.

— Да ить как сказать...— замялся дед Щукарь.— Может, я дюже соскучился по тебе, Макарушка. Дай, думаю, зайду на огонек, проведаю его.

— Да ты что, баба, что ли, чтобы обо мне скучать?

— Старый человек иной раз скучливей бабы становится. А мое дело вовсе сухое: всё при жеребцах да при жеребцах. Осточертела мне эта бессловесная тварь! Ты к нему, допустим, с добрым словом, а он молчком овес жрет и хвостом махает. А что мне от этого толку? А тут ишо этот

копел, будь он трижды анафема! И когда эта насекомая спит, Макарушка? Ночью только глаза закроешь — и он, чертяка, тут как тут. До скольких разов на меня, на сонного, наступал своей копытой! Выпужает до смерти, а тогда хучь в глаза коли, все равно не усну, да и шабаш! Такая проклятая, вредная насекомая, что никакого житья от него нету! Всею ночь напролет по конюшне да по сеновалу таскается. Давай его зарежем, Макарушка?

Ну, ты убирайся с этими разговорами! Я правленческими козлами не распоряжаюсь, над ними Давыдов командир, к нему и иди.

- Боже упаси, я не насчет козла пришел, а просто проведать тебя. Дай мне какую-нибудь завлекательную книжечку, и я буду возле тебя смирно сидеть, как мышь в норе. И тебе будет веселее и мне. Мешать я тебе и на порошинку не буду!

Макар подумал и согласился. Вручая Щукарю толковый словарь русского языка, сказал:

— Ладно, сиди со мной, читай, только про себя, и губами не шлепай, не кашляй, не чихай — словом, не звучи никак! Курить будем по моей команде. Ясная задача?

— На все я согласен, а вот как же насчет чиха? А вдруг, нелегкая его возьмет, приспичит чихнуть, тогда как? При моей должности у меня в ноздрях всегда полно сенной трухи. Иной раз я и во сне чихаю. Тогда как нам быть?

— Лети пулей в сенцы!

— Эх, Макарушка, пуля-то из меня хреновая, заржавленная! Я пока до сенцев добегу, так десять раз чихнуть успею и пять раз высморкаться.

— А ты поторапливайся, старик!

— Торопилась девка замуж выйти, а жениха не оказалось. Нашелся какой-то добрый человек, помог ей в беде. Знаешь, что из девки и без венца вышло? Хо-о-рошая баба! Вот так и со мной может получиться: потороплюсь, да как бы на бегу греха не нажить, тогда ты сразу меня отсюдова выставишь, уж это я как в воду гляжу!

Макар рассмеялся, сказал:

— Ты аккуратней поспешай, рисковать своим авторитетом нельзя. Словом, так: умолкни и не отбивай меня от дела, читай и становись культурным стариком.

— Ишо один вопросик можно? Да ты не хмурься, Макарушка, он у меня последний.

— Ну? Живее!

Дед Щукарь смущенно заерзал на лавке, промямлил:

— Видишь, оно какое дело... Оно не очень, чтобы того, но, однако, старуха моя за это дело на меня шибко обижается, говорит: «Спать не даешь!» А при чем тут я, спрашивается?

— Ты ближе к делу!

— Про это самое дело я и говорю. У меня от грыжи, а может, от какой другой болезни, ужасный гром в животе бывает, гремит, прямо как из грозовой тучи! Тогда как нам с тобой быть? Это ить тоже отвлечение от занятиев?

— В сенцы, и чтобы никаких ни громов, ни молний! Задача ясна?

Щукарь молча кивнул головой, тяжело вздохнул и раскрыл словарь. В полночь он, под руководством Макара и пользуясь его разъяснениями, впервые как следует прослушал петухов, а через три дня они уже вместе, плечом к плечу, лежали, свесившись через подоконник, и дед Щукарь восторженно шептал:

— Боже мой, боже мой! Всею жизню этим петухам на хвосты наступал, возле курей возрастал с малых лет и не мог уразуметь такой красоты в ихнем распевании. Ну, теперь уж я уподобился! Макарушка, а этот майданниковский бес как выводит, а? Чисто генерал Брусилов, да и только!

Макар хмурился, но отвечал сдержанным шепотом:

— Подумаешь! Ты бы послушал, дед, наших генералов — вот это наши, настоящие голоса! А что твой Брусилов? Во-первых, бывший царский генерал — стало быть, подозрительная личность для меня, а во-вторых, интеллигент в очках. У него и голос-то, небось, был как у покойного Аркашкиного петуха, какого мы съели. В голосах тоже надо разбираться с политической точки зрения. Вот был, к примеру сказать, у нас в дивизии бас — на всю армию бас! Оказался стервой: переметнулся к врагам. Что же ты думаешь, он и теперь для меня бас? Черта лысого! Теперь он для меня фистуля продажная, а не бас!

— Макарушка, но ить петухов политика не затрагивает? — робко вопросил дед Щукарь.

— И петухов затрагивает! Будь замсто майданниковского петуха какой-нибудь кулацкий — да я его слушать бы в жизни не стал, паразита! На черта он мне сдался бы, кулацкий прихвостень!.. Но, хватит разговоров! Ты садись за свою книжку, а я за свою и с разными глупыми вопросами ко мне не лезь. В противном случае выгоню без пощады!

Дед Щукарь стал ревностным поклонником и ценит-

лем петушиного пения. Это он уговорил Макара пойти посмотреть майданниковского петуха. Будто по делу, они зашли во двор Майданникова. Кондрат был в поле на вспашке майских паров. Макар поговорил с его женой, спросил, как бы между прочим, почему она не на прополке, а сам внимательно осматривал важно ходившего по двору петуха. Тот был весьма солидной и достойной внешности и роскошного рыжего оперения. Осмотром Макар остался доволен. Выходя из калитки, он толкнул локтем безмолвствовавшего Щукаря, спросил:

— Каков?

— Согласно голосу и обличье. Архирей, а не петух!

Сравнение Макару очень не понравилось, но он промолчал. Они уже почти дошли до правления, когда Щукарь, испуганно вытаращив глаза, схватил Макара за рукав гимнастерки:

— Макарушка, могут зарезать!

— Кого?

— Да не меня же, господи помилуй, а кочета! Зарежут, за милую душу! Ох, зарежут!

— Почему же это зарежут? С какой стати? Не пойму я тебя, что ты балабонишь!

— И чего тут непонятного? Он же старее навоза-перегноя, он по годам мне ровесник, а может, и старше. Я этого кочета ишо с детства помню!

— Не бреши, дед! Кочета по семьдесят годов не живут, в законах природы про это ничего не написано. Ясно тебе?

— Все одно он старый, у него на бороде все перо седое. Или ты не приметил? — запальчиво возразил дед Щукарь.

Макар круто повернулся на каблуках. Шел он таким скорым, размашистым и широким шагом, что Щукарь, поспешая за ним, время от времени переходил на дробную рысь. Через несколько минут они снова были во дворе Майданникова. Макар вытирал оставшимся на память о Лушке женским кружевным платочком пот со лба, дед Щукарь, широко раскрыв рот, дышал, как гончая собака, полдня мотавшаяся за лисой. С лилового языка его мелкими капельками сбегала на бороденку светлая слюна.

Кондратова жена подошла к ним, приветливо улыбаясь.

— Аль забыли чего?

— Забыл тебе сказать, Прохоровна, вот что: своего кочета ты не моги резать.

Дед Щукарь изогнулся вопросительным знаком, протя-

нул вперед руку и, поводя грязным указательным пальцем, тяжело дыша, с трудом просипел:

— Боже тебя упаси!..

Макар недовольно покосился на него, продолжал:

— Мы его хотим на племя для колхоза у тебя купить или обменять, потому что, судя по его обличью, он высоких породистых кровей, может, его предки даже из какой-нибудь Англии или тому подобной Голландии вывезены на предмет размножения у нас новой породы. Голландские гусаки с шишкой на носу бывают? Бывают. А может, и этот петух голландской нации,— ты же этого не знаешь? Ну и я не знаю, а стало быть, резать его ни в коем случае нельзя.

— Да он на племя не гож, старый дюже, и мы хотели на Троицу его зарубить, а себе добыть молодого.

На этот раз уже дед Щукарь толкнул локтем Макара: мол, что я тебе говорил? — но Макар, не обращал на него внимания, продолжал убеждать хозяйку:

— Старость — это не укор, у нас пойдет на племя, подкормим как следует пшеницей, размоченной в водке, и он начнет за курочками ухаживать — аж пыль столбом! Словом, ни в коем случае этого драгоценного кочета изничтожать нельзя. Задача тебе ясная? Ну и хорошо! А молодого кочетка тебе нынче же дедушка Щукарь доставит.

В тот же день у жены Демки Ушакова Макар по сходной цене купил лишнего в хозяйстве петуха, отослал его Майданниковой с дедом Щукарем.

Казалось бы, что последнее препятствие было преодолено. Но тут по хутору прокатился веселый слух, будто Макар Нагульнов для неизвестных целей скупает всюду петухов оптом и в розницу, причем платит за них бешеные деньги. Ну как любивший веселую шутку Размётнов мог не откликнуться на такое событие? Услышав о диковинной причуде своего друга, он решил все проверить самолично и поздним вечером заявился на квартиру к Нагульнову.

Макар и дед Щукарь сидели за столом, уткнувшись в толстые книги. Коптила лампа с чрезмерно выпущенным фитилем. В комнате порхали черные хлопья, пахло жженой бумагой от полуистлевшего бумажного абажура, надетого прямо на ламповое стекло, и стояла такая тишина, какая бывает только в первом классе начальной школы во время урока чистописания. Размётнов вошел без стука, покашлял, стоя у порога, но ни один из прилежно читавших не

обратил на него внимания. Тогда, еле сдерживая улыбку, Разметнов громко спросил:

— Здесь живет товарищ Нагульнов?

Макар поднял голову, внимательно всмотрелся в лицо Разметнова. Нет, ночной гость не пьян, но губы подергиваются от неудержимого желания расхохотаться. Глаза Макара тускло блеснули и сузились. Он спокойно сказал:

— Ты пойди, Андрей, к девкам на посиделки, а мне, видишь, некогда с тобою впустую время тратить.

Видя, что Макар отнюдь не расположен делить с ним его веселое настроение, Разметнов, садясь на лавку и закуривая, уже серьезно спросил:

— Нет, на самом деле: к чему ты их покупал?

— К лапше да ко щам. А ты думал, что я из них мороженое для хуторских барышень делаю?

— За мороженое я, конечно, не думал, а диву давался: к чему, думаю, ему столько петухов понадобилось, и почему именно петухи?

Макар улыбнулся:

— Уважаю в лапше петушиные гребни, вот и все. Ты диву давался насчет моих покупок, а вот я, Андрей, диву даюсь — почему ты на прополку не изволишь ходить?

— А что мне прикажешь там делать? За бабами присматривать — так на это бригадиры есть.

— Не присматривать, а полоть самому.

Разметнов, отмахиваясь руками, весело рассмеялся.

— Это чтобы я вместе с ними сурепку дергал? Ну уж это, брат, извиняй! Не мужчинское это дело, к тому же и ишо не кто-нибудь, а председатель сельсовета.

— Не велика шишка. Прямо сказать, так себе, шишка на ровном месте! Почему же я сурепку и тому подобные сорняки наравне с ними дергаю, а ты не могешь?

Разметнов пожал плечами.

— Не то что не могу, а просто не желаю срамиться перед казаками.

— Давыдов никакой работой не гнушается, я — тоже, почему же ты фуражечку на бочок сдвинешь и по целым дням сиднем сидишь в своем Совете либо замызганную свою бумажную портфелю зажмешь под мышкой и таскаешь по хутору, как неприкаянный? Что, секретарь твой не сумеет какую-нибудь справку о семейном положении выдать? Ты, Андрей, брось эти штучки! Завтра же ступай в первую бригаду, покажи бабам, как герои гражданской войны могут работать!

— Да ты что, с ума сошел или шутишь? Убей на месте, а не пойду! — Размётнов со злобой кинул в сторону окурок, вскочил со скамейки.— Не хочу быть посмешищем! Не мужчинское это дело — полоть! Может, ишо скажешь — идти мне картошку подбивать?

Спокойно постукивая огрызком карандаша по столу, Макар сказал:

— То и мужчинское дело, куда пошлет партия. Скажут мне, допустим: иди, Нагульнов, рубить контре головы,— с радостью пойду! Скажут: иди подбивать картошку,— без радости, но пойду. Скажут: иди в доярки, коров доить,— зубами скрипну, а все равно пойду! Буду эту пропащую коровенку тягать за дойки из стороны в сторону, но уж как умею, а доить ее, проклятую, буду!

Размётнов, немного поостывший, развеселился:

— Как раз с твоими лапами корову доить. Да ты ее в два счета свалишь!

— Свалю — опять подыму, а доить буду до победного конца, пока последнюю каплю молока из нее не выцежу. Понятно? — И, не дожидаясь ответа, раздумчиво продолжал: — Ты об этом деле подумай, Андрюха, и не особенно гордись своим мужчинством и казачеством. Наша партийная честь не в этом заключается, я так понимаю. Вот надысь еду в район, новому секретарю показаться, по дороге встречаю тубянского секретаря ячейки Филонова, спрашивает он у меня: «Куда путь держишь, не в райком?» В райком, говорю. «К новому секретарю?» К нему, говорю. «Ну, так сворачивай на наш покос, он там». И указывает плетью влево от дороги. Гляжу: там покос идет вовсю, шесть лобогреек ходят. Вы что, спрашиваю, очертели, так рано косить? А он говорит: «У нас там не трава, а гольный бурьян и прочий чертополох, вот и порешили его скосить на силос». Спрашиваю: сами порешили? Отвечает он мне: «Нет, секретарь вчера приехал, оглядел все наши поля, на этот бурьян напхнулся, ну и задает вопрос нам: что будем с бурьяном делать? Мы сказали, что запашем его под пары, а он засмеялся и говорит: мол, запахать — дело слабоумное, а на силос его скосить — будет умнее».

Макар помолчал, испытующе глядя на Размётнова.

— Видал ты его? — нетерпеливо спросил Размётнов.

— А как же! Свернул в сторону, проехал километра два — стоят две брички; какой-то дедок кашу на огневище мастерит; здоровый, как бугай, мордатый парень лежит под бричкой, пятки чешет и мух веточкой отгоняет. На

секретаря не похож: босой лежит, и морда — как решето. Спросил про секретаря — парень ухмыльнулся. «Он, говорит, с утра меня на лобогрейке сменил, вон он гоняет по степи, скидывает». Спешился я, привязал коня к бричке, иду к косарям. Прошла первая лобогрейка, на ней дед сидит в соломенной шляпе, в порватой, сопрелой от пота рубахе и в холщовых портках, измазанных коломазью. Ясное дело — не секретарь. На второй сидит молодой стриженый парень, без рубахи, от пота весь будто маслом облитый, блестит на солнце, как палаш. Ясное дело, думаю, не секретарь. Секретарь не будет без рубахи на косилке ездить. Глянул вдоль гона, а остальные все тоже без рубах! Вот это номер, разберись тут, какой из них секретарь! Думал, что по интеллигентному обличью угадаю, всех мимо себя пропустил,— так, будь ты проклят, и не узнал! Все до половины растелешенные, все одинаковые, как медные пятаки, а на лбу не написано, кто из них секретарь. Вот тебе и интеллигентное обличье! Оказались все интеллигентами. Остриги ты наголо самого волохатого попа и пусти его в баню, где солдаты купаются,— найдешь ты этого попа? Так и тут.

— Ты, Макарушка, леригиозных особов не касайся: грех! — несмело попросил дед Щукарь, хранивший до этого полное молчание.

Макар метнул в его сторону гневный взгляд, продолжал:

— Вернулся к бричкам, спрашиваю у парня: какой из косарей секретарь? А он, дура мордатая, говорит, что секретарь, дескать, без рубахи. Я ему и говорю: ты протри гляделки, тебе их мухи засидели, на косилках, кроме деда, все без рубах. Он вылез из-под брички, протер свои щелочки да как засмеется! Я глянул и тоже засмеялся: пока я к бричкам возвращался, дед тоже снял с себя рубаху и шляпу, режет впереди всех в одних портках, лысиной посверкивает, а седую бороду у него ветром аж на спину заносит. Прямо как лебедь по бурьяну плывет. Ну, вот это, думаю, да! Моду какую городскую им секретарь райкома привез — голышом по степи мотаться, и даже трухлявого деда на такую неприличию соблазнил. Подвел меня к ним мордатый, показал секретаря. Я — к нему, иду сбоку косилки, представляюсь, говорю, что ехал в райком с ним знакомиться, а он засмеялся, остановил лошадей, говорит: «Садись, правь лошадьми, будем косить и тем временем познакомимся с тобой, товарищ Нагульнов». Согнал я

хлопца, какой лошадьми правил, со стульца, сел на его место, тронул лошадей. Ну, пока четыре гона проехали, познакомились... Мировой парень! Таких секретарей у нас ишо не было. «Я, говорит, покажу вам, как на Ставропольщине работают! У вас на штанах лампасы носят, а у нас чище косят»,— и смеется. Это, говорю ему, ишо поглядим, кто лучше будет управляться: хвалюн — нахвалится, горюн — нагорюется. Обо всем он понемногу расспросил, а потом говорит: «Езжай домой, товарищ Нагульнов, вскорости я у вас буду».

— Что же он ишо говорил? — с живостью спросил Размётнов.

— Больше ничего такого особенного. Да, ишо спросил про Хопрова: активист он был или нет? Какой там, говорю ему, активист,— слезы, а не активист.

— А он что?

— Спрашивает: за что же, дескать, его убили да ишо вместе с женой? Мало ли, говорю, за что могли кулаки убить. Не угодил им, вот и убили.

— Что же он?

— Пожевал губами, будто яблоко-кислицу съел, и этак — то ли сказал, то ли покашлял: «гм, гм», а сказать вразумительного ничего не сказал.

— Откуда же он про Хопровых наслышанный?

— А чума его знает. В районном ГПУ ему сообщили, не иначе.

Размётнов молча выкурил еще одну папироску. Он о чем-то так сосредоточенно думал, что даже забыл, с какой целью приходил к Нагульнову. Прощаясь и с улыбкой глядя прямо в глаза Макару, сказал:

— Все в голове стало на место! Завтра чуть свет иду в первую бригаду. Можешь не беспокоиться, Макар, спину свою на прополке я жалеть не буду. А ты мне к воскресенью пол-литры водки выставишь, так и знай!

— Выставлю, и разопьем вместе, ежели будешь хорошо полоть. Только топай завтра пораньше, подавай бабам пример, как надо выходить на работу. Ну, в час добрый! — пожелал Макар и снова углубился в чтение.

Около полуночи в нерушимой тишине, стоявшей над хутором, они с дедом Щукарем торжественно прослушали первых петухов, порознь восторгаясь их слаженным пением.

— Как в архирейском соборе! — сюсюкая от полноты чувства, благоговейно прошептал Щукарь.

— Как в конном строю! — сказал Макар, мечтательно глядя на закопченное стекло лампы.

Так зародилось это удивительное и необычайное увлечение, за которое вскоре Макар едва не поплатился жизнью.

## ГЛАВА V

В бригаду Давыдова провожал один Размётнов. Подвода была попутная: пахарям из кладовой колхоза отправляли харчи, семьи слали работавшим в бригаде смены белья и кое-что из одежонки.

Давыдов сидел на бричке, свесив ноги в обшарпанных, порыжелых сапогах, старчески горбясь и безучастно глядя по сторонам. Под накинутым внапашку пиджаком острыми углами выступали лопатки, он давно не подстригался, и крупные завитки черных волос сползали из-под сбитой на затылок кепки на смуглую широкую шею, на засаленный воротник пиджака. Что-то неприятное и жалкое было во всем его облике...

Глядя на него и морщась, как от сильной боли, Размётнов подумал: «Эк его выездила Лушка! Ну и проклятая же баба! Произвела парня — да какого! — так, что и поглядеть-то не на что! Вот она, любовь, до чего нашего брата доводит: был человеком, а стал хуже капустной кочерыжки».

Уж кому-кому, а Размётнову было доподлинно известно, «до чего доводит любовь». Вспомнил он Марину Пояркову, еще кое-что из пережитого, горестно вздохнул, но улыбнулся весело и пошел наведаться в сельсовет. На полпути ему встретился Макар Нагульнов. Как и всегда, сухой, подтянутый, немного щеголяющий безукоризненной военной выправкой, он молча протянул Размётнову руку, кивком головы указал на удалявшуюся вдоль улицы подводу.

— Видал, каков стал товарищ Давыдов?

— Что-то он похудел,— уклончиво ответил Размётнов.

— Я, когда на его положении был, тоже худел изо дня в день. А про него и говорить нечего — слабяк! Хоть кади да в гроб клади! Стоял же у меня на квартире, видал, что она за штука от ружья, на его глазах воевал с этой семейной контрой, и вот, пожалуйста, влип! Да ведь влип-то как! Поглядел я нынче на него, и, веришь, сердце кровью облилось: худой, всем виноватый какой-то, глаза — по сторо-

нам, а штаны, ей-богу, на чем они у него, у бедного, держатся! На виду пропадает парень! Эту мою предбывшую супругу надо было ишо зимой подогнать под раскулачивание и проводить вместе с ее Тимошкой Рваным в холодные края. Может, хоть там у нее жару поубавилось бы.

— А я думал, что ты не знаешь...

— Ха! «Не знаешь»! Все знают, а я не знаю? Глаза прижмурил? Да по мне — черт с ней, с кем бы она ни путалась, но ты, подлюка, мне Давыдова не трожь, не губи моего товарища дорогого! Вот как стоит вопрос на данный момент!

— Предупредил бы его. Чего ты молчал?

— Да мне же неловко было предупреждать! Чего доброго, он бы мог подумать, что я из ревности его отговариваю или ишо тому подобное. А вот почему ты, сторонний в этом деле человек, молчал? Почему ты не сделал ему строгого предупреждения?

— С выговором? — улыбнулся Разметнов.

— Выговор он в другом месте себе заработает, если будет ходить опустя рукава. Но нам с тобой надо, Андрей, его по-товарищески остеречь, ждать дольше нельзя. Лушка — это такой змий, что с нею он не только до мировой революции не доживет, но и вовсе может скопытиться. Или скоротечную чахотку наживет, или ишо какой-нибудь тому подобный сифилис раздобудет, того и жди! Я, когда от нее избавился, так вроде заново на свет народился: никаких венерических болезней не боюсь, великолепно английский язык изучаю, и много тут достиг своим умом, безо всяких учителей, и партийные дела веду в порядке, и от другой работы чуром не отгораживаюсь. Словом, при моем холостом положении и руки и ноги у меня свободные, и голова светлая. А с нею жил — водки не пил, а каждый день как с похмелья. Бабы для нас, революционеров,— это, братец ты мой, чистый опиум для народа! Я бы эту изречению в устав вписал ядреными буквами, чтобы всякий партийный, каждый настоящий коммунист и сочувствующий эту великую изречению каждый день перед сном и утром натощак по три раза читал. Вот тогда бы ни один черт не попал в такой переплет, как сейчас наш дорогой товарищ Давыдов. Да ты сам вспомни, Андрей, сколько хороших людей пострадало в жизни от этого проклятого бабьего семени! Не счесть! Сколько из-за них растрат, сколько через них пьяниц образовалось, сколько выговоров по партийной линии хорошим ребятам за них повлепили, сколько из-за

них народу по тюрьмам сидит — одна кошмарная жуткость!

Разметнов задумался. Некоторое время они шли молча, предаваясь воспоминаниям о далеком и близком прошлом, о встречавшихся на их жизненном пути женщинах. Макар Нагульнов раздувал ноздри, плотно сжимал тонкие губы и шел, как в строю, расправив плечи, четко печатая шаг. Всем видом своим он являл воплощенную недоступность. Разметнов же на ходу то улыбался, то отчаянно взмахивал рукою, то крутил свой светлый курчавый ус и, как сытый кот, жмурил глаза, а иногда, очевидно при особо ярком воспоминании то о той, то о другой женщине, только крякал, словно выпивал изрядную чарку водки, и тогда между длительными паузами невразумительно восклицал:

— Ну и ну! Ох и баба! Вот это да! Ишь ты, проклятущая!..

* * *

Где-то позади остался, скрылся за изволоком Гремячий Лог, и широкая — глазом не окинешь — степь поглотила Давыдова. Всей грудью вдыхая хмельные запахи травы и непросохшего чернозема, Давыдов долго смотрел на далекую гряду могильных курганов. Чем-то напомнили ему эти синеющие вдали курганы вздыбленные штормом волны Балтики, и он, не в силах побороть внезапно нахлынувшую на сердце сладкую грусть, тяжело вздохнул и отвел вдруг увлажнившиеся глаза... Потом рассеянно блуждающий взгляд его поймал в небе еле приметную точку. Черный степной орел — житель могильных курганов — царственно величавый в своем одиночестве, парил в холодном поднебесье, медленно, почти незаметно теряя на кругах высоту. Широкие, тупые на концах, недвижно распростертые крылья легко несли его там, в подоблачной вышине, а встречный ветер жадно облизывал и прижимал к могучему костистому телу черное, тускло блистающее оперенье. Когда он, слегка кренясь на разворотах, устремлялся на восток, солнечные лучи светили ему снизу и навстречу, и тогда Давыдову казалось, что по белесому подбою орлиных крыльев мечутся белые искры, то мгновенно вспыхивая, то угасая.

...Степь без конца и края. Древние курганы в голубой дымке. Черный орел в небе. Мягкий шелест стелющейся

под ветром травы... Маленьким и затерянным в этих огромных просторах почувствовал себя Давыдов, тоскливо оглядывая томящую своей бесконечностью степь. Мелкими и ничтожными показались ему в эти минуты и его любовь к Лушке, и горечь разлуки, и несбывшееся желание повидаться с ней... Чувство одиночества и оторванности от всего живого мира тяжко овладело им. Нечто похожее испытывал он давным-давно, когда приходилось по ночам стоять на корабле «впередсмотрящим». Как страшно давно это было! Как в старом, полузабытом сне...

Ощутимее пригревало солнце. Сильнее дул мягкий южный ветер. Незаметно для самого себя Давыдов склонил голову и задремал, тихо раскачиваясь на ухабах и неровностях заброшенной степной дороги.

Лошаденки попались ему захудалые, возница — пожилой колхозник Иван Аржанов — молчаливый и, по общему мнению в хуторе, слегка придурковатый. Он сильно прижеливал недавно порученных ему лошадей, а потому почти всю дорогу до полевого стана бригады они тащились таким нудным и тихим шагом, что на полпути Давыдов, очнувшись от дремоты, не выдержал, сурово спросил:

— Ты что, дядя Иван, горшки на ярмарку везешь? Боишься побить? Почему все время шагом едешь?

Аржанов, отвернувшись, долго молчал, потом ответил скрипучим голосом:

— Я знаю, какой «горшок» я везу, но хоть ты и председатель колхоза, а без толку скакать меня не заставишь, шалишь, брат!

— Кто же говорит — «без толку»? Но ты хоть под горку тронь их рысцой! Не клажу везешь, считай, порожнем едешь, факт!

После длительного молчания Аржанов неохотно сказал:

— Животная сама знает, когда ей шагом идти, когда рысью бечь.

Давыдов начал не на шутку сердиться. Уже не скрывая возмущения, он воскликнул:

— Вот это лихо! А ты для чего? Для чего тебе вожжи в руки даны? Для чего ты на повозке место просиживаешь? А ну-ка, давай сюда вожжи!

Уже явно охотнее Аржанов ответил:

— Вожжи мне в руки даны для того, чтобы править лошадьми, чтобы они шли туда, куда надо, а не туда, куда не надо. А ежели тебе не нравится, что я с тобой рядом сижу и место просиживаю, я могу слезть и идти возле

брички пешком, но в твои руки вожжей не отдам, шалишь, брат!

— Это почему же ты не отдашь? — спросил Давыдов, тщетно пытаясь заглянуть в лицо упорно не желавшему смотреть на него вознице.

— А ты свои вожжи в мои руки отдашь?

— Какие вожжи? — не понял сразу Давыдов.

— А такие! У тебя же от всего колхоза вожжи в руках, тебе народ доверил всем хозяйством нашего колхоза править. Отдашь ты мне эти вожжи? Не отдашь, небось, скажешь: «Шалишь, дядя!» Вот так и я: я же не прошу твои вожжи? Не проси и ты мои!

Давыдов весело фыркнул. От недавней злости его не осталось и следа.

— Ну, а если, скажем, пожар в хуторе случится, ты и с бочкой воды будешь ехать такими же позорными темпами? — спросил он, уже с интересом ожидая ответа.

— На пожар таких, как я, с бочками не посылают.

И тут-то, глядя сбоку на Аржанова, Давыдов впервые увидел у него где-то ниже обветренной, шелушащейся скулы мелкие морщины сдержанной улыбки.

— А каких же посылают, по-твоему?

— Таких, как ты да Макар Нагульнов.

— Это почему же?

— А вы только двое в хуторе любите шибко ездить и сами вскачь живете...

Давыдов рассмеялся от всей души, хлопая себя по коленям и запрокидывая голову. Еще не отдышавшись от смеха, он спросил:

— Значит, если на самом деле пожар случится, только нам с Макаром и тушить его?

— Нет, зачем же! Вам с Макаром только воду возить, на лошадях во весь опор скакать, чтобы мыло с них во все стороны шмотьями летело, а тушить будем мы, колхозники,— кто с ведром, кто с багром, кто с топором... А распоряжаться на пожаре будет Разметнов, больше некому...

«Вот тебе и дядя с придурью!» — с искренним изумлением подумал Давыдов. После минутного молчания он спросил:

— Почему же ты именно Размётнова в пожарные начальники определил?

— Умный ты парень, а недогадливый,— уже откровенно посмеиваясь, ответил Аржанов.— Кто как живёт, тому такая и должность на пожаре должна быть опреде-

ленная, по его нраву, словом. Вот вы с Макаром вскачь живете, ни днем, ни ночью спокою вам нету, и другим этого спокою не даете, стало быть, вам, как самым проворным и мотовитым, только воду подвозить без задержки; без воды пожара не потушишь, так я говорю? Андрюшка Размётнов — этот рыском живет, внатруску, лишнего не перебежит и не переступит, пока ему кнута не покажешь... Значит, что ему остается делать при его атаманском звании? Руки в бока — и распоряжаться, шуметь, бестолочь устраивать, под ногами у людей путаться. А мы, народ то есть, живем пока потихоньку, пока шагом живем, нам и надо без лишней сутолоки и поспешки дело делать, пожар тушить...

Давыдов хлопнул ладонью по спине Аржанова, повернул его к себе и близко увидел хитро смеющиеся глаза и доброе забородатевшее лицо. Сдержанно улыбаясь, Давыдов сказал:

— А ты, дядя Иван, оказывается, гусь!

— Ну, и ты тоже, Давыдов, гусь не из последних! — весело отозвался тот.

Они по-прежнему тащились шагом, но Давыдов, уверившись в том, что все его старания ни к чему не приведут, уже не торопил Аржанова.

Он то соскакивал с повозки и шел рядом, то снова садился. Разговаривая о колхозных делах и обо всем понемногу, Давыдов все больше убеждался в мнении, что возница его — человек отнюдь не ущербленного ума; обо всем он рассуждал толково и здраво, но ко всякому явлению и оценке его подходил с какой-то своей, особой и необычной меркой.

Уже когда показался вдали полевой стан и возле него тончайшей прядкой закурчавился дымок бригадной кухни, Давыдов спросил:

— Нет, всерьез, дядя Иван, так всю жизнь ты шагом и ездишь на лошадях?

— Так и езжу.

— Что же ты мне раньше не сказал про такую твою странность? Я бы с тобой не поехал, факт!

— А чего ради я бы заранее себя хвалил? Вот ты и сам увидал мою езду. Один раз проедешь со мной, в другой — не захочешь.

— С чего же это тебе так подеялось? — усмехнулся Давыдов.

Вместо прямого ответа Аржанов уклончиво сказал:

У меня сосед в старое время был, плотник, запойный. Руки золотые, а сам запойный. Держится, держится, а потом, как только рюмку понюхает, и пошел чертить на месяц! Все с себя, милый человек, пропивал, до нитки!

— Ну?

— Ну, а сын его и капли в рот не берет.

— А ты без притчей, попроще.

— Проще некуда, милый человек. У меня покойный родитель лихой был охотник, а ишо лише — наездник. На действительной службе в полку всегда первые призы забирал по скачке, по рубке и по джигитовке. Вернулся с действительной — на станишных скачках каждый год призы схватывал. Хоть он и ро́дный отец, а вредный человек был, царство ему небесное! Задатный был, форсистый казачок... Бывало, каждое утро гвоздь в печке на огне нагреет и усы на этом гвозде закручивает. Любил перед народом покрасоваться, а особенно перед бабами... а верхи ездил как! Не дай и не приведи господь! Надо ему, допустим, в станицу по делу смотаться, вот он выводит своего служивского коня из конюшни, подседлает его и — с места в намет! Разгонит его по двору, пересигнет через плетень, только вихорь за ним вьется. Рысью или шагом сроду не ездил. До станицы двадцать четыре версты — наметом и оттуда так же. Любил он из лихости зайцев верхом заскакивать. Заметь, не волков, а зайцев! Выгонит где-нибудь из бурьяна этого зайчишку, отожмет от буерака, догонит и либо арапником засечет, либо конем стопчет. Сколько раз он падал на всем скаку и увечился, а забаву свою не бросал. Ну и перевел лошадей в хозяйстве. На моей памяти шесть коней изничтожил: какого насмерть загонит, какого на ноги посадит. Разорил нас с матерью вчистую! В одну зиму два коня под ним убились насмерть. Споткнется на всем скаку, вдарится об мерзлую землю — и готов! Глядим — отец пеши идет, седло несет на плече. Мать, бывало, так и заголосит по мертвому, а отцу хоть бы что! Отлежится дня три, покряхтит, и ишо не успеют синяки у него на теле оттухнуть, а он уже опять собирается на охоту...

— Лошади разбивались насмерть, а как же он мог уцелеть?

— Лошадь — животная тяжелая. Она, когда падает на скаку, через голову раза три перевернется, пока земли достанет. А отцу — что? Он стремена выпустит и летит с нее ласточкой. Ну, вдарится, полежит без памяти, сколько ему требуется, чтобы очухаться, а потом встанет и команди-

руется домой пешком. Отважным был, черт! И кость у него была, как из железа клепанная.

— Силен был парень! — с восхищением сказал Давыдов.

— Силен-то силен, но нашлась и на него чужая сила...

— А что?

— Убили его наши хуторские казаки.

— За что же это? — закуривая, спросил заинтересованный Давыдов.

— Дай и мне папироску, милый человек.

— Да ведь ты же не куришь, дядя Иван?

— Так-то, всурьез, я не курю, а кое-когда балуюсь. А тут вспомнил эту старую историю, и что-то во рту стало сухо и солоно... За что, спрашиваешь, убили его? Заслужил, значит...

— Но все-таки?

— За бабу убили, за полюбовницу его. Она была замужняя. Ну, муж ее прознал про это дело. Один на один он с отцом побоялся сходиться: отец был ростом небольшой, но ужасный сильный. Тогда муж отцовой любушки подговорил двух своих рóдных братьев. Дело было на масленицу. Втроем они ночью подкараулили на речке отца... Господь-милостивец, как они его били! Кольями били и каким-то железом... Когда утром отца принесли домой, он был ишо без памяти и весь черный, как чугун. Всю ночь без памяти на льду пролежал. Должно быть, ему не легко было, а? На льду-то! Через неделю начал разговаривать и понимать начал, что ему говорят. Словом, пришел в себя. А с кровати два месяца не вставал, кровью харкал и разговаривал потихонечку-потихонечку. Вся середка у него была отбита. Друзья приходили его проведывать, допытывались: «Кто тебя бил, Федор? Скажи, а мы...» А он молчит и только потихоньку улыбается, поведет глазом и, когда мать выйдет, скажет шепотом: «Не помню, братцы. Многим мужьям я виноватый».

Мать, бывало, до скольких разов станет перед ним на колени, просит: «Родный мой Федюшка, скажи хоть мне: кто тебя убивал? Скажи, ради Христа, чтобы я знала, за чью погибель мне молиться!» Но отец положит ей руку на голову, как дитю, гладит ее волосы и говорит: «Не знаю — кто. Темно было, не угадал. Сзади по голове вдарили, сбили с ног, не успел разглядеть, кто меня на льду пестовал...» Или так же тихонько улыбнется и скажет ей: «Охота тебе, моя касатушка, старое вспоминать? Мой грех — мой и от-

нет...» Призвали попа исповедовать его, и попу он ничего не сказал. Ужасный твердый был человек!

— А откуда ты знаешь, что он попу не сказал?

— А я под кроватью лежал, подслушивал. Мать заставила. «Лезь, говорит, Ванятка, под кровать, послушай, может, он батюшке назовет своих убивцев». Но только отец ничего про них не сказал. Разов пять на поповы вопросы он сказал: «Грешен, батюшка»,— а потом спрашивает: «А что, отец Митрий, на том свете кони бывают?» Поп, как видно, испугался, часто так говорит: «Что ты, что ты, раб божий Федор! Какие там могут быть лошади! Ты о спасении души думай!» Долго он отца совестил и уговаривал, отец все молчал, а потом сказал: «Говоришь, нету там коней? Жалко! А то бы я там в табунщики определился... А ежели нету, так мне и делать на том свете нечего. Не буду умирать, вот тебе и весь сказ!» Поп наспех причастил его и ушел дюже недовольный, очень дюже злой. Я рассказал матери все, что слышал; она заплакала и говорит: «Грешником жил, грешником и помрет кормилец наш!»

Весною — снег уже стаял — отец поднялся, дня два походил по хате, а на третий, гляжу, он надевает ватный сюртук и папаху, говорит мне: «Пойди, Ванятка, подседлай мне кобыленку». У нас к этому времени в хозяйстве осталась одна кобылка-трехлетка. Мать услыхала, что он сказал, и — в слезы: «Куда ты гож, Федя, сейчас верхи ездить? Ты на ногах еле держишься! Ежели сам себя не жалеешь, так хоть меня с детишками пожалей!» А он засмеялся и говорит: «Я же мать, сроду в жизни шагом не ездил. Дай мне хоть перед смертью в седле посидеть и хоть разок по двору шажком проехать. Я только по двору круга два проеду и — в хату».

Пошел я, подседлал кобылку, подвел к крыльцу. Мать вывела отца под руку. Два месяца он не брился, и в нашей темной хатенке не видно было, как он переменился обличьем... Глянул я на него при солнышке, и закипела во мне горючая слеза! Два месяца назад отец был черный, как ворон, а теперь борода отросла наполовину седая и усы тоже, а волосы на песиках [1] стали вовсе белые, как снег... Ежели бы он не улыбался какой-то замученной улыбкой,— и, может, и не заплакал бы, а тут никак не мог сдержаться... Взял он у меня повод, за гриву ухватился, а левая рука у него была перебитая, только недавно срослась. Хотел

[1] Песики — виски.

я его поддержать, но он не свелел. Ужасный гордый был человек! Слабости своей и то стыдился. Понятно, хотелось ему, как и раньше, птицей взлететь на седло, но не вышло... Поднялся он на стремени, а левая рука подвела, разжались пальцы, и вдарился он навзничь, прямо спиной об землю... Внесли мы с матерью его в хату. Ежели раньше он только кашлял кровью, то теперь уже она пошла у него из глотки цевкой. Мать до вечера от корыта не отходила, не успевала красные полотенца замывать. Призвали попа. В ночь он его пособоровал, но до чего же ужасный крепкий человек был! Только на третьи сутки после соборования перед вечером затосковал, заметался по кровати, а потом вскочил, глядит на мать мутными, но веселыми глазами и говорит: «После соборования, говорят, нельзя босыми ногами на землю становиться, но я постою хоть трошки... Я по этой земле много исходил и изъездил, и мне уходить с нее прямо-таки жалко... Мать, дай мне ручепьку твою, она в этой жизни много поработала...»

Мать подошла, взяла его за руку. Он прилег на спину, помолчал, а потом почти шепотом сказал: «И слез она по моей вине вытерла немало...» — отвернулся лицом к стенке и помер, пошел на тот свет угоднику Власию конские табуны стеречь...

Очевидно, подавленный воспоминаниями, Аржанов надолго замолчал. Давыдов покашлял, спросил:

— Слушай, дядя Иван, а почем ты знаешь, что твоего отца били муж этой... ну, одним словом, этой его женщины... и братья мужа? Или это твои предположения? Догадки?

— Какие там догадки! Отец сам мне сказал за день до смерти.

Давыдов даже слегка приподнялся на бричке:

— Как — сказал?

— Очень даже просто сказал. Утром мать пошла корову доить, я сидел за столом, перед школой уроки доучивал, слышу — отец шепчет: «Ванятка, подойди ко мне». Я подошел. Он шепчет: «Нагнись ко мне ниже». Я нагнулся. Он говорит потихоньку: «Вот что, сынок, тебе уже тринадцатый год идет, ты после меня останешься за хозяина, запомни: били меня Аверьян Архипов и два его брата, Афанасий и Сергей-косой. Ежели бы они убили меня сразу,— я бы на них сердца не держал. Об этом я их и просил там, на речке, пока был в памяти. Но Аверьян мне сказал: «Не будет тебе легкой смерти, гад! Поживи калекой, погло-

пей свою кровицу вволю, всласть, а потом издыхай!» Вот за это и на Аверьяна сердце держу. Смерть у меня в головах стоит, а сердце на него все равно держу! Сейчас ты маленький, а вырастешь большой — вспомни про мои муки и убей Аверьяна! Об чем я тебе сказал, никому не говори — ни матери, никому на свете. Побожись, что не скажешь». И побожился, глаза были сухие, и поцеловал отцов нательный крест...

— Фу ты, черт, прямо как у черкесов на Кавказе в старое время! — воскликнул Давыдов, взволнованный рассказом Аржанова.

— У черкесов — сердце, а у русских заместо сердца камушки, что ли? Люди, милый человек, все одинаковые.

— Что же дальше? — нетерпеливо спросил Давыдов.

— Похоронили отца. Пришел я с кладбища, стал в горнице спиной к притолоке и провел над головой черточку карандашом. Каждый месяц я измерял свой рост, отмечался: все скорее хотел стать большим, чтобы стукнуть Аверьяна... И вот стал я в доме хозяином, а было в ту пору мне двенадцать лет, и, кроме меня, было у матери нас ишо семеро детей, мал мала меньше. Мать после смерти отца стала часто прихварывать, и, боже мой, сколько нужды и горя пришлось нам хлебнуть! Какой бы отец непутевый ни был, но он умел погулять, умел и поработать. Для кое-каких других он был поганым человеком, а нам, детишкам и матери,— свой, родной: он нас кормил, одевал и обувал, из-за нас он с весны до осени в поле хрип гнул... Узковаты были у меня тогда плечи и жидка хребтина, а пришлось нести на себе все хозяйство и работать, как взрослому казаку. При отце нас четверо бегало в школу, а после его смерти пришлось всем школу бросить. Нюрку — сестренку десяти лет — я вместо матери приспособил стряпать и корову доить, младшие братишки помогали мне по хозяйству. Но я не забывал каждый месяц отмечаться у притолоки. Однако рос я в тот год тупо — горе и нуждишка не давали мне настоящего росту. А за Аверьяном следил, как волчонок за птицей из камыша. Каждый шаг его мне был известный; куда он пошел, куда поехал,— я все знал...

Бывало, сверстники мои по воскресеньям всякие игры устраивают, а мне некогда, я в доме старший. По будням они в школу идут, а я на базу скотину убираю... Обидно мне было до горючих слез за такую мою горькую жизню! И стал я помалу сторониться своих дружков-одногодков, нелюдимым стал, молчу, как камень, на народе не хочу бывать...

Тогда по хутору стали про меня говорить, что, мол, Ванька Аржанов того, малость с придурью, умом тронутый. «Проклятые! — думал я.— Вас бы в мою шкуру! Поумнели бы вы от такой жизни, как моя?» И тут я вовсе сненавидел своих хуторных; ни на кого глядеть не могу!.. Дай, милый человек, мне ишо одну папироску.

Аржанов неумело взял папироску. Пальцы его заметно дрожали. Он долго прикуривал от папиросы Давыдова, закрыв глаза, смешно топыря губы и громко чмокая.

— А как же Аверьян?

— А что этому Аверьяну? Жил, как хотел. Простить жене любовь моего отца не мог, бил ее смертно, так и вогнал в могилу через год. Под осень женился на другой, на молоденькой девке с нашего же хутора. «Ну,— подумал я тогда,— недолго ты, Аверьян, поживешь с молодой женой...»

Потихоньку от матери начал я копить деньжонки, а осенью, вместо того чтобы ехать на ближнюю ссыпку, я один поехал в Калач, продал там воз пшеницы и на базаре с рук купил одноствольное ружье и десять штук патронов к нему. На обратном пути попробовал ружье, загубил три патрона. Погано било ружьишко: пистонку разбивал боек не сразу, из трех вышло две осечки, только третий патрон вдарил. Схоронил я дома это ружье под застреху в сарае, никому про свою покупку не сказал. И вот начал я Аверьяна подстерегать... Долго у меня ничего не получалось. То люди помешают, то ишо какая причина не укажет мне стукнуть его. А своего я все-таки дождался! Главное, не хотелось мне его в хуторе убивать, вот в чем была загвоздка! На первый день покрова поехал он в станицу на ярмарку, поехал один, без жены. Узнал я, что он один поехал, и перекрестился, а то бы пришлось обоих их бить. Полтора суток я не жрал, не пил, не спал, караулил его возле дороги в яру. Жарко молился я в этом яру, просил бога, чтобы Аверьян возвращался из станицы один, а не в компании с хуторными казаками. И господь-милостивец внял моей ребячьей молитве! Под вечер на другой день гляжу — едет Аверьян один. А до этого сколько подвод я пропустил, сколько разов у меня сердце хлопало, когда казалось издали, что это Аверьяновы кони бегут по дороге... Поравнялся он со мной, и тут я выскочил из яра, сказал: «Слазь, дядя Аверьян, и молись богу!» Он побелел, как стенка, и остановил лошадей. Рослый был и здоровый казачина, а что он мог со мной поделать? У меня же в руках

ружье. Крикнул он мне: «Ты что это, змееныш, удумал?» И ему говорю: «Слазь и становись на колени! Сейчас узнаешь, что я удумал». Отважный он был, вражина! Сигнул с брички и кинулся ко мне с голыми руками... Близко я его напустил, вот как до этой бурьянины, и вдарил в упор...

— А если бы осечка?

Аржанов улыбнулся:

— Ну, тогда бы он меня отправил к отцу подпаском, табуны на том свете стеречь.

— Что же дальше?

— Лошади от выстрела понесли, а я никак с места не тронусь. Ноги у меня отнялись, и весь я дрожу, как лист на ветру. Аверьян возле лежит, а я шагу к нему ступить не могу, подыму ногу и опять опущу ее, боюсь упасть. Вот как меня трясло! Ну, кое-как опамятовался, шагнул к нему, плюнул ему в морду и начал у него карманы в штанах и в пиджаке выворачивать. Вынул кошелек. В нем было бумажками двадцать восемь рублей, один золотой в пять рублей и мелочью рубля два или три. Это уж я после сосчитал, дома. А остальные, какие у него были, он, видно, потратил на гостинцы своей молодой жене... Порожний кошелек я бросил тут же на дороге, а сам сигнул в яр — и был таков! Давно это было, а помню все дочиста, как будто только вчера это со мной получилось. Ружье и патроны я в яру зарыл. Уже по первому снегу ночью откопал свое имущество, принес в хутор и схоронил ружье в чужой леваде, в старой дуплястой вербе.

— Зачем деньги взял? — резко и зло спросил Давыдов.

— А что?

— Зачем брал, спрашиваю?

— Они мне нужны были,— просто ответил Аржанов.— Нас в эту пору нужда ела дюжее, чем вошь.

Давыдов соскочил с брички и долго шел молча. Молчал и Аржанов. Потом Давыдов спросил:

— Это и все?

— Нет, не все, милый человек. Наехали следственные власти, рылись, копались... Так и уехали ни с чем. Кто мог на меня подумать? А тут вскоре простудился на порубке леса Сергей-косой — Аверьянов брат,— похворал и помер: в легких у него случилось воспаление. И я дюже забеспокоился тогда, думаю: ну, как и Афанасий своей смертью помрет, и повиснет моя рука, какую отец благословил покарать врагов? И я засуетился...

— Постой,— прервал его Давыдов.— Ведь тебе же отец

говорил про одного Аверьяна, а ты на всех трех замахнулся?

— Мало ли что отец... У отца своя воля была, а у меня — своя. Так вот, засуетился я тогда... Афанасия я убил через окно, когда он вечерял. В ту ночь я отметился у притолоки в последний раз, потом стер все отметки тряпкой. А ружье и патроны утопил в речке; все это мне стало уже не нужным... Я отцову и свою волю выполнил. Вскорости мать затеялась помирать. Ночью подозвала она меня к себе, спросила: «Ты их побил, Ванятка?» Признался: «Я, маманя». Ничего она мне не сказала, только взяла мою правую руку и положила ее себе на сердце...

Аржанов потрогал вожжи, лошади пошли веселее, и он, глядя на Давыдова по-детски ясными серыми глазами, спросил:

— Теперь не будешь больше допытываться, почему я на лошадях шибко не езжу?

— Все понятно,— ответил Давыдов.— Тебе, дядя Иван, на быках ездить надо, водовозом, факт.

— Об этом я до скольких разов просил Якова Лукича, но он не согласился. Он надо мной хочет улыбаться до последнего...

— Почему?

— Я ишо мальчишкой у него полтора года в работниках жил.

— Вот как!

— Вот так, милый человек. А ты и не знал, что у Островнова всю жизню в хозяйстве работники были? — Аржанов хитро сощурился: — Были, милый человек, были... Года четыре назад он присмирел, когда налогами стали жать, свернулся в клубок, как гадюка перед прыжком, а не будь зараз колхозов да поменьше налоги — Яков Лукич показал бы себя, будь здоров! Самый лютый кулак он, а вы гадюку за пазухой пригрели...

Давыдов после длительного молчания сказал:

— Это мы исправим, разберемся с Островновым как полагается, а все-таки, дядя Иван, ты человек с чудинкой.

Аржанов улыбнулся, задумчиво глядя куда-то вдаль:

— Да ведь чудинка — как тебе сказать... Вот растет вишневое деревцо, на нем много разных веток. Я пришел и срезал одну ветку, чтобы сделать кнутовище,— из вишенника кнутовище надежнее,— росла она, милая, тоже с чудинкой — в сучках, в листьях, в своей красе, а обстругал я ее, эту ветку, и вот она...— Аржанов достал из-под

сиденья кнут, показал Давыдову коричневое, с засохшей, покоробленной корой вишневое кнутовище.— И вот она! Поглядеть не на что! Так и человек: он без чудинки голый и жалкий, вроде этого кнутовища. Вот Нагульнов какой-то чужой язык выучивает — чудинка; дед Крамсков двадцать лет разные спичечные коробки собирает — чудинка; ты с Лушкой Нагульновой путаешься — чудинка; пьяненький какой-нибудь идет по улице, спотыкается и плетни спиной обтирает — тоже чудинка. Милый человек мой, председатель, а вот лиши ты человека любой чудинки, и будет он голый и скучный, как вот это кнутовище.

Аржанов протянул Давыдову кнут, сказал, все так же задумчиво улыбаясь:

— Подержи его в руках, подумай, может, тебе в голове и прояснеет...

Давыдов с сердцем отвел руку Аржанова:

— Иди ты к черту! Я и без этого сумею подумать и во всем разобраться!

...Потом, до самого стана, они всю дорогу молчали...

## ГЛАВА VI

В бригаде полудновали. Наспех сбитый длинный стол впритирку вмещал всех плугатарей и погонщиков. Ели, изредка перебрасываясь солеными мужскими шутками, деловито обмениваясь замечаниями о качестве приготовленной стряпухой каши.

— И вот она всегда недосаливает! Горе, а не стряпуха!

— Не слиняешь от недосола, возьми да подсоли.

— Да мы же с Васькой двое из одной чашки едим, он любит несоленое, а я — соленое. Как нам в одной чашке делиться? Посоветуй, ежели ты такой умный!

— Завтра плетень сплетем, разгородим вашу чашку пополам, только и делов. Эх ты, мелкоумный! До такой простой штуки не мог сам додуматься!

— Ну, брат, и у тебя ума, как у твоего борозденного быка, ничуть не больше.

За столом долго бы еще пререкались и перешучивались, но тут издали заметили подводу, и, самый зоркий из всех, плугатарь Прянишников, приложив ладонь ребром ко лбу, тихо свистнул:

— Этот едет полоумный Ванька Аржанов, а с ним — Давыдов.

На стол вразнобой, со стуком легли ложки, и взоры всех нетерпеливо устремились туда, где в балочке на минуту скрылась подвода.

— Дожили! Опять едет нас на буксир брать,— со сдержанным негодованием сказал Агафон Дубцов.— Достукались! Нет уж, с меня хватит! Теперь вы своими гляделками моргайте, а я моргать уморился, я на него от стыда и глядеть не желаю!

У Давыдова по-хорошему дрогнуло сердце, когда он увидел, как дружно все встали из-за стола, приветствуя его. Он шел широкими шагами, а навстречу ему уже тянулись руки и светились улыбками дочерна сожженные солнцем лица мужчин и матово-смуглые, тронутые легким загаром лица девушек и женщин. Они, эти женщины, никогда не загорали по-настоящему, на работе так закутываясь в белые головные платки, что оставались только узкие щели для глаз. Давыдов улыбался, на ходу оглядывал знакомые лица. С ним успели крепко сжиться, его приезду были искренне рады, встречали его, как родного. За какой-то миг все это дошло до сознания Давыдова, острой радостью коснулось его сердца и сделало голос приподнятым и чуть охрипшим:

— Ну, здравствуйте, отстающие труженики! Кормить приезжего будете?

— Кто к нам надолго — кормим, а кто на часок, в гости — того не кормим, а только провожаем с низкими поклонами. Так ведь, бригадир? — под общий смех сказал Пряничников.

— Я, наверное, надолго к вам,— улыбнулся Давыдов.

И Дубцов оглушающим басом заорал:

— Учетчик! Пиши его на полное довольствие с нынешнего дня, а ты, стряпуха, наливай ему каши, сколько его утроба примет!

Давыдов обошел вокруг стола, со всеми здороваясь за руку. Мужчины обменивались с ним привычно крепким рукопожатием, а женщины, глядя в глаза, смущались и протягивали руки лодочкой: свои, местные казаки не очень-то баловали их таким вниманием и почти никогда не снисходили до того, чтобы при встрече, как равной, протянуть женщине руку.

Дубцов усадил Давыдова рядом с собой, положил ему на колено тяжелую и горячую ладонь.

— Мы тебе рады, любушка ты наш Давыдов!

— Вижу. Спасибо!

— Только ты не сразу начинай ругаться...

— Да я вовсе и не думаю ругаться.

— Нет, это ты, конечно, не утерпишь, без этого ты не обойдешься, да и нам крепкое слово будет в пользу. Но пока помолчи. Пока люди жуют, нечего им аппетит портить.

— Можно и подождать,— усмехнулся Давыдов.— Доброго разговора мы не минуем, но за столом начинать не будем, как-нибудь потерпим, а?

— Обязательно надо вытерпеть! — под общий хохот решительно заявил Дубцов и первый взялся за ложку.

Давыдов ел сосредоточенно и молча, не поднимая от миски головы. Он почти не вслушивался в сдержанные голоса полудновавших пахарей, но все время ощущал на лице чей-то неотступный взгляд. Прикончив кашу, Давыдов облегченно вздохнул: впервые за долгое время он был по-настоящему сыт. По-мальчишески облизав деревянную ложку, он поднял голову. Через стол на него в упор, неотрывно смотрели серые девичьи глаза, и столько в них было горячей, невысказанной любви, ожидания, надежды и покорности, что Давыдов на миг растерялся. Он и прежде нередко встречался в хуторе — на собрании или просто на улице — с этой большерукой, рослой и красивой семнадцатилетней девушкой, и тогда, при встречах, она улыбалась ему смущенно и ласково, и смятение отражалось на ее вдруг вспыхивающем лице,— но теперь в ее взгляде было что-то иное, повзрослевшее и серьезное...

«Каким тебя ветром ко мне несет и на что ты мне нужна, милая девчонушка? И на что я тебе нужен? Сколько молодых парней всегда возле тебя вертится, а ты на меня смотришь, эх ты, слепушка! Ведь я вдвое тебя старше, израненный, некрасивый, щербатый, а ты ничего не видишь... Нет, не нужна ты мне, Варюха-горюха! Расти без меня, милая»,— думал Давыдов, рассеянно глядя в полыхающее румянцем лицо девушки.

Она слегка отвернулась, потупилась, встретившись глазами с Давыдовым. Ресницы ее трепетали, а крупные загрубелые пальцы, перебиравшие складки старенькой грязной кофточки, заметно вздрагивали. Так наивна и непосредственна была она в своем чувстве, так в детской простоте своей не умела и не могла его скрыть, что всего этого не заметил бы разве только слепой.

Обращаясь к Давыдову, Кондрат Майданников рассмеялся:

— Да не смотри ты на Варьку, а то у нее вся кровь

в лицо кинулась. Пойди умойся, Варька, может, малость оттухнешь. Хотя как она пойдет? У нее же ноги теперь отнялись... Она у меня погонычем работает, так все время ходу мне не дает, заспрашивалась, когда ты, Давыдов, приедешь. «А я откуда знаю, когда он приедет, отвяжись»,— говорю ей, но она этими вопросами с утра до ночи меня долбит и долбит, как дятел сухую лесину.

Словно для того, чтобы опровергнуть предположение, будто у нее отнялись ноги, Варя Харламова, повернувшись боком и слегка согнув ноги в коленях, с места, одним прыжком перемахнула через лавку, на которой сидела, и пошла к будке, гневно оглядываясь на Майданникова и что-то шепча побледневшими губами. Только у самой будки она остановилась, повернувшись к стану, крикнула срывающимся голоском:

— Ты, дядя Кондрат... ты, дядя... ты неправду говоришь!

Общий хохот был ей ответом.

— Издали оправдывается,— посмеиваясь, сказал Дубцов.— Издали оно лучше.

— Ну зачем ты смутил девушку? Нехорошо! — недовольно сказал Давыдов.

— Ты ее ишо не знаешь,— снисходительно ответил Майданников.— Это она при тебе такая смирная, а без тебя она любому из нас зоб вырвет и не задумается. Зубатая девка! Бой, а не девка! Видал, как она с места взвилась? Как дикая коза!..

Нет, не льстила мужскому самолюбию Давыдова эта простенькая девичья любовь, о которой давно уже знала вся бригада, а он услышал и узнал впервые только сейчас. Вот если бы другие глаза хоть раз посмотрели на него с такой беззаветной преданностью и любовью,— это иное дело...

Стараясь замять неловкий разговор, Давыдов шутливо сказал:

— Ну, спасибо стряпухе и деревянной ложке! Накормили досыта.

— Благодари, председатель, за великое старание свою правую руку да широкий рот, а не стряпуху с ложкой. Может, добавку подсыпать? — осведомилась, поднимаясь из-за стола, величественная, необычайно толстая стряпуха.

Давыдов с нескрываемым изумлением оглядел ее могучие формы, широкие плечи и необъятный стан.

— Откуда вы ее взяли, такую? — вполголоса спросил он Дубцова.

— На таганрогском металлургическом заводе по нашему особому заказу сделали,— ответил учетчик, молодой и развязный парень.

— Как же я тебя раньше не видал? — все еще удивлялся Давыдов.— Такая ты объемистая в габаритах, а видеть тебя, мамаша, не приходилось.

— Нашелся мне сынок! — фыркнула стряпуха.— Какая же я тебе мамаша, ежели мне всего сорок семь? А не видел ты меня потому, что зимой я из хаты не вылезаю. При моей толщине и коротких ногах я по снегу не ходок, на ровном месте могу в снегу застрять. Зимой я дома безвылазно сижу, пряду шерсть, платки вяжу, словом, кое-как кормлюся. По грязи тоже я не ходок: как верблюд, боюсь раздраться на сколизи, а по сухому я и объявилася в стряпухах. И никакая я тебе не мамаша, товарищ председатель! Хочешь со мной в мире жить — зови меня Дарьей Куприяновной, тогда в бригаде сроду голодным не будешь!

— Полностью согласен жить с тобой в мире, Дарья Куприяновна,— улыбаясь, сказал Давыдов и привстал, поклонился с самым серьезным видом.

— Так-то оно и тебе и мне лучше будет. А теперь давай свою чашку, я тебе на закуску кислого молочка положу,— донельзя довольная любезностью Давыдова, проговорила стряпуха.

Она щедрой рукой положила в чашку целый килограмм кислейшего откидного молока и подала с низким поклоном.

— А почему ты в стряпухах состоишь, а не на производстве работаешь? — спросил Давыдов.— При твоем весе тебе только разок давнуть на чапиги — и лемех сразу на полметра в землю уйдет, факт!

— Так у меня же сердце больное! У меня доктора признали ожирение сердечной деятельности. В стряпухах мне и то тяжело, чуть повожусь с посудой — и сердце где-то в самой глотке бьется. Нет, товарищ Давыдов, в плугатари я негожая. Эти танцы не под мою музыку.

— Все на сердце жалуется, а трех мужей похоронила. Трех казаков пережила, теперь ищет четвертого, но что-то охотников не находится, боятся на ней жениться, заездит этакая тетенька насмерть! — сказал Дубцов.

— Брехун рябой! — воскликнула не на шутку рассерженная стряпуха.— Чем же я виновата, что из трех казаков мне ни одного жилистого не попалось, а все какие-то немощные да полухворые? Им господь веку не дал, а я виноватая?

— Ты же и помогла им помереть,— не сдавался Дубцов.
— Чем это я помогла?
— Известно — чем...
— Ты говори толком!
— Мне и так все ясное...
— Нет, ты говори толком, чего впустую языком мелешь!
— Известно, чем помогла: своею любовью,— осторожно сказал Дубцов, посмеиваясь.
— Дурак ты меченый! — покрывая общий хохот, в ярости крикнула стряпуха и сгребла в охапку половину посуды со стола.
Но невозмутимого Дубцова было не так-то просто выбить из седла. Он не спеша доел кислое молоко, вытер ладонью усы, сказал:
— Может, конечно, я и дурак, может, и меченый, но в этих делах, девка, я до тонкостев разбираюсь.
Тут стряпуха завернула по адресу Дубцова такое, что хохот за столом грохнул с небывалой силой, а багровый от смеха и смущения Давыдов еле выговорил:
— Что же это такое, братишки?! Этакого я и на флоте не слыхивал!..
Но Дубцов, сохраняя полную серьезность, с нарочитой запальчивостью крикнул:
— Под присягу пойду! Крест буду целовать! Но стою на своем, Дашка: от твоей любови все трое мужей на тот свет отправились! Трое мужей — ведь это подумать только... А в прошлом году Володька Грачев через чего помер? Он же к тебе ходил...
Дубцов не закончил фразы и стремительно нагнулся: над головой его, подобно осколку снаряда, со свистом пронесся увесистый деревянный половник. С юношеской проворностью Дубцов перекинул ноги через лавку. Он был уже в десяти метрах от стола, но вдруг прыгнул в сторону, увернулся, а мимо него, брызгая во все стороны кислым молоком, с урчанием пролетела оловянная миска и, описав кривую, упала далеко в степи. Широко расставив ноги, Дубцов грозил кулаком, кричал:
— Эй, Дарья, уймись! Кидай чем хочешь, только не глиняными чашками! За разбитую посуду, ей-богу, буду вычитывать трудодни! Ступай, как Варька, за будку, оттуда тебе легше будет оправдываться!.. А я все равно стою на своем: угробила мужьев, а теперь на мне зло срываешь...

Давыдову с трудом удалось навести порядок. Неподалеку от будки сели покурить, и Кондрат Майданников, давясь от смеха, сказал:

— И вот каждый день за обедом либо за ужином идет такая спектакля. Агафон с неделю синяк под глазом во всю щеку носил — съездила его Дарья кулаком, а все не бросает над ней потешаться. Не уедешь ты, Агафон, с пахоты подобру-поздорову, либо глаз она тебе выбьет напрочь, либо ногу пяткой наперед вывернет, ты дошутишься...

— Трактор «фордзон», а не баба! — восхищенно сказал Дубцов, украдкой поглядывая на проплывавшую мимо стряпуху.

И, делая вид, что не замечает ее, уже громче заговорил:

— Нет, братцы, чего же греха таить, я бы женился на Дашке, ежели был бы неженатый. Но женился бы только на неделю, а потом — в кусты. Больше недели я не выдержал бы, при всей моей силе. А помирать мне пока нет охоты. С какой радости я себя на смерть бы обрекал? Всю гражданскую отвоевал, а тут, изволь радоваться, помирай от бабы... Нет, хоть я и меченый дурак, а хитрый ужасно! Неделю бы я кое-как с Дашкой протянул, а потом ночушкой потихоньку слез бы с кровати, по-пластунски прополз до дверей, а там — на баз и намётом до самого дома... Веришь, Давыдов, истинный господь, не брешу, да и Пряников — вот он — не даст сбрехать: затеялись мы с ним как-то за хороший кондёр обнять Дашку, он зашел спереду, я — сзади, сцепились обое с ним руками, но обхватить Дарью так и не смогли, уж дюже широка! Кликнули учетчика,— он парень молодой и к тому же трусоватый, побоялся близко подступить к Дашке. Так и осталась она на веки вечные по-настоящему не обнятая...

— Не верь ты ему, проклятому, товарищ Давыдов! — уже беззлобно посмеиваясь, сказала стряпуха.— Он, если нынче чего не сбрешет, так завтра от тоски подохнет. Что ни ступнет, то сбрехнет, такой уж он у нас уродился!

После перекура Давыдов спросил:

— Сколько еще осталось пахать?

— До черта,— нехотя ответил Дубцов.— Поболе ста пятидесяти гектаров. На вчерашний день сто пятьдесят восемь оставалось.

— Отличная работа, факт! — холодно сказал Давыдов.— Чем же вы тут занимались? Со стряпухой Куприяновной спектакли ставили?

— Ну, уж это ты напрасно.

— Почему же первая и третья бригады давно закончили вспашку, а вы тянете?

— Давай, Давыдов, вечером соберемся все и поговорим по душам, а сейчас пойдем пахать,— предложил Дубцов.

Это было разумное предложение, и Давыдов, немного поразмыслив, согласился.

— Каких быков мне дадите?

— Паши на моих,— посоветовал Кондрат Майданников.— Мои быки втянутые в работу и собою справные, а две пары молодых бычат у нас сейчас на курорте.

— Как это на курорте? — удивился Давыдов.

Улыбаясь, Дубцов пояснил:

— Слабенькие, ложатся в борозде, ну, мы выпрягли их и пустили на вольный попас возле пруда. Там трава добрая, кормовитая, пущай поправляются, все одно от них никакого толку нету. Они с зимовки вышли захудалые, а тут каждый день работа, они и скисли, не тянут плуг — и всё! Пробовали припрягать их по паре к старым быкам — один черт, ничего не получается. Паши на Кондратовых, он правильно советует.

— А сам он что будет делать?

— Я его домой на два дня отпустил. У него баба захворала, слегла, даже бельишка с Ванькой Аржановым не подослала ему и переказывала, чтобы он пришел домой.

— Тогда другое дело. А то я было подумал, что ты и его на курорт куда-нибудь отправляешь. Курортные настроения у вас тут, как я вижу...

Дубцов незаметно для Давыдова подмигнул остальным, и все встали, пошли запрягать быков.

## ГЛАВА VII

На закате солнца Давыдов выпряг в конце гона быков и разналыгал их. Он сел около борозды на траву, вытер рукавом пиджака пот со лба, дрожащими руками стал сворачивать папироску — и только тогда почувствовал, как сильно устал. У него ныла спина, под коленями бились какие-то живчики и, словно у старика, тряслись руки.

— Найдем мы с тобою на заре быков? — спросил он у Вари.

Она стояла против него на пахоте. Маленькие ноги ее в растоптанных больших чириках по щиколотку тонули

и рыхлой, только что взвернутой плугом земле. Сдвинув с лица серый от пыли платок, она сказала:

– Найдем, они далеко не уходят ночью.

Давыдов закрыл глаза и жадно курил. Он не хотел смотреть на девушку. А она, вся сияя счастливой и усталой улыбкой, тихо сказала:

– Замучил ты и меня и быков. Дюже редко отдыхаешь.

– Я сам замучился до чертиков,— хмуро проговорил Давыдов.

— Надо чаще отдыхать. Дядя Кондрат вроде и отдыхает часто, дает быкам сапнуть, а всегда больше других напахивает. А ты уморился с непривычки...

Она хотела добавить: «милый» — и, испугавшись, крепко сжала губы.

— Это верно, привычки еще не приобрел,— согласился Давыдов.

С трудом он поднялся с земли, с трудом переставляя натруженные ноги, пошел вдоль борозды к стану. Варя шла следом за ним, потом поравнялась и пошла рядом. Давыдов в левой руке нес разорванную, выцветшую матросскую тельняшку. Еще днем, налаживая плуг, он нагнулся, зацепился воротом за чапигу и, рывком выпрямившись, располосовал тельняшку надвое. День был достаточно жаркий, и он мог бы великолепно обойтись без нее, но ему было совершенно невозможно в присутствии девушки идти за плугом до пояса голым. В смущении запахивая полы матросской одежки, он спросил, нет ли у нее какой-нибудь булавки. Она ответила, что, к сожалению, нет. Давыдов уныло глянул в направлении стана. До него было не меньше двух километров. «А все-таки придется идти»,— подумал Давыдов и, крякнув от досады, вполголоса чертыхнулся, сказал:

— Вот что, Варюха-горюха, обожди меня тут, я схожу на стан.

— Зачем?

— Сыму это рванье и надену пиджак.

— В пиджаке будет жарко.

— Нет, я все-таки схожу,— упрямо сказал Давыдов.

Черт возьми, не мог же он в самом деле щеголять без рубахи! Недоставало еще того, чтобы эта милая, невинная девчонка увидела, что изображено у него на груди и животе. Правда, татуировка на обоих полушариях широкой давыдовской груди скромна и даже немного сентиментальна: рукою флотского художника были искусно изображены

два голубя; стоило Давыдову пошевелиться, и голубые голуби на груди у него приходили в движение, а когда он поводил плечами, голуби соприкасались клювами, как бы целуясь. Только и всего. Но на животе... Этот рисунок был предметом давних нравственных страданий Давыдова. В годы гражданской войны молодой, двадцатилетний матрос Давыдов однажды смертельно напился. В кубрике миноносца ему поднесли еще стакан спирта. Он без сознания лежал на нижней койке, в одних трусах, а два пьяных дружка с соседнего тральщика — мастера татуировки — трудились над Давыдовым, изощряя в непристойности свою разнузданную пьяную фантазию. После этого Давыдов перестал ходить в баню, а на медосмотрах настойчиво требовал, чтобы его осматривали только врачи-мужчины.

Уже после демобилизации, в первый год работы на заводе, Давыдов все же как-то отважился сходить в баню. Прикрывая обеими руками живот, он разыскал свободную шайку, густо намылил голову — и почти тотчас же услышал где-то рядом с собой, внизу, тихий смешок. Давыдов ополоснул лицо, увидел: некий пожилой лысый гражданин, опираясь о лавку руками, изогнувшись, в упор, беззастенчиво рассматривал рисунок на животе Давыдова и, захлебываясь от восторга, тихо хихикал. Давыдов не спеша вылил воду и стукнул тяжелой дубовой шайкой чрезмерно любознательного гражданина по лысине. Не успев до конца рассмотреть рисунок, тот закрыл глаза, тихо улегся на полу. Все также не спеша Давыдов помылся, вылил на лысого целую шайку ледяной воды и, когда тот захлопал глазами, направился в предбанник. С той поры Давыдов окончательно простился с удовольствием попариться по-настоящему, по-русски, в баньке, предпочитая мыться дома.

При одной мысли о том, что Варя могла хоть мельком увидеть его разрисованный живот, Давыдова бросило в жар, и он плотнее запахнул разъезжавшиеся полы тельняшки.

— Ты выпряги быков и пусти их на попас, а я пошел,— сказал он со вздохом. Ему вовсе не улыбалась перспектива обходить пахоту либо три километра спотыкаться по пашне, и все это из-за какой-то нелепой случайности.

Но Варя по-своему расценила побуждения Давыдова. «Стесняется мой любимый работать возле меня без рубахи»,— решила она и, благодарная ему в душе за проявле-

ние чувства, щадящего ее девичью скромность, решительно сбросила с ног чирики.

— Я быстрее сбегаю!

Давыдов не успел и слова вымолвить, а она уже птицей летела к стану. На черной пахоте мелькали смуглые икры ее быстрых ног да, схваченные встречным ветром, бились на спине концы белого головного платка. Она бежала, слегка клонясь вперед, прижав к тугой груди сжатые в кулаки руки, и думала только об одном: «Сбегаю, принесу ему пиджак... Я быстро сбегаю, угожу ему, и он хоть разок за все время поглядит на меня ласково и, может, даже скажет: спасибо, Варя!»

Давыдов долго провожал ее глазами, потом выпряг быков, вышел с пахоты. Неподалеку он нашел опутавшую прошлогоднюю бурьянину повитель, очистил ее от листьев, а гибкой веточкой наглухо зашнуровал полы тельняшки. Лег на спину и тотчас уснул, будто провалился во что-то черное, мягкое, пахнущее землей...

Проснулся он оттого, что по лбу его что-то ползало — наверное, паучок или какой-нибудь червяк. Морщась, он провел рукою по лицу, снова начал дремать, и снова по щеке что-то заскользило, поползло по верхней губе, защекотало в носу. Давыдов чихнул и открыл глаза. Перед ним на корточках сидела Варя и вся вздрагивала от еле сдерживаемого смеха. Она водила по лицу спящего Давыдова сухой травинкой и не успела отдернуть руку, когда Давыдов открыл глаза. Он схватил ее за тонкую кисть, но она не стала освобождать руку, а только опустилась на одно колено, и смеющееся лицо ее мгновенно стало испуганно-ждущим и покорным.

— Я принесла тебе пиджак, вставай,— чуть слышно прошептала она, делая слабую попытку высвободить руку.

Давыдов разжал пальцы. Рука ее, большая и загорелая, упала на колено. Закрыв глаза, она слышала звонкие и частые удары своего сердца. Она все еще чего-то ждала и на что-то надеялась... Но Давыдов молчал. Грудь его дышала спокойно и ровно, на лице не дрогнул ни единый мускул. Потом он привстал, прочно уселся, поджав под себя правую ногу, ленивым движением опустил руку в карман, нащупывая кисет. Теперь их головы почти соприкасались. Давыдов шевельнул ноздрями и уловил тонкий и слегка пряный запах ее волос. Да и вся она пахла полуденным солнцем, нагретой зноем травой и тем неповторимым, свежим и оча-

ровательным запахом юности, который никто еще не смог, не сумел передать словами...

«Милая девчонушка какая!» — подумал Давыдов и вздохнул. Они поднялись на ноги почти одновременно, несколько секунд молча смотрели в глаза друг другу, потом Давыдов взял из ее рук пиджак, ласково улыбнулся одними глазами:

— Спасибо, Варя!

Именно так и сказал: «Варя», а не «Варюха-горюха». В конце концов сбылось то, о чем она думала, когда бежала за пиджаком. Так почему же на серых глазах навернулись слезы и, пытаясь сдержать их, мелко задрожали густые черные ресницы? О чем ты плачешь, милая девушка? А она беззвучно заплакала, с какой-то тихой детской беспомощностью, низко склонив голову. Но Давыдов ничего не видел: он тщательно сворачивал папироску, стараясь не просыпать ни одной крошки табаку. Папиросы у него кончились, табак был на исходе, и он экономил, сворачивал маленькие, аккуратные папироски, всего лишь на четыре — шесть добрых затяжек.

Она постояла немного, тщетно стараясь успокоиться, но ей не удалось овладеть собой, и она, круто повернувшись на каблуках, пошла к быкам, на ходу проронив:

— Пойду быков пригоню.

Однако и тут Давыдов не расслышал жестокого волнения в ее дрожащем голосе. Он молча кивнул головой, закурил, сосредоточенно размышляя о том, за сколько дней бригаде удастся вспахать весь клин майских паров своими силами и не лучше ли будет, если он подбросит сюда из наиболее мощной третьей бригады несколько плугов.

Ей удобно было плакать, когда Давыдов не мог видеть ее слез. И она плакала с наслаждением, и слезы катились по смуглым щекам, и она на ходу вытирала их кончиками платка...

Ее первая, чистая, девичья любовь наткнулась на равнодушие Давыдова. Но, кроме этого, он был вообще подслеповат в любовных делах, и многое не доходило до его сознания, а если и доходило, то всегда со значительной задержкой, а иногда с непоправимым запозданием...

Запрягая быков, он увидел на щеках Вари серые полосы — следы недавно пролитых и не замеченных им слез. В голосе его зазвучал упрек:

— Э-э-э, Варюха-горюха! Да ты сегодня, как видно, не умывалась?

— Почему это видно?

— Лицо у тебя в каких-то полосах. Умываться надо каждый день,— сказал он назидательно.

...Солнце село, а они всё еще устало шагали к стану. Сумерки ложились над степью. Терновая балка окуталась туманом. Темно-синие, почти черные, тучи на западе медленно меняли окраску: вначале нижний подбой их покрылся тусклым багрянцем, затем кроваво-красное зарево пронизало их насквозь, стремительно поползло вверх и широким полудужьем охватило небо. «Не полюбит он меня...» — с тоской думала Варя, скорбно сжимая полные губы. «Завтра будет сильный ветер, земля просохнет за день, вот тогда быкам придется круто»,— с неудовольствием думал Давыдов, глядя на пылающий закат.

Все время Варя порывалась что-то сказать, но какая-то сила удерживала ее. Когда до стана было уже недалеко, она набралась решимости.

— Дай мне твою рубаху,— тихо попросила она. И, боясь, что он откажет, умоляюще добавила: — Дай, пожалуйста!

— Зачем? — удивился Давыдов.

— Я ее зашью, я так аккуратно зашью, что ты и не заметишь шва. И постираю ее.

Давыдов рассмеялся:

— Она на мне вся сопрела от пота. Тут латать — не за что хватать, как говорится. Нет, милая Варюха-горюха, этой тельняшке вышел срок службы, на тряпки ее Куприяновне, полы в будке мыть.

— Дай я зашью, попробую, а тогда поглядишь,— настойчиво просила девушка.

— Да изволь, только труды твои пропадут даром,— согласился Давыдов.

С давыдовской полосатой рубахой в руках ей было неудобно являться на стан: это вызвало бы множество разговоров и вольных шуток по ее адресу... Она искоса, вороватo взглянула на Давыдова и, прикрываясь плечом, сунула маленький теплый комочек за лифчик.

Странное, незнакомое и волнующее чувство испытала она в тот момент, когда запыленная давыдовская тельняшка легла ей на голую грудь: будто все горячее тепло сильного мужского тела вошло в нее и заполнило всю, до отказа... У нее мгновенно пересохли губы, на узком белом лбу росинками выступила испарина, и даже походка вдруг стала какой-то осторожной и неуверенной.

А Давыдов ничего не замечал, ничего не видел. Через минуту он уже забыл о том, что сунул ей в руки свою грязную тельняшку, и, обращаясь к ней, весело воскликнул:

— Смотри, Варюха, как чествуют победителей! Это ведь учетчик нам машет фуражкой. Стало быть, мы поработали с тобой на совесть, факт!

* * *

После ужина невдалеке от будки мужчины разложили костер, сели вокруг него покурить.

— Ну, теперь — по душам: почему плохо работали? Почему так затянули вспашку? — спросил Давыдов.

— В тех бригадах быков больше,— отозвался младший Бесхлебнов.

— На сколько же больше?

— А ты не знаешь? В третьей — на восемь пар больше, а это, как ни кидай, а четыре плуга! В первой — на два плуга больше, тоже, выходит, они посильнее нас будут.

— У нас и план больше,— вставил Прянишников.

Давыдов усмехнулся:

— И намного больше?

— Хоть на тридцать гектаров, а больше. Их тоже носом не всковыряешь.

— А план в марте вы утверждали? Чего же сейчас плакаться? Исходили из наличия земли по бригадам, так ведь было?

Дубцов сдержанно сказал:

— Да никто не плачется, Давыдов, не в этом дело. Быки в нашей бригаде плохими вышли из зимовки. И сенца с соломкой у нас поменьше оказалось, когда обществляли скот и корма. Ты ведь это очень даже отлично знаешь, и придираться к нам нечего. Да, затянули, быки у нас в большинстве оказались слабосильными, но корма надо было распределять как полагается, а не так, как вы с Островновым надумали: что из личных хозяйств сдали, тем и кормите худобу. Вот теперь и получилось так: кто-то кончил пахать, к покосу скот готовит, а мы всё ишо с парами чухаемся.

— Так давайте поможем вам, Любишкин поможет,— предложил Давыдов.

— А мы не откажемся,— заявил Дубцов, поддержанный молчаливым согласием всех остальных.— Мы не гордые.

— Все ясно,— раздумчиво сказал Давыдов.— Ясно одно, что и правление, и все мы дали тут маху: зимой распределили корма, так сказать, по территориальным признакам,— ошибка! Неправильно расставили рабочую силу и тягло,— другая ошибка! А какой же дьявол нам виноват? Сами ошиблись — сами и исправлять будем. По выработке, я говорю про суточную выработку, у вас неплохие цифры, а в общем получается ерунда. Давайте-ка думать, сколько вам надо подкинуть плугов, чтобы выбраться из этого фактического тупика, давайте подсчитывать и брать все на карандаш, а на покосе учтем наши ошибки, по-иному расставим силы. Сколько можно еще ошибаться?

Часа два сидели у костра — спорили, высчитывали, переругивались. Пожалуй, активнее всех выступал Атаманчуков. Он говорил с жаром, выдвигал толковые предложения, но, случайно взглянув на него в то время, как Бесхлебнов язвительно прохаживался по адресу Дубцова, Давыдов увидел в глазах Атаманчукова такую леденящую ненависть, что в изумлении поднял брови. Атаманчуков быстро опустил глаза, потрогал пальцами заросший каштановой щетиной кадык, а когда через минуту снова посмотрел на Давыдова и встретился с ним взглядом — в глазах его светилась наигранная приветливость, и каждая морщинка на лице была исполнена добродушной беспечности. «Артист! — подумал Давыдов.— Но почему он глядел на меня таким чертом? Наверное, обижается, что я его весной выставлял из колхоза?»

Не знал, не мог знать Давыдов о том, что тогда, весной, Половцев, прослышав об исключении Атаманчукова из колхоза, ночью вызвал его к себе и, сжав массивные челюсти, сквозь зубы сказал: «Ты что делаешь, шалава? Ты мне нужен примерным колхозником, а не таким ретивым дураком, который может завалиться на пустяках сам, а на допросах в ГПУ завалить всех остальных и все дело. Ты мне на общем колхозном собрании на колени стань, сукин сын, но добейся, чтобы собрание не утвердило решения бригады. Пока мы не начали — ни тени подозрения не должно падать на наших людей».

На колени Атаманчукову не пришлось становиться: подстегнутые приказом Половцева, на собрании в защиту Атаманчукова дружно выступили и Яков Лукич и все его единомышленники, и собрание не утвердило решения бригады. Атаманчуков отделался общественным порицанием. С той поры он притих, работал исправно и даже стал для

тех, кто работал с ленцой, примером сознательного отношения к труду. Но ненависть к Давыдову и к колхозному строю он не мог глубоко и надежно запрятать, временами, помимо его воли, она прорывалась у него то в неосторожно сказанном слове, то в скептической улыбке, то бешеными огоньками вспыхивала и тотчас гасла в темно-синих, как вороненая сталь, глазах.

Только в полночь точно определили размеры требующейся помощи и сроки окончания вспашки. Тут же, у костра, Давыдов написал Размётнову записку, а Дубцов вызвался сейчас же, не медля, не дожидаясь рассвета, идти в хутор, чтобы к обеду пригнать из третьей бригады быков с плугами и самому вместе с Любишкиным отобрать наиболее работящих плугарей. Возле потухшего костра в молчании покурили еще раз, пошли спать.

А в это время около будки происходил другой разговор. В простеньком железном тазу Варя бережно простирывала тельняшку Давыдова, рядом стояла стряпуха, говорила низким, почти мужским голосом:

— Ты чего плачешь, дуреха?

— Она у него солью пахнет...

— Ну и что? У всех, кто работает, нижние рубахи солью и потом пахнут, а не духами и не пахучим мылом. Чего ревешь-то? Не обидел он тебя?

— Нет, что ты, тетя!

— Так чего слезы точишь, дура?

— Так ведь не чужую рубаху стираю, а своего родного...— склонив над тазом голову и сдерживая сдавленные рыдания, сказала девушка.

После длительного молчания стряпуха подбоченилась, с сердцем воскликнула:

— Нет, уж этого с меня хватит! Варька, подыми сейчас же голову!

Бедный, маленький погоныч семнадцати лет от роду! Она подняла голову, и на стряпуху глянули заплаканные, но счастливые глаза нецелованной юности.

— Мне и соль на его рубахе родная...

Мощная грудь Дарьи Куприяновны бурно заколыхалась от смеха:

— Вот теперь и я вижу, что ты, Варька, стала настоящей девкой.

— А какая же я раньше была? Ненастоящая?

— Раньше! Раньше ты ветром была, а теперь девкой стала. Пока парень не побьет другого парня из-за полю-

бившейся ему девки — он не парень, а полштаны. Пока девка только зубы скалит да глазами играет — она ишо не девка, а ветер в юбке. А вот когда у нее глаза от любви намокнут, когда подушка по ночам не будет просыхать от слез,— тогда она становится настоящей девкой! Поняла, дурочка?

Давыдов лежал в будке, закинув за голову руки, и сон не шел к нему. «Не знаю я людей в колхозе, не знаю, чем они дышат,— сокрушенно думал он.— Сначала раскулачивание, потом организация колхоза, потом хозяйственные дела, а присмотреться к людям, узнать их поближе — времени не хватило. Какой же из меня руководитель, к черту, если я людей не знаю, не успел узнать? А надо всех узнать, не так-то уж их много. И не так-то все это, оказывается, просто... Вон каким боком повернулся Аржанов. Все его считают простоватым, но он не прост, ох, не прост! Дьявол его сразу раскусит, этого бородатого лешего: он с детства залез в свою раковину и створки захлопнул, вот и проникни к нему в душу,— пустит он тебя, как бы не так! И Яков Лукич — тоже замок с секретом. Надо взять его на прицел и присмотреться к нему как следует. Ясное дело, что он кулак в прошлом, но сейчас работает добросовестно, наверное, побаивается за свое прошлое... Однако гнать его из завхозов придется, пусть потрудится рядовым. И Атаманчуков непонятен, смотрит на меня, как палач на приговоренного. А в чем дело? Типичный середняк, ну, был в белых, так кто из них не был в белых? Это не ответ. Крепенько надо мне обо всем подумать, хватит руководить вслепую, не зная, на кого можно по-настоящему опереться, кому по-настоящему можно доверять. Эх, матрос, матрос! Узнали бы ребята в цеху, как ты руководишь колхозом,— драили бы они тебя до белых косточек!

Возле будки, под открытым небом, улеглись спать женщины-погонычи. Сквозь дремоту Давыдов слышал тонкий Варин голос и баритонистый — Куприяновны.

— Что ты ко мне жмешься, как телушка к корове? — смеясь и задыхаясь от удушья, говорила стряпуха.— Хватит тебе обниматься. Слышишь, Варька? Отодвинься, ради Христа, от тебя жаром пышет, как от печки! Ты слышишь, что я тебе говорю? На беду я с тобой легла рядом... Горячая ты какая. Ты не захворала?

Тихий смех Вари был похож на воркованье горлинки.

Сонно улыбаясь, Давыдов представил их лежащими рядом, подумал, засыпая: «Какая милая девчонка, большая

уже, невестится, а по уму — ребенок. Будь счастлива, милая Варюха-горюха!»

Он проснулся, когда уже рассвело. В будке никого не было, снаружи не доносились мужские голоса, все пахари находились уже в борозде, один Давыдов отлеживался на просторных нарах. Он проворно приподнялся, надел портянки и сапоги — и тут увидел возле изголовья выстиранную, искусно, мелким швом зашитую тельняшку и свою чистую парусиновую рубаху. «Откуда могла тут взяться рубаха? Приехал я сюда безо всего, фактически помню. Как же здесь очутилась рубаха? Чертовщина какая-то!» — недоумевал Давыдов и, чтобы окончательно убедиться в том, что это не сон, даже потрогал рукою прохладную парусину.

Только когда он, натянув тельняшку, вышел из будки, все стало для него понятным: Варя, одетая в нарядную голубую кофточку и тщательно разутюженную черную юбку, мыла возле бочки ноги, свежая, как это раннее утро, и улыбалась ему румяными губами, и так же, как и вчера, безотчетной радостью сияли ее широко поставленные серые глаза.

— Выдохся за вчерашний день, председатель? Проспал? — сказала она смеющимся высоким голосом.

— Ты где была ночью?

— Ходила в хутор.

— Когда же ты вернулась?

— А вот толечко что пришла.

— Рубаху ты мне принесла?

Она молча кивнула головой, и в глазах ее мелькнула тревога:

— Может, я что не так сделала? Может, мне не надо было заходить на твою квартиру? Но я подумала, что полосатая рубаха ненадежная...

— Молодец, Варюха! Спасибо тебе за все сразу. Только по какому это случаю ты так разнарядилась? Батюшки! Да у нее и перстенек на пальце!

В смущении поворачивая простенькое серебряное колечко на безымянном пальце, она пролепетала:

— На мне же все грязное было, как прах. Вот я и сходила мать проведать и переменить одежу...— И вдруг, преодолев смущение, озорно блеснула глазами:— Хотела ишо туфли надеть, чтобы ты на меня хоть разок за весь день взглянул, да по пашне, с быками, в туфлях недолго проходишь.

Давыдов рассмеялся:

— Теперь я с тебя глаз сводить не буду, быстроногая моя ланюшка! Ну, иди запрягай быков, а я только умоюсь и приду.

В этот день Давыдову почти не пришлось работать. Не успел умыться, как пришел Кондрат Майданников.

— Ты же на два дня отпросился, почему так рано вернулся? — улыбаясь, спросил Давыдов.

Кондрат махнул рукой:

— Скучно там. Жена поднялась. Лихорадка ее трясла Ну, а мне что делать? Повернулся — и ходу сюда. А где же Варька?

— Пошла быков запрягать.

— Стало быть, я пойду пахать, а ты жди гостей. Сам Любишкин восемь плугов гонит, я обогнал их на полдороге. И Агафон, как Кутузов, едет впереди всех верхом на белой кобыле. Да, есть и ишо новость: вчера вечером, в потемках уже, в Нагульнова стреляли.

— Как — стреляли?!

— Обыкновенно стреляли, из винтовки. Какой-то черт вдарил. Он сидел возле открытого окна, при огне, ну, по нем и вдарили. Пуля возле виска прошла, кожу осмолила, только и всего. Но головой он немножко дергает, то ли от контузии, то ли от злости, а так — живой и здоровый. Приехали из районной милиции, ходят, нюхают, но только это дело дохлое...

— Завтра придется распрощаться с вами, пойду в хутор,— решил Давыдов.— Подымает враг голову, а, Кондрат?

— Что ж, это хорошо, пущай подымает. Поднятую голову рубить легче будет,— спокойно сказал Майданников и начал переобуваться.

## ГЛАВА VIII

После полуночи по звездному небу тесно, плечом к плечу, пошли беспросветно густые тучи, заморосил по-осеннему нудный, мелкий дождь, и вскоре стало в степи очень темно, прохладно и тихо, как в глубоком, сыром погребе.

За час до рассвета подул ветер, тучи, толпясь, ускорили свое движение, отвесно падавший дождь стал косым, от испода туч до самой земли накренился на восток, а потом так же неожиданно кончился, как и начался.

Перед восходом солнца к бригадной будке подъехал верховой. Он неторопливо спешился, привязал повод уздечки к росшему неподалеку кусту боярышника, все так же неторопливо разминаясь на ходу, подошел к стряпухе, возившейся возле вырытой в земле печурки, негромко поздоровался. Куприяновна не ответила на его приветствие. Она стояла на коленях и, упираясь в землю локтями и мощной грудью, склонив голову набок, изо всей силы дула на обуглившиеся щепки, тщетно стараясь развести огонь. Влажные от дождя и обильно выпавшей росы щепки не загорались, в натужно багровое лицо женщины клубами бил дым, серыми хлопьями летела зола.

— Тьфу, будь ты трижды проклята такая стряпня! — задыхаясь от кашля и дыма, с сердцем воскликнула раздосадованная стряпуха. Она откинулась назад, подняла голову и руки, чтобы поправить выбившиеся из-под платка волосы, и только тогда увидела перед собой приезжего

— Щепки на ночь надо в будку убирать, кормилица-поилица! У тебя ветру в ноздрях не хватит, чтобы мокрые дровишки разжечь. А ну-ка, дай я помогу тебе,— сказал он и легонько отстранил женщину.

— Вас тут, наставников, много по степи шляется, попробуй-ка сам разожги, а я погляжу, сколь богато у тебя ветра в ноздрях,— ворчливо проговорила Куприяновна, а сама охотно отодвинулась, стала внимательно разглядывать незнакомого человека.

Приезжий был невысок ростом и неказист с виду. На нем ловко сидела сильно поношенная бобриковая куртка, туго перетянутая солдатским ремнем; аккуратно заштопанные и залатанные защитного цвета штаны и старенькие сапоги, по самый верх голенищ покрытые серой коркой грязи, тоже, как видно, дослуживали свехсрочную службу у своего владельца; и совершенно неожиданным контрастом в его убогом убранстве выглядела щегольская, отличного серебристого каракуля кубанка, мрачно надвинутая на самые брови. Но смуглое лицо приезжего было добродушно, простецкий курносый нос потешно морщился, когда незнакомец улыбался, а карие глаза смотрели на белый свет со снисходительной и умной усмешкой.

Он присел на корточки, достал из внутреннего кармана куртки зажигалку и большой плоский флакон с притертой пробкой. Через минуту мелкие дровишки, щедро обрызганные бензином, горели весело и жарко.

— Вот так, кормилица, надо действовать! — сказал

приезжий, шутливо похлопывая стряпуху по мясистому плечу.— А этот флакончик, так уж и быть, дарю тебе на вечную память. Чуть чего отсыреет растопка — плесни из него на щепки, и все будет в порядке. Получай подарочек, а как только наваришь хлебова — чтобы угостила меня! Полную миску и покруче!

Пряча флакон за пазуху, Куприяновна благодарила с приторной ласковостью:

— Вот уж спасибо тебе, добрый человек, за подарочек! Кондёром постараюсь угодить. А для чего ты с собой этот пузырек возишь? Ты не из ветинаров? Не по коровьей части знахарь?

— Нет, я не коровий лекарь,— уклончиво ответил приезжий.— А где же пахари? Неужели спят еще?

— Какие за быками к пруду пошли, какие уже гнутся на дальней пашне.

— Давыдов тут?

— В будке. Зорюет, бедненький. Вчера наморился за день, он ведь у нас в работе заклятой, да и лег поздно.

— Что же он допоздна делал?

— Чума его знает, тут-таки с пахоты вернулся поздно, а тут нужда его носила озимые хлеба глядеть, какие ишо при единоличной жизни посеянные. Ходил ажник в вершину лога.

— Кто же хлеба разглядывает в потемках? — Незнакомец улыбнулся, морща нос и пытливо вглядываясь в круглое, лоснящееся лицо стряпухи.

— Туда-то он дошагал, считай, засветло, а оттуда припозднился. Чума его знает, чего он припозднился, может, соловьев слушал. А что эти соловьи вытворяют у нас тут, в Терновой балке,— уму непостижимо! Так поют, так на всякие лады распевают, что никакой сон на ум не идет! Чисто выворачивают душу, проклятые птахи! Иной раз так-то лежу, лежу, да и обольюсь вся горькими слезами...

— С чего же бы это?

— Как же это «с чего»? То младость свою вспомнишь, то всякие разные разности, какие смолоду приключались... Бабе, милый человек, немножко надо, чтобы слезу из нее выжать.

— А Давыдов-то один ходил хлеба проведывать?

— Он у нас пока без поводырей ходит, слава богу — не слепой. Да ты что есть за человек? По какому делу приехал? — вдруг насторожилась Куприяновна и строго поджала губы.

— Дельце есть к товарищу Давыдову,— опять уклончиво ответил приезжий.— Но мне не к спеху, подожду пока он проснется, пусть трудяга поспит себе на здоровье А пока дрова разгорятся — мы с тобой посидим малость, потолкуем о том о сем.

— А картошку когда же я начищу на такую ораву, ежели буду с тобой лясы точить? — спросила Куприяновна.

Но разбитной незнакомец и тут нашелся: он достал из кармана перочинный нож, попробовал лезвие его на ногте большого пальца.

— Тащи сюда картошку, я помогу почистить. У такой привлекательной стряпухи согласен всю жизнь в помощниках быть, лишь бы она мне по ночам улыбалась... Хотя бы вот так, как сейчас.

Еще более покрасневшая от удовольствия Куприяновна с притворной сокрушенностью покачала головой:

— Жидковатый ты собой, жалкий мой! Стать у тебя жидкая по мне... Кой-когда ночушкой я, может, и улыбнулась бы тебе, да ты все равно не разглядишь, не увидишь...

Приезжий удобно устроился на дубовом чурбаке, прищурил глаза, глядя на смеющуюся стряпуху.

— Я по ночам вижу, как филин.

— Да не потому не увидишь, что не разглядишь, а потому, что вострые твои глазыньки слезами нальются..

— Вот ты, оказывается, какая штука,— негромко рассмеялся приезжий.— Гляди, толстуха, как бы ты первая слезой не умылась! Я только днем добрый, а по ночам таким толстым пощады не даю. Хоть не проси и не плачься!

Куприяновна фыркнула, но взглянула на отважного собеседника со сдержанным одобрением.

— Гляди, милок, хвалюн нахвалится, а горюн нагорюется.

— А это мы к утру итоги подобьем: кому горевать, а кому зоревать и во сне потягиваться. Давай картошку, сорока, нечего бездельничать!

Покачиваясь, Куприяновна принесла из-за будки полное ведро картошки и, все еще посмеиваясь, уселась против приезжего на низком табурете. Глядя, как под смуглыми и проворными пальцами незнакомца спиралями сворачивается тонкая картофельная кожура, она удовлетворенно сказала:

— Да ты не только на язык востер, но и на дело. Хорош помощничек у меня!

Приезжий быстро орудовал ножом, молчал — и только спустя несколько минут спросил:

— Ну, как Давыдов? По душе пришелся казакам или нет?

— Пришелся, ничего. Он геройский парень и простой, вроде тебя. А такие, из каких фасон наружу не просится, нашему народу нравятся.

— Простой, говоришь?

— Дюже простой!

— Значит, вроде глуповатого? — Приезжий лукаво взглянул из-под кубанки.

— А ты са́мого себя за глупо́го считаешь? — съехидничала Куприяновна.

— Не сказал бы...

— Так чего же ты Давыдова дуришь? Вы же с ним дюже сходственные...

И снова приезжий промолчал, улыбаясь про себя, редко взглядывая на словоохотливую стряпуху.

На востоке шире стала сокрытая тучей багряная полоса солнечного восхода. Поднявшийся на крылья, отдохнувший за ночь ветер донес из Терновой балки гремучие раскаты соловьиного пения. И тогда приезжий вытер о штанину лезвие перочинного ножа, попросил:

— Иди буди Давыдова. Зимой будет отсыпаться.

Давыдов вышел из будки босиком. Был он заспан и хмур. Мельком взглянул на приезжего, хрипло спросил:

— С пакетом из райкома? Давай.

— Без пакета, но из райкома. Обуйся, товарищ Давыдов, поговорить надо.

Почесывая широкую татуированную грудь, Давыдов снисходительно посмотрел на приезжего:

— Чует мое сердце, что твоя милость — уполномоченный райкома... Я сейчас, товарищ!

Он быстро оделся, натянул на босые ноги сапоги, наскоро ополоснул лицо водой, терпко пахнущей дубовым бочонком, и немножко церемонно раскланялся:

— Председатель колхоза Семен Давыдов.

Приезжий шагнул вплотную к Давыдову, обнял его широкую спину.

— Вот как официально ты представляешься! А я — секретарь райкома Иван Нестеренко. Вот и познакомились, а теперь пойдем походим, поговорим по душам, товарищ председатель колхоза. Ну, как, много еще осталось пахать?

— Порядком...

— Стало быть, хозяин что-то недоучел?

Нестеренко взял Давыдова под руку, тихонько увлекая к пахоте. Давыдов, косясь на него, сдержанно сказал:

— Ошибся.— И вдруг неожиданно для самого себя загорячился: — Да ведь пойми, дорогой секретарь, я в сельском хозяйстве — телок телком. Я не оправдываюсь, но ошибся не я один... Дело-то новое...

— Я вижу и понимаю, давай спокойнее.

— Не один я ошибся, а все ребята, на кого опираюсь, промазали вместе со мной. Не так расставили силенки. Понимаешь?

— Понимаю. И страшного тут не очень много. Не такое уж страшное дело, исправите на ходу. Подкрепление уже получили людьми и тяглом? Хорошо. А что касается расстановки сил, равномерного распределения этих сил по бригадам — учти на будущее, хотя бы на время сенокоса, и особенно — в уборку хлебов. Надо заранее все как следует продумать.

— Ясно, факт!

— Ну, а теперь пойдем, покажи, где ты пахал, где твой гон. Хочу посмотреть, как ленинградский рабочий класс хозяйничает на донской земле... Секретарю парткома на Путиловский не придется мне писать, жаловаться на твое нерадение, а?

— Это уж сам суди.

Маленькой, но сильной рукой Нестеренко еще крепче сжал локоть Давыдова. Глядя сбоку на простое, открытое лицо секретаря, Давыдов вдруг почувствовал себя так легко и свободно, что улыбка невольно тронула его твердые губы. Что-то давненько никто из партийного начальства не говорил с ним так дружески просто и по-человечески хорошо...

— Качество проверить хочешь, товарищ Нестеренко? И это всерьез?

— Что ты, что ты! Просто посмотреть, полюбопытствовать, на что способен рабочий класс, когда он не у станка, не у верстака, а на земле. Если хочешь знать, я — исконный ставропольский хлебороб, и мне любопытно поглядеть, чему тебя научили казаки. А может быть, тебя какая-нибудь казачка учила пахать и огрехи делать? Смотри, не поддавайся зловредному влиянию гремяченских казачек! Из них есть такие штучки, что и тебя, бывалого моряка, черт знает чему научат... Запросто собьют с пути истинного! Или какая-нибудь уже сбила?

Нестеренко говорил с веселой непринужденностью, будто и не выбирая слов, но Давыдов сразу же почувствовал некий, прикрытый шутливостью намек — и весь внутренне подобрался. «Знает что-нибудь про Лушку или закидывает удочку наудачу?» — не без тревоги подумал он. Однако поддержал шутливый тон разговора:

— Это если женщина собьется с пути или заплутается, то кричит: «Ау-у-у!» А мужчина, настоящий мужчина, ищет дорогу молча, факт!

— А ты, видно, настоящий мужчина?

— А ты как думал, товарищ секретарь?

— А я думаю так: настоящие мужчины мне больше по душе, чем крикуны, и если ты, Давыдов, ненароком собьешся с пути, то, не поднимая шума, шепни мне на ухо. Как-нибудь я помогу тебе выбраться на твердую дорогу. Договорились?

— Благодарю на добром слове,— уже серьезно сказал Давыдов, а сам подумал: «Вот чертов сын! Все пронюхал...» Чтобы не подчеркивать серьезность своей последней фразы, добавил: — Удивительно добрый секретарь у нас, прямо на редкость!

Нестеренко с ходу остановился, повернулся лицом к Давыдову и, сдвинув на затылок свою роскошную кубанку, морща в улыбке нос, сказал:

— Потому и добрый, что смолоду сам не всегда по прямой дороге ходил... Бывало, идешь, идешь, как на параде шаг чеканишь, а потом и собьешься с ноги, вильнешь черт его знает куда, одним словом — куда-нибудь в сторону, ну и прешь по чертополоху, пока добрые люди опять молодого дурака на дорогу не выведут. Понятно тебе, матросик, откуда у меня доброта зародилась? Но я не ко всем, без разбора, добрый...

— Говорят, что конь хоть и о четырех ногах, а спотыкается,— осторожно вставил Давыдов.

Но Нестеренко холодно посмотрел на него:

— Если хороший конь споткнется раз-другой, ему можно простить, но есть такие кони, которые спотыкаются на каждом шагу. Как ты его ни учи, как с ним ни бейся, а он подряд все кочки норовит пересчитать носом. Для чего же такого одра и на конюшне держать? Долой его!

Давыдов, незаметно усмехаясь, молчал. До того прозрачно было иносказание, что пояснений не требовалось...

Они медленно шли к пахоте, и так же медленно, прячась за огромную лиловую тучу, вставало за их спиной солнце.

— Вот мой гон,— указал Давыдов, с нарочитой небрежностью кивнув на ровную, уходящую вдаль пахоту.

Неуловимым движением головы стряхнув кубанку, до самых бровей, Нестеренко вразвалочку зашагал поперек сырой пахоты. Давыдов следовал за ним немного поодаль и видел, как секретарь, будто бы вынимая попавшую за голенище бурьянинку, не раз и не два промерил глубину вспашки. Давыдов не выдержал:

— Да ты уж меряй не таясь! Ну что ты дипломатию со мной разводишь?

— Сделал бы вид, что не замечаешь,— на ходу буркнул Нестеренко.

У противоположной стороны гона он остановился, с обидной снисходительностью заговорил:

— Вообще — ничего, но пахота неровная, как будто подросток пахал: где поглубже, где помельче малость, а где и вовсе глубоко. Скорее всего — это от неумения, а может быть, и оттого, что в недобром духе взялся за чапиги. Но ты имей в виду, Давыдов, что злому только на войне хорошо быть, там злость сражаться помогает, а на пахоте надо быть душевным человеком, потому что земля любит ровное, ласковое к себе отношение. Так мне еще батька-покойник при жизни говорил... Ну, о чем задумался, сухопутный моряк?! — вдруг задорно крикнул Нестеренко и увесисто толкнул Давыдова плечом.

Тот качнулся и сначала не понял, что его зовут на борьбу. Но когда смеющийся Нестеренко с силой толкнул его еще раз, Давыдов широко расставил ноги и слегка наклонился вперед.

Они схватились, ища друг у друга пояс.

— На поясах или как? — сдерживая дыхание, спросил Нестеренко.

— Как хочешь, только без дураков, без подножки.

— И через голову не кидать,— уже слегка посапывая от усилий повернуть противника, выдохнул Нестеренко.

Давыдов обхватил тугое, мускулистое тело и тотчас же, по сноровке, понял, что перед ним настоящий опытный борец. Давыдов был, пожалуй, сильнее, но Нестеренко превосходил его подвижностью и ловкостью. Раза два, когда их лица почти соприкасались, Давыдов видел налитую смуглым румянцем щеку, озорно поблескивающий глаз, слышал приглушенный шепот: «Давай, давай, рабочий класс! Чего ты на одном месте топчешься?»

Минут восемь они возились на пахоте, а потом, уже окончательно измотанный, Давыдов хрипло сказал:

— Выбираемся на траву, а то мы тут богу души отдадим...

— Где начали, там и кончим,— тяжело дыша, прошептал Нестеренко.

Напрягая последние силы, Давыдов кое-как вытеснил противника на твердую землю, и тут наступил конец состязанию: падали они вместе, но уже при падении Давыдов сумел повернуть Нестеренко и оказался сверху. Раскинув ноги, всем весом своего тела прижимая противника к земле, задыхаясь, он еле проговорил:

— Ну, как, секретарь?

— О чем же говорить, признаю... Силен ты, рабочий класс... Меня побороть не так-то просто, с детства этим балуюсь...

Давыдов поднялся, великодушно протянул побежденному руку, но тот вскочил, как распрямившаяся пружина, повернулся спиной.

— Отряхни грязь!

С какой же мужской теплотой и лаской Давыдов своими большими ладонями осторожно счищал со спины Нестеренко приставшие комочки грязи и былинки прошлогодней травы! Потом они снова встретились глазами, и оба рассмеялись.

— Ты хоть из уважения к моему партийному званию поддался бы! Чего тебе стоило? Эх ты, медведь ленинградский! Никакой вежливости в тебе нет, никакого чинопочитания... Зато — улыбка-то! Улыбка до ушей и морда самодовольная, как у молодожена!

Давыдов и действительно широко улыбался:

— В следующий раз учту, факт! Но ты сопротивляйся слабее, а то ведь по колено в землю уходил, не хотел сдаваться. Эх ты, Нестеренко, Нестеренко! Несчастный ставропольский середняк ты и мелкий собственник, как говорит наш Макар Нагульнов.— Ты — как секретарь — должен понимать, что рабочий класс во всяком деле должен быть сверху, это исторически обосновано, факт!

Нестеренко насмешливо свистнул, тряхнул головой. Кубанка скользнула ему на затылок, удержалась там как бы чудом. Посмеиваясь, он сказал:

— В следующий раз я тебя непременно положу! Посмотрим, какое марксистское обоснование ты тогда будешь подыскивать! Беда вот в чем: стряпуха-то видела, как мы

с тобой возились, будто мальчишки, что она подумает о нас? Скажет — наверное, с ума спятили дяди...

Давыдов беспечно махнул рукою:

— Сошлемся на нашу молодость, поймет и простит... Что ж, давай поговорим, товарищ Нестеренко, а то ведь время-то идет, факт!

— Выбирай место посуше, чтобы присесть.

Они устроились на небольшом глинистом курганчике, брошенной сурчине, и Нестеренко не спеша заговорил:

— Перед тем как явиться сюда, я побывал в Гремячем. Познакомился с Размётновым, со всеми из актива, кто был в хуторе, а Нагульнова я знаю, встречался с ним еще до приезда в хутор, был он у нас и в райкоме. Я уже говорил и ему и Размётнову, повторю и тебе: плохо вы ведете работу по вовлечению в партию хороших колхозников, преданных нашему делу людей. Очень плохо! А хорошие ребята в колхозе есть, согласен?

— Факт!

— В чем же дело?

— И хорошие выжидают...

— Чего?

— Как обернется дело с колхозом... А пока — на своих огородах больше копаются.

— Пошевеливать их надо, будить у них леность мысли!

— Шевелим помаленьку, но толку мало. Думаю, что к осени будет прирост в нашей ячейке, факт!

— А до осени будете сидеть сложа руки?

— Нет, зачем же, будем действовать, но не будем нажимать.

— А я и не говорю о каком-то нажиме. Надо попросту не упускать ни единой возможности пригорнуть к себе того или иного трудягу из передовых, разъяснить ему доступным языком политику партии.

— Так мы и действуем, товарищ Нестеренко,— заверил Давыдов.

— Действуете, а ячейка не растет. Это похоже скорее на бездействие, чем на действие... Что ж, подождем — увидим, как у вас дальше дело пойдет. Ну, а теперь поговорим о другом. Хочу указать тебе на кое-какие недостатки иного порядка. Сюда я приехал познакомиться с тобой, обнюхаться, как говорится, и побеседовать по душам. Парень ты грамотный и всерьез на молодость свою ссылаться не будешь, ушла твоя молодость, да так ушагала, что и не

догонишь и не вернешь! Скидок от меня на свое пролетарское происхождение, на неопытность и прочее не жди, но не жди и особой, непоколебимой суровости, какой любят щеголять некоторые партийные руководители.— Нестеренко, несколько оживившись, продолжал: — Привились у нас в партийном быту, на мой взгляд, неумные действия и соответствующие им выражения: «снять стружку», «прочистить песочком», «продрать наждаком» и так далее. Как будто речь идет не о человеке, а о каком-то ржавом куске железа. Да что же это такое, в самом деле? И заметь, что выражения эти в ходу по большей части у тех, кто за всю свою жизнь не снял ни одной стружки ни с металла, ни с дерева и уж, наверное, никогда не держал в руках наждачного бруска. А ведь человек — тонкая штука, и с ним надо ох как аккуратно обходиться!

Расскажу тебе одну историю. В восемнадцатом году был у нас в отряде такой порядок и такая дисциплина, что хуже бы, да некуда. Не отряд Красной гвардии, а осколок махновской банды, честное слово! И вот в девятнадцатом году, в начале года, прислали нам комиссара — коммуниста из донецких шахтеров. Пожилой такой был, сутуловатый дядя; усы черные, вислые, как у Тараса Шевченко. С приходом его и пошло у нас все по-иному. Отряд к тому времени переформировали в полк Красной Армии. Люди-то в полку остались те же и в то же время стали не те, как будто переродились. Ни одного дисциплинарного взыскания, не говоря уже про отдачу под суд Ревтрибунала, и это всего лишь через месяц после того, как в полку появился комиссар-шахтер! Чем он брал? Душою, вот чем он брал, хитрый дьявол! С каждым красноармейцем поговорит, для каждого у него ласковое слово найдется. Который трусит перед боем,— он его с глазу на глаз подбодрит; безрассудного поставит на место — да так, что тот и не подумает в бутылку полезть, обидеться. На ухо ему скажет: «Не при на рожон, дурак! Ведь тебя убьют, а тогда что мы будем делать? Ведь без тебя весь взвод, а не то и рота, пропадет ни за понюшку табаку». Ну, герою, разумеется, лестно, что о нем комиссар такого мнения, и начинает он воевать не бесшабашно, а с рассудком... Была у нашего комиссара всего лишь одна слабость: займем какое-нибудь крупное село или казачью станицу, и начинает он барахлить...

Давыдов от неожиданности так резко повернулся к Нестеренко, что чуть не опрокинулся набок с круто срезанного ветрами сурчинного холмика. Скользя и упираясь

растопыренными пальцами правой руки во влажную глину, воскликнул:

— Как, то есть, барахлить? Ну что ты болтаешь?!

Нестеренко тихо засмеялся:

— Не то слово я сказал! Не барахлить, а рыться в библиотеках у богатых купцов, у помещиков, словом, у всех, кто по тогдашним временам мог приобретать книги. Отберет, бывало, нужные ему книги и конфискует их безо всяких разговоров! Не поверишь — четыре брички книг возил за собою, целую библиотеку на колесах, и заботился о книгах, как о боеприпасах: каждая бричка под брезентом, и книги уложены корешок к корешку, да еще и соломка под испод постелена. А на привале, на отдыхе, в перерывах между боями, во всякую свободную минуту, после чистки оружия и еды, сует бойцам книги, приказывая читать, а потом проверяет, прочитал ты или нет...

Я тогда по младости больше девушками интересовался и, признаться, отлынивал от чтения... А был почти безграмотен и глуп, как пробка. Вот он меня однажды и уличил в том, что я не прочитал одну книгу, которую он мне дал. До сих пор помню и автора, и название книги... Стал он дня через два спрашивать про содержание книги, а я — ни в зуб ногой. Он говорит,— а говорил он в таких случаях всегда без свидетелей, чтобы при посторонних не срамить человека,— вот он и говорит мне: «Ты что же думаешь, так и жить Иванушкой-дурачком на белом свете? Видел я, как ты вчера вечером возле одной девчонки увивался. Так вот заруби себе на носу: грамотной девушке ты, безграмотный дурак, и на понюх не нужен, ей с тобой через пять минут скучно станет; дуре ты и вовсе ни к чему: ума она у тебя не наберется, потому что у тебя у самого его нет и в помине, еще не нажил. А всеми остальными мужскими достоинствами грамотные обеспечены в такой же мере, как и безграмотные, так что преимущество все же, при всех условиях, на стороне грамотного. Понятно тебе, молодой пень?»

Ну, что я мог ему на это ответить?..

Полмесяца он меня всячески пилил и высмеивал, чуть до слез не доводил,— и все-таки приучил к чтению, а потом я уже и сам пристрастился к книгам, да так, что не оторвешь. До нынешних дней вспоминаю его добрым словом и, по совести говоря, еще не знаю, кому я больше обязан своими знаниями и воспитанием: то ли покойному родителю, то ли ему, моему комиссару.

Нестеренко ненадолго умолк, о чем-то задумался. Ему,

как видно, взгрустнулось. Но через минуту, еле сдерживая хитроватую улыбку, он уже сыпал вопросами:

— А ты на досуге что-нибудь читаешь? Наверно, одни газеты просматриваешь? Да и свободного времени мало, так ведь? Кстати, в вашей избе-читальне есть интересные книги?.. Не знаешь?! Ну, братец ты мой, позор на твою голову! Да ты в избе-читальне был хоть раз?.. Всего два раза заходил? Ну, милый мой, это ни в какие ворота не лезет! Я был о тебе лучшего мнения, представитель ленинградского рабочего класса! Вот о чем я могу написать на твой завод! Но ты не бойся, я от своего имени напишу так: «Бывший рабочий вашего завода, двадцатипятитысячник Давыдов, ныне председатель колхоза, и руководимые им колхозники остро нуждаются в книгах. Им крайне необходима популярная политическая и экономическая литература, книги по агрономии, животноводству и вообще по сельскому хозяйству. Желателен также подбор художественной литературы — как классической, так и современной. В порядке шефства пришлите, пожалуйста, бесплатно библиотечку, этак книжонок в триста, по такому-то адресу». Идет? Написать, что ли?.. Не хочешь? Правильно, что не хочешь! Тогда потрудись сам, за колхозные средства, приобрести библиотеку не меньше чем в двести — триста книг. Скажешь, мол, денег нет? Чепуха! Найдутся! Продай пару старых быков, не обнищаете, черт вас не возьмет! Вот тебе и библиотека, да еще какая! Вчера я подсчитывал в правлении, и оказалось, что у вас, по наличию земли, имеется явный излишек тягла. Зачем вы на него напрасно корм тратите? Сбывайте его с рук! Ты знаешь, сколько у вас быков старше десяти лет?.. Не знаешь? Жаль, что не знаешь, но могу тебе в этой беде помочь: девять пар у вас старья, от десяти лет и старше. А хорошие хозяева такую рухлядь на базах не держат, откармливают и продают. Понятно?

— Понятно-то понятно, но весь выбракованный скот мы решили продать осенью, в том числе и старых быков. Так мне советовали опытные хозяева.

— А сейчас этот скот у вас на нагуле?

— Нет. По крайней мере старые быки в работе, это я точно знаю.

— Кто же это опытный такой посоветовал тебе продавать осенью?

— Завхоз наш Островнов и еще кто-то, не помню.

— Гм, интересно... Завхоз твой до коллективизации без

пяти минут кулак был, стало быть, знающий хозяин, как же он мог посоветовать тебе такую чепуху? Продавать быков осенью, а до тех пор ярма с них не снимать? Ну и продадите кожу да кости. А я бы посоветовал тебе иначе: пустить сейчас весь скот, предназначенный для продажи, на нагул, а потом поставить его на откром, подержать на концентратах и продать летом, когда на рынке скота мало и мясо дороже. А осенью и без вашего скота мяса будет хоть завались, и цена будет ниже. Хлебные излишки у вас есть. В чем же дело? Впрочем, смотрите сами, я не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Но ты все-таки подумай об этом... Во всяком случае, пару быков-старичков можно подкормить и продать теперь же. Ведь не на пропой же эти деньги пойдут, а на книги! Короче, чтобы через два месяца библиотека у вас была. Точка! Избу-читальню из хатыразвалюхи немедленно переведи в один из хороших кулацких домов, переведи в самый лучший, и ошибки не будет! Вторая точка! Избача пришлю к вам, толкового парня, и дам ему наказ ежедневно по вечерам проводить громкие читки. Третья точка!

— Подожди ты ставить точки! — взмолился красный от смущения Давыдов.— Русским языком говорю тебе, что библиотека будет, снять точку! Избу-читальню завтра же переведу в хороший дом, снять вторую! А вот с третьей точкой заминка... Избач у меня у самого есть на примете, мировой парень и агитатор хоть куда! Но работает он на производстве, вот в чем фактическое затруднение... Думаю, что окружком комсомола пойдет нам навстречу, а паренька я усватаю!

Нестеренко внимательно выслушал его, с непроницаемым видом кивая головой, смеясь одними глазами.

— До смерти люблю, когда командир энергичен и быстро принимает правильное решение... Но о своей читальне ты все-таки дослушай. Вчера побывал я там. Посещение, скажу тебе, не из приятных... Пустота и мерзость запустения! На окнах пыль. Полы давным-давно не мыты. Пахнет плесенью и еще черт знает чем. Прямо как в могильном склепе, ей-богу! А главное, книжонок — раз, два и обчелся, и те старье. На одной из полок обнаружил свернутый плакат, желтый от времени. Разворачиваю, смотрю рисунки, читаю:

Девкам видеть строй наш любо,
Бабки шамкают беззубо,
Умиляются отцы.
— Ай да наши! Молодцы!

Дуй врагов и в хвост и в гриву! —
Пахарь знай, взрыхляя ниву,
Что хранят твои труды
Всех трудящихся ряды.

Э-э-э, думаю, да ведь это — старый знакомый! Я этот плакат читал — и с той поры запомнил — еще в двадцатом году на врангелевском фронте. Слова-то Демьяна Бедного хороши и сейчас, но согласись, что в тридцатом году надо бы иметь что-то посвежее, имеющее отношение к нынешним дням, ну хотя бы к коллективизации...

— Глазастый ты человек и дотошный,— пробормотал скорее с одобрением, чем с неудовольствием все еще не пришедший в себя от смущения Давыдов.

— Мне положено и смотреть и помогать исправлять недостатки в работе, что я и делаю при полном к тебе расположении, Семен. Но все это присказки, а сказка впереди... Вот ты уехал сюда, в бригаду, бросил колхоз, передоверил Размётнову все колхозные дела. А ведь ты знаешь, что Размётнову одному тяжело тянуть в такое время, что он не справляется с делами. Знаешь? А ты пошел на это!

— Но ты сам на тубянских полях гонял на лобогрейке! Или ты отрицаешь силу примера?

Нестеренко досадливо отмахнулся:

— Я в Тубянском проработал несколько часов, чтобы познакомиться с народом, и это — другое дело, а ты в бригаду подался от неустроенности в своей личной жизни. Разница? Мне что-то кажется, что ты от Лукерьи Нагульновой сбежал... Может быть, я ошибаюсь?

Кровь отхлынула от лица Давыдова. Он отвернулся, бесцельно перебирая пальцами травинки, глухо сказал:

— Я слушаю...

А Нестеренко осторожно и ласково положил ему руку на плечо, слегка притягивая к себе, попросил:

— Только без обиды! Ты думал, я твою пахоту мерил спроста? Ты же в иных местах пахал глубже, чем трактор! Ты свою злость на земле срываешь, а обиду на быков перекладываешь... Со слов тех, кто тебя знает, похоже, что у тебя с Лукерьей дело идет к концу. Верно это?

— Похоже.

— Что ж, этому можно лишь от души порадоваться. Только кончай волынку поскорее, дорогой Семен! Народ к тебе хорошо относится, но плохо то, что тебя жалеют — пойми, именно жалеют! — из-за этой непутевой связи. Когда люди по русской привычке жалеют всяких там си-

рых да убогих — это в порядке вещей. Но вот когда они начинают жалеть умного парня, да еще своего вожака,— что может быть постыднее и ужаснее для такого человека? И главное, твое дурацкое увлечение негодной бабенкой, да еще недавней женой товарища, на мой взгляд, мешает всему! Иначе чем же объяснить непростительные провалы в твоей работе, в работе Нагульнова? Завязались вы тут чертовым узлом, и если сами не развяжетесь — райкому придется рубить, так и знай!

— Может быть, мне лучше уйти из Гремячего? — нерешительно спросил Давыдов.

— Не говори глупостей! — резко оборвал его Нестеренко.— Если напакостил, то сначала надо за собой почистить, а потом уже говорить об уходе. Ты мне лучше скажи вот что: знаешь ты Егорову, учительницу-комсомолку?

— Знаю, встречался.— Давыдов вдруг некстати улыбнулся, вспомнив свою первую встречу зимой, во время раскулачивания, с молоденькой, до крайности стеснительной учительницей.

Знакомясь с ним, она как-то неловко, лодочкой протянула ему холодную, потную ручонку и покраснела мучительно, до слез, еле выдавив из себя: «Учительница Егорова Люда». Тогда Давыдов предложил Нагульнову: «Возьми к себе в бригаду учительку-комсомолку. Пусть молодая посмотрит, что за штука классовая борьба». Но Нагульнов, хмуро рассматривая свои длинные, смуглые руки, ответил: «Бери ты ее к себе, а мне она не нужна в таком деле! Она ведет первые классы, у нее парнишка получит двойку, так она вместе с ним слезами заливается. И кто такую девку в комсомол принимал? Разве это комсомолка? Слюни в юбке!»

Нестеренко впервые нахмурил брови, осуждающе взглянул на Давыдова:

— Чему ты, спрашивается, улыбаешься? Что ты веселого нашел в моем вопросе?

Давыдов сделал неловкую попытку объяснить причину своей неуместной веселости.

— Пустое, так просто, вспомнил пустячок один про эту учительницу... Очень она скромная у нас...

— Пустячки вспоминаешь! Нашел время забавляться! — с нескрываемым раздражением воскликнул Нестеренко.— Ты лучше бы вспомнил о том, что эта скромная учительница — единственный член комсомола у вас в хуто-

ро! Такой большой хутор, и нет комсомольской ячейки. Это тебе не пустячок! Кто за это должен отвечать? И Нагульнов, в первую очередь, и ты, и я вместе с вами. А ты еще улыбаешься... Плохая это улыбка, Семен Давыдов! И давай не ссылаться на неотложные дела! Все дела, какие партия дала нам в руки, неотложны. Другой вопрос — как мы умеем поворачиваться.

Давыдов уже начинал понемногу злиться, но все же, сдерживая себя, сказал:

— Ты, товарищ Нестеренко, один день побыл в Гремячем Логу и за это время успел обнаружить вон сколько промахов и недостатков в нашей работе, да и мое поведение отметил... А что было бы, если бы ты пожил тут с января месяца? Твоих замечаний хватило бы на неделю выслушивать, факт!

Последняя фраза Давыдова несколько развеселила Нестеренко. Он лукаво прищурился, толкнул Давыдова локтем.

— А ты, Семен, не допускаешь такого предположения: если бы я не просто «был» в Гремячем, а работал бы бок о бок с вами, то, возможно, и промахов меньше было?

— Факт, что меньше, но все равно нашлись бы. Ты тоже ошибался бы, как миленький, факт! Знаешь ли, я многие свои промахи вижу, но не все и не сразу исправляю, вот в чем моя беда, факт! Как-то по весне школьники вместе с заведующим школой, по фамилии Шпынь, ходили на поля сусликов выливать, а я прошел мимо и не остановился, не поговорил, не узнал и сейчас не знаю, как и чем этот старый учитель живет... Я тебе скажу, хуже дело было. Зимой прислал он мне записку, просил подводу, привезти ему дровишек. Ты думаешь, я послал? Я забыл. Другие дела отняли у меня и время и сердце к старику... До сих пор стыдно становится, как вспомню! И насчет комсомола правильно. Упустили мы важное дело, и я тут, конечно, тоже очень повинен, факт.

Но Нестеренко не так-то просто было смягчить покаянными рассуждениями.

— Все это хорошо, что ты и ошибки свои признаешь, и стыд, как видно, еще не совсем потерял, однако ни комсомол ото всего этого у вас не вырос, ни дровишек у учителя не прибавилось... Делать надо, дорогой Семен, а не только каяться! — настойчиво внушал он.

— Все будет исправлено и сделано, даю честное слово! Но с организацией комсомольской ячейки вы нам помогите,

то есть райком, пришлите одного-двух ребят и девушку комсомолку, хотя бы на временную работу. Егорова, я тебе говорю всерьез, никудышный организатор. Она по земле ходить стесняется, где уж ей там с молодежью, да особенно с нашей, управиться!

Только теперь довольный Нестеренко сказал:

— Вот это уже другой разговор! С комсомолом поможем, обещаю, а сейчас разреши довесить тебе еще немного к твоему самокритичному заявлению. Под Первое мая ваш кооператор просил у тебя две подводы послать в станицу за товаром?

— Просил.

— Не дал?

— Не вышло. Мы тогда и пахали и сеяли, всё вместе. Не до торговли было.

— И нельзя было оторвать две упряжки? Чепуха! Бред! Можно бы, и без особого ущерба для работы в поле. Но ты не сумел, не схотел, не подумал: «А как это отразится на настроении колхозников?» И в результате за самым необходимым — за мылом, за солью, за спичками и керосином,— да еще под праздник, гремяченские бабенки топали пешком в станицу. Как же они после этого судили между собой о нашей Советской власти? Или тебе это все равно? А мы с тобой не за то воевали, чтобы ругали нашу родную власть, нет, не за то! — выкрикнул Нестеренко неожиданно тонким голосом. А закончил уже шепотом: — Неужели даже такая простая истина до тебя не доходит, Семен? Опомнись же, дорогой товарищ, очнись!..

Давыдов мял в пальцах потухший окурок, смотрел в землю, долго молчал. Всю жизнь он был, по возможности, сдержан в проявлении боровших его чувств, уж в чем, в чем, но в сентиментальности его никак нельзя было упрекнуть, а тут неведомая сила толкнула его, и он крепко обнял Нестеренко и даже слегка коснулся твердыми губами небритой секретарской щеки. Голос его взволнованно вздрагивал, когда он говорил:

— Спасибо тебе, дорогой Нестеренко! Большое спасибо! Хороший ты парень, и легко с тобой будет работать, не так, как с Корчжинским. Горькие слова ты мне наговорил, но насквозь правильные, факт! Только, ради бога, не думай, что я — безнадежный! Я буду делать так, как надо, все мы будем стараться и делать так, как надо; я кое-что многое пересмотрю, мне хватит теперь подумать... Верь мне, товарищ Нестеренко!

Нестеренко был взволнован не меньше, но вида не подавал, покашливал, щуря карие, теперь уже невеселые глаза. После минутного молчания он зябко поежился, тихо сказал:

— Верю в тебя и в остальных ребят и надеюсь на вас, как на самого себя. Ты это крепко помни, Семен Давыдов! Не подводите райком и меня, не смейте подводить! Ведь мы же, коммунисты, как солдаты одной роты, ни при каких условиях не должны терять чувство локтя! Ты сам это отлично знаешь. И чтобы больше у нас с тобой не было неприятных разговоров, ну их к черту! Не люблю я таких разговоров, хотя иногда их вести необходимо. Вот так поговоришь, пособачишься с таким дружком, как ты, а потом всю ночь не спишь, сердце щемит...

Крепко пожимая горячую руку Нестеренко, Давыдов внимательно всмотрелся в его лицо и диву дался: уже не прежний веселый рассказчик, не общительный рубаха-парень, готовый и побалагурить и побороться, сидел рядом с ним, а пожилой и усталый человек. Глаза Нестеренко как-то сразу постарели, по углам рта легли глубокие складки, и даже смуглый румянец на скуластых щеках словно бы выцвел и пожелтел. За короткие минуты Нестеренко как будто подменили.

— Пора мне ехать, загостился я у тебя,— сказал он, тяжело поднимаясь с сурчины.

— Ты не заболеть ли хочешь? — с тревогой спросил Давыдов.— Что-то ты сразу скис.

— А ты угадал,— невесело сказал Нестеренко.— У меня начинается приступ малярии. Давненько подцепил ее, в Средней Азии, и вот никак не избавлюсь от проклятущей!

— А что ты делал в Средней Азии? Какая нужда тебя туда носила?

— Уж не думаешь ли ты, что я туда за персиками ездил? Басмачей ликвидировал, а вот свою собственную, родную малярию не могу ликвидировать. Загнали мне ее доктора в печенки, теперь и радуйся на нее. Но это — между прочим, а напоследок вот что я хотел тебе сказать: контрики зашевелились у нас в округе, то же самое у соседей, в Сталинградской области. На что-то еще рассчитывают, чертовы дуроломы! Но как это в песне поется? «Нас побить, побить хотели, нас побить пыталися...»

— «А мы тоже не сидели, того дожидалися»,— досказал Давыдов.

— Вот именно. Но все же ушки на макушке надо

держать.— Нестеренко раздумчиво почесал бровь и сердито крякнул: — Ничего с тобой не поделаешь, придется лишаться дорогой вещицы... Раз уж заковали с тобой дружбу, прими в подарок вот эту игрушку, пригодится в нужде. Нагульнов получил предупреждение, берегись и ты, а то можешь получить кое-что похуже...

Из кармана куртки он достал матово блеснувший браунинг второго номера, вложил его в ладонь Давыдова.

— Эта мелкая штука в обороне, пожалуй, надежнее слесарного инструмента.

Давыдов крепко стиснул руку Нестеренко, растроганно и несвязно забормотал:

— Спасибо тебе за товарищескую, как бы это сказать... ну, факт, что за дружескую заботу! Большое спасибо!

— Носи на здоровье,— пошутил Нестеренко.— Только, смотри, не потеряй! А то ведь старые вояки с годами становятся рассеянными...

— Пока жив — не потеряю, а если уж потеряю, то вместе с головой,— заверил Давыдов, пряча пистолет в задний карман брюк.

Но сейчас же снова достал его, растерянно взглянул сначала на пистолет, потом на Нестеренко.

— Неловко как-то получается... А как же ты останешься без оружия? Бери назад, не надо мне!

Нестеренко легонько отстранил протянутую руку.

— Не беспокойся, у меня в запасе второй есть. Этот был расхожий, а тот я блюду как зеницу ока, он у меня дарственный, именной. Я что же, по-твоему, зря прослужил в армии и провоевал пять лет? — Нестеренко подмигнул и даже попытался улыбнуться, но улыбка вышла больной, вымученной.

Он снова зябко поежился, пошевелил плечами, стараясь побороть дрожь, с перерывами заговорил:

— А вчера мне Шалый хвалился твоим подарком. Был я у него в гостях, чаи гоняли с сотовым медом, рассуждали о жизни, и вот он достает из сундука твой слесарный инструмент, говорит: «За всю свою жизнь получил я два подарка: кисет от своей старухи, когда она еще в девках ходила и на меня, молодого коваля, поглядывала, да вот этот инструмент лично от товарища Давыдова за мою ударность в кузнечном деле. Два подарка за всю длинную жизнь! А сколько я за эту прокопченную дымом жизнь железа в руках перенянчил, и не счесть! Потому-то эти подарочки и лежат у меня, считай, не в сундуке, а возле

самого сердца!» Хорош старик! Красивую, трудовую жизнь прожил, и, как говорится, дай бог каждому принести людям столько пользы, сколько принес своими ручищами этот старый кузнец. Так что, как видишь, твой подарок куда ценнее моего.

К бригадной будке они шли быстрым шагом. Нестеренко уже колотила крупная дрожь.

С запада снова находил дождь. Низко плыли первые предвестники непогоды — рваные клочья облаков. Бражно пахло молодой травой, отсыревшим черноземом. Ненадолго проглянувшее солнце скрылось за тучей, и вот уже, ловя широкими крыльями свежий ветер, устремились в неведомую высь два степных подорлика. Преддождевая тишина мягким войлоком покрыла степь, только суслики свистели пронзительно и тревожно, предсказывая затяжной дождь.

— Ты отлежись у нас в будке, потом поедешь. Тебя же дождь в пути прихватит, измокнешь и вовсе сляжешь,— настойчиво советовал Давыдов.

Но Нестеренко категорически отказался:

— Не могу. В три у нас бюро. А дождь меня не догонит. Конь добрый подо мною!

Руки у него тряслись, как у дряхлого старика, когда он отвязывал повод и подтягивал подпругу седла. Коротко обняв Давыдова, он с неожиданной легкостью вскочил на настоявшегося коня, крикнул:

— Согреюсь в дороге! — и с места тронул крупной рысью.

Заслышав мягкий топот конских копыт, Куприяновна вывалилась из будки, как опара из макитры, горестно всплеснула руками:

— Уехал?! Да как же это он отчаялся без завтрака?!

— Заболел,— сказал Давыдов, провожая секретаря долгим взглядом.

— Да головушка ты моя горькая! — сокрушалась Куприяновна.— Такого расхорошего человека и не покормили! Хотя он, видать, из служащих, а не погребовал картошку со мной чистить, когда ты, председатель, дрыхнул. Он — не то, что наши казачишки, не чета им! От наших дождешься помочи, как же! Они только и умеют жрать в три горла да брехать на молодой месяц, а чтобы стряпухе помочь — и не проси! А уж какие ласковые слова говорил мне этот приезжий человек! Такие ласковые да подсердешные, что другой и ввек не придумает! — жеманно поджимая румяные губы, хвалилась Куприяновна, а сама искоса погляды-

вала на Давыдова: какое это произведет на него впечатление?

Тот не слышал ее, мысленно перебирая в памяти недавний разговор с Нестеренко. Однако Куприяновне, разговорившись, трудно было остановиться сразу, потому она и продолжала:

— И ты, Давыдов, чума тебя забери, хорош, хоть бы шумнул мне, что человек собирается в путь. И я-то, дура набитая, недоглядела, вот горюшко! Небось, он подумает, что стряпуха нарочно схоронилась от него в будку, а я как раз к нему — со всей душой...

Давыдов по-прежнему молчал, и Куприяновна высказывалась без помех:

— Ты глянь, как он верхи сидит! Как скажи, под конем родился, а на коне вырос! И не ворохнется, соколик мой, не качнется! Ну, вылитый казак, да ишо старинной выправки! — восторженно приговаривала она, не сводя очарованного взгляда с удаляющегося всадника.

— Он не казак, он украинец,— рассеянно сказал Давыдов и вздохнул. Ему стало как-то невесело после отъезда Нестеренко.

От его слов Куприяновна вспыхнула, как сухой порох:

— Ты своей бабушке сказки рассказывай, а не мне! Я тебе точно говорю, что он истый казак! Неужто тебе глаза залепило? Его издаля по посадке угадаешь, а вблизу — по обличью, по ухватке, да и по обхождению с женщиной видать, что он казачьей закваски, не из робких...— многозначительно добавила она.

— Ну, пусть будет по-твоему, казак так казак, мне от этого ни холодно, ни жарко,— примирительно сказал Давыдов.— А хорош парень? Как он тебе показался? Ведь ты же с ним, пока не разбудила меня, наверное, наговорилась всласть?

Теперь пришла очередь вздохнуть Куприяновне, и она вздохнула всей могучей грудью — да с таким усердием, что под мышкой у нее во всю длину шва с треском лопнула старенькая кофточка.

— Такого поискать! — помедлив, с глубочайшим чувством ответила Куприяновна и вдруг ни с того ни с сего яростно загремела посудой, бесцельно переставляя ее по столу, вернее даже не переставляя, а расшвыривая как попало и куда попало...

## ГЛАВА IX

Давыдов шел неспешным, но широким шагом. Поднявшись на бугор, он остановился, посмотрел на безлюдный в эту пору дня бригадный стан, на вспаханное поле, раскинувшееся по противоположному склону почти до самого горизонта. Что ни говори, а потрудился он эти дни во всю силу, и пусть не обижаются на него за чрезмерную нагрузку ни погоныч Варюха, ни Кондратовы быки... А интересно будет в октябре взглянуть на этот массив: наверное, сплошь покроют его кустистые зеленя озимой пшеницы, утренние заморозки посеребрят их инеем, а в полдень, когда пригреет низко плывущее в бледной синеве солнце,— будто после проливного дождя, заискрятся озими всеми цветами радуги, и каждая капелька будет отражать в себе и холодное осеннее небо, и кипенно-белые перистые облачка, и тускнеющее солнце...

Отсюда, издали, окруженная зеленью трав, пахота лежала, как огромное, развернутое во всю ширь полотнище черного бархата. Только на самом краю ее, на северном скате, там, где близко к поверхности выходили суглинки,— тянулась неровная, рыжая с бурыми подпалинами кайма. Вдоль борозд тускло блистали отвалы чернозема, выбеленные лемехами плугов, над ними кружились грачи, и, словно одинокий подснежник, на черной пахоте виднелось голубое пятно: Варя Харламова бросила утратившую для нее теперь всякий интерес работу и, понурив голову, медленно брела к стану. А Кондрат Майданников неподвижно сидел на борозде, курил. Что ему еще оставалось делать без погоныча, когда с быками, вокруг которых роились тучи оводов, не было никакого сладу?

Увидев остановившегося на перевале Давыдова, Варя тоже остановилась, проворно сняла с головы платок, тихо взмахнула им. Этот молчаливый и несмелый призыв заставил Давыдова улыбнуться. Он помахал в ответ кепкой, пошел уже не оглядываясь.

«Экая самоуправная девица! Сама по себе очень милая, но фактически избалованная и самоуправная. А бывают девушки неизбалованные? И так, чтобы безо всякого кокетства с их стороны? Что-то я таких за свою жизнь и во сне не повидал, и наяву не встречал... Как только стукнет любой этакой красавице шестнадцать или семнадцать лет, так она начинает принаряжаться, всячески прихорашиваться на свой лад, силу свою и власть начинает над нашим братом

потихоньку пробовать, уж это — факт! — размышлял Давыдов на ходу.— Вот и Варюха-горюха берется приручить меня, характер свой оказывает. Но только ничего из этого дела у нее не выйдет: балтийцы — стреляный народ! А почему она идет к будке? Идет не спеша, вразвалочку, значит, не Кондрат послал ее по делу, а идет она по собственному желанию, по своему глупому девичьему капризу. Может быть, потому, что я ушел из бригады? Ну, тогда это — фактическое безобразие и полное нарушение трудовой дисциплины! Если по уважительной причине идет — пожалуйста, шагай себе на здоровье, а если через какой-нибудь каприз — взгреть на первом же бригадном собрании, невзирая ни на ее молодость, ни на красивую личность! Пахота — это тебе не воскресное игрище, и потрудись мне работать как полагается»,— уже с раздражением думал Давыдов.

Странное чувство раздвоенности испытывал он в этот момент: с одной стороны, он негодовал на Варю за самовольство, а с другой — его мужскому самолюбию льстила догадка, что из-за него девушка на какое-то время оставила работу...

Он вспомнил, как один из его ленинградских приятелей, тоже бывший матрос, начиная ухаживать за какой-либо девушкой, отводил его в сторону и, стараясь быть серьезным, заговорщицки шептал: «Семен, иду на сближение с противником. В случае неустойки с моей стороны — поддержи меня с флангов, а если буду бит — пожалуйста, прикрой мое позорное отступление». Вспомнил и улыбнулся далекому прошлому и тотчас подумал: «Нет, мне с этим «противником», Варюхой, «идти на сближение» не годится. Не по моему возрасту она, не из того экипажа... Да тут не успею я и притопнуть за ней, а колхозники сразу вообразят, что я какой-нибудь особенный хлюст по женской части. А какой там, к черту, хлюст, когда сам не знаю, как мне с одной этой Лушкой развязаться. Нет, милую Варюху можно любить только всерьез, попросту баловать с ней мне совесть не позволит. Вон она какая вся чистая, как зоренька в погожий день, и какими чистыми глазами на меня смотрит... Ну, а если я всерьез любить пока еще не научился, не постиг этого дела, то нечего мне и голову морочить девушке. Тут уж, матрос Давыдов, отчаливай, да поживее!.. А вообще-то надо мне подальше от нее держаться. Надо осторожненько поговорить с ней, чтобы не обиделась, и — подальше»,— с невольным вздохом решил Давыдов.

Размышляя о своей не очень-то нарядно сложившейся в Гремячем Логу жизни, о задачах, поставленных перед ним новым секретарем райкома, он опять вернулся в мыслях к Лушке: «Как же мне этот морской узел развязать безболезненно? А ведь, пожалуй, Макар-то прав: там, где ни руками, ни зубами развязать невозможно,— рубить надо! И что же это за чертовщина такая! Очень трудно будет мне расставаться с нею навсегда. А почему? Почему у Макара это вышло легко, а у меня получается трудно? Неужели характера нет? Вот уж чего никогда про себя не думал! А может быть, и Макару нелегко было, но только он виду не подавал? Наверное, так оно и было, но Макар умел скрывать свои переживания, а я не умею, не могу. Вот в чем все дело оказывается!»

Незаметно Давыдов прошел порядочное расстояние. Возле придорожного куста боярышника прилег в холодке отдохнуть и покурить, долго прикидывал в уме, кто мог стрелять в Нагульнова, но потом с досадой отбросил все догадки: «И без выстрела известно, что в хуторе даже после раскулачивания осталась какая-то сволочь. Поговорю с Макаром, разузнаю все обстоятельно, тогда, может быть, кое-что и прояснится, а зря нечего голову ломать».

Чтобы сократить путь, он свернул с дороги, зашагал напрямик, целиною, но не прошел и полкилометра, как вдруг словно переступил какую-то невидимую черту и оказался в ином мире: уже не шуршал о голенища сапог зернистый аржанец, не пестрели вокруг цветы, куда-то исчезли, улетучились пряные запахи пышного цветущего разнотравья, и голая, серая, мрачная степь далеко распростерлась перед ним.

Так безрадостна была эта выморочная, будто недавним пожаром опустошенная земля, что Давыдову стало как-то не по себе. Оглядевшись, он понял, что вышел к вершине Бирючьей балки, на бросовую целинную землю, о которой Яков Лукич однажды на заседании правления сказал: «На Кавказе господь бог для чего-то горы наворочал, всю землю на дурацкие шишки поднял, ни проехать тебе, ни пройти. А вот зачем он нас, то есть гремяченских казаков, обидел,— в толк не возьму. Почти полтысячи десятин доброй земли засолил так, что ни пахать, ни сеять на ней извеку нельзя. По весне под толоку она идет, и то ненадолго, а потом плюнь на эту проклятую землю и не показывайся на ней до будущей весны. Вот и весь от нее толк: полмесяца хуторских овчишек впроголодь кормит, а после только по

спискам за нами значится да всяким земным гадам — ящерам и гадюкам — приют дает».

Давыдов пошел медленнее, обходя широкие солончаковые рытвины, перешагивая округлые глубокие ямки, выбитые копытами коров и овец, до глянца вылизанные их шершавыми языками. Горько-соленая почва в этих ямках была похожа на серый в прожилках мрамор.

До самого Мокрого буерака, километров на пять, тянулась эта унылая степь. Она белела дымчатыми султанами ковыля, высохшими плешинами потрескавшихся от жары солончаков, струилась текучим и зыбким маревом и горячо дышала полуденным зноем. Но и здесь, на скудной почве, цвела своя неумирающая жизнь: из-под ног Давыдова то и дело с треском выпархивали краснокрылые кузнечики; бесшумно скользили серые, под цвет земли, ящерицы; тревожно пересвистывались суслики; сливаясь с ковылем и покачиваясь на разворотах, низко плавал над степью лунь, а доверчивые жаворонки безбоязненно подпускали Давыдова почти вплотную, как бы нехотя взлетая, набирали высоту, тонули в молочно-голубой дымке безоблачного неба, и оттуда приглушеннее, но приятнее звучали их нескончаемые трели.

На провесне, как только в снегу появлялись первые проталины, жаворонки прилетали на этот скучный, но почему-то облюбованный ими клочок земли, из прошлогодней жухлой травы вили гнезда, выводили птенцов и до глубокой осени радовали степь своим немудреным, но с детства родным для человеческого слуха пением. На одно такое гнездышко, искусно свитое в чаше следа, некогда оставленного конским копытом, Давыдов чуть не наступил. Он испуганно отдернул ногу, наклонился. Старое гнездо оказалось брошенным. Около него валялись слипшиеся после дождей крохотные перышки, мелкие кусочки яичной скорлупы.

«Увела матка молодых. А любопытно было бы посмотреть на маленьких жавороняток! Что-то не помню, чтобы приходилось их видеть когда-нибудь в детстве,— подумал Давыдов. И с грустью усмехнулся: — Всякая мелкая пташка и та гнездо вьет, потомство выводит, а я ковыляю бобылем почти сорок лет, и еще неизвестно, придется ли мне посмотреть на своих маленьких... Жениться, что ли, на старости лет?»

Давыдов вслух рассмеялся, на миг представив себя солидным, женатым человеком в обществе дородной, напо-

добие Куприяновны, жены и множества разновозрастных детей. Такие семейные фотографии не раз приходилось ему видеть на фотовитринах в провинциальных городах. И такой смешной и нелепой показалась ему эта неожиданно пришедшая на ум мысль о женитьбе, что он только рукой махнул и веселее зашагал к хутору.

Не заходя домой, Давыдов пошел прямо в правление колхоза. Ему не терпелось поскорее расспросить обо всем случившемся Нагульнова.

Просторный, заросший курчавой муравою двор правления был пустынен, только возле конюшни соседские куры лениво копались в навозе да под навесом сарая в глубокой старческой задумчивости неподвижно стоял козел, прозванный почему-то Трофимом. Увидев Давыдова, козел оживился, задорно тряхнул бородой и, потоптавшись на месте, спорой рысью устремился наперерез. На полпути он склонил голову, воинственно поднял куцую метелку хвоста, перешел на галоп. Намерения его были так откровенны, что Давыдов, улыбаясь, остановился, приготовился встретить атаку бородатого драчуна.

— Так-то ты приветствуешь председателя колхоза? Вот я тебя сейчас подфутболю сапогом, старый бес! — смеясь, сказал Давыдов и, изловчившись, схватил козла за рубчатый витой рог.— Ну, теперь пойдем в правление на расправу, Щукарев приятель, забияка и бездельник!

Трофим изъявил полное смирение: повинуясь Давыдову, покорно засеменил с ним рядом, изредка потряхивая головой, вежливо пытаясь высвободить рог. Но на первой ступеньке крыльца он вдруг решительно уперся, затормозив всеми ногами, а когда Давыдов остановился, доверчиво потянулся к нему, обнюхивая карман, потешно шевеля серыми губами.

Давыдов стыдил его, укоризненно покачивая головой, стараясь придать голосу наибольшую выразительность:

— Эх, Трофим, Трофим! Ведь ты уже старик, колхозный пенсионер, можно сказать, а глупости не бросаешь, кидаешься на всех в драку, а если не выйдет — начинаешь клянчить хлеба. Нехорошо так, даже стыдно, факт! Ну, что ты там унюхал?

Под кисетом и спичками Давыдов нащупал завалявшуюся в кармане черствую краюшку хлеба, тщательно очистил с нее присохшие крупинки табака и для чего-то понюхал сам, прежде чем протянуть на ладони скромное угощение. Козел, заискивающе и просительно склонив

голову, смотрел на Давыдова дремучими глазами старого сатира, но краюшку еле-еле понюхал и, презрительно фыркнув, с достоинством сошел с крыльца.

— Не очень голоден,— не скрывая досады, сказал Давыдов.— Не был ты в солдатах, черт паршивый, а то бы сожрал за милую душу! Подумаешь, табачком сухарь малость попахивает, эка важность. Наверное, дворянской крови в тебе много, негодник, очень уж ты привередлив, факт!

Давыдов бросил сухарь, вошел в прохладные сени, зачерпнул из чугуна кружку воды и с жадностью осушил ее. Только теперь он почувствовал, как сильно устал от жары и дороги.

В правлении, кроме Размётнова и счетовода, никого не было. Размётнов, увидев Давыдова, заулыбался.

— Прибыл, служивый? Ну, теперь у меня гора с плеч! Морока с этим колхозным хозяйством — не дай и не приведи господь! То угля в кузнице нет, то чигирь на плантации сломался, то один идет с какой-нибудь нуждой, то другой волокется... Такая нервная должность нисколько для моего характера не подходит. Ежели мне тут посидеть бы ишо неделю, так я таким припадочным сделался бы, что со стороны любо-дорого посмотреть!

— Как Макар?

— Живой.

— Да я знаю, что живой, а как у него с контузией?

Размётнов поморщился:

— Ну, какая от пули может быть контузия? Не из трехдюймовки же по нем били. Ну, малость покрутил головой, смочил царапину водкой и в себя принял, что осталось в пол-литре после примочки, на том дело и кончилось.

— Где он сейчас?

— Поехал в бригаду.

— Так как же все это произошло?

— Проще простого: ночью Макар сидел возле открытого окна, а новый грамотей, дед Щукарь, по другую сторону стола. Ну, в Макара и урезали из винтовки. Кто стрелял — про то темна ночка знает, только одно ясно: у губошлепа винтовка в руках была.

— Почему же это ясно?

У Размётнова от удивления высоко взметнулись брови.

— Как же это «почему»? А ты бы промахнулся из винта на тридцать шагов? Утром мы нашли место, откуда

он стрелял. По гильзе нашли. Сам вымерял: ровно двадцать восемь шагов от плетня до завалинки.

— Ночью можно промахнуться и на тридцать шагов.

— Нет, не можно! — горячо возразил Размётнов.— Я бы не промахнулся! Да ежели хочешь, давай испробуем: садись ночью там, где Макар сидел, а мне винтовку дай. С одного патрона я тебе дырку в аккурат между бровей сделаю. Стало быть, ясно, что стрелял какой-нибудь вьюноша, а не настоящий солдат.

— Ты давай подробнее.

— Все доложу по порядку. Около полуночи, слышу я, по хутору стрельба идет: один винтовочный выстрел, потом два поглуше, вроде как из пистолета, и опять — хлёсткий, винтовочный, по звуку можно было определить. Я схватил из-под подушки наган, штаны на бегу натянул и выскочил на улицу. Бегу к Макаровой квартире: стрельба будто оттуда доносилась. Грешным делом подумал, что это Макар чего-нибудь чудит...

Домчался мигом. Стучусь в дверь — заперто, а слышно, кто-то в хате жалобно стонает. Ну, толкнул раза два плечом как следует, сломал дверную задвижку, вскочил в хату, спичку зажег. В кухне из-под кровати человеческие ноги торчат. Ухватился за них, тяну. Батюшки-светы, как завизжит кто-то под кроватью на поросячий манер! Меня даже оторопь взяла, но я все-таки продолжаю тянуть в том же духе и дальше. Выволок этого человека на середку кухни, а это оказался совершенно не человек, то есть не мужчина, а старуха хозяйка. Спрашиваю у нее, где Макар, а она от страху даже слова не выговорит.

Кинулся я в Макарову комнатенку, споткнулся обо что-то мягкое, упал, вскочил на ноги, а самого так и обожгло: «Значит, думаю, Макара убили, это он лежит». Кое-как зажег спичку, гляжу — дед Щукарь на полу валяется и смотрит на меня одним глазом, а другой закрыл. Кровь у деда на лбу и на щеке. Спрашиваю у него: «Ты живой? А Макар где?» А он своим чередом меня спрашивает: «Андрюша, скажи мне, ради бога, живой я или нет?» И голосок у него такой нежный да тонкий, как будто и на самом деле старик концы отдает... Тут я успокоил его, говорю: «Раз ты языком владеешь — значит, пока ишо живой... Но мертвежиной от тебя уже наносит...» Заплакал он горько и говорит: «Это у меня не иначе душа с телом расстается, потому и дух такой тяжелый. Но ежли я временно живой, то вскорости непременно помру: у меня пуля в голове сидит».

— Что за чертовщина! — нетерпеливо прервал Давыдов.— Но почему же у него кровь на лице? Ничего не понимаю! Он, что, тоже ранен?

Посмеиваясь, Размётнов продолжал:

— Да никто не раненый, обошлось. Так вот, пошел я, закрыл ставни на всякий случай, зажег лампу. Щукарь как лежал на спине, так и лежит спокойненько, только и второй глаз закрыл, и руки на животе сложил. Лежит, как в гробу, не шелохнется, ни дать ни взять покойник, да и только! Слабеньким, вежливым таким голоском просит меня: «Сходи, ради Христа, позови мою старуху. Хочу перед смертью с ней попрощаться».

Нагнулся я к нему, присветил лампой.— Размётнов фыркнул и с трудом сдержал готовый прорваться смех.— При свете вижу, что у него, у Щукаря то есть, сосновая щепка во лбу торчит... Пуля, оказывается, отколола у оконного наличника щепку, она отлетела и воткнулась Щукарю в лоб, пробила кожу, а он сдуру представил, что это пуля, ну и грянулся обземь. Без смерти помирает старик на моих глазах, а я от смеха никак разогнуться не могу. Ну, конечно, вынул я эту щепку, говорю деду: «Удалил я твою пулю, теперь вставай, нечего зря вылеживаться, только скажи мне: куда Макар девался?»

Гляжу, повеселел мой дед Щукарь, но вставать при мне что-то стесняется, ерзает по полу, а не встает... Однако, чертов брехун и лежа мне голову морочит: «Когда, говорит, по мне враги стрельнули и вдарила меня пуля прямо в лоб, я упал как скошенный и потерял сознательность, а Макар тем часом потушил лампу, сигнул в окно и куда-то смылся. Вот она, говорит, какая промеж нас дружба: я лежу раненый, почти до смерти убитый, а он бросил меня на растерзание врагам и скрылся с перепугу. Покажи мне, Андрюша, пулю, какая меня чуть не убила. Ежли, бог даст, останусь живой — сохраню ее у старухи под образами на вечную память!»

«Нет,— говорю ему,— пулю я тебе показывать не могу, она вся в крови, и как бы ты опять не обеспамятел, увидав ее. Эту знаменитую пулю мы в Ростов отправим, в музей на сохранение». Тут старик ишо больше развеселился, проворно повернулся на бок и спрашивает: «А что, Андрюша, может, мне за геройское ранение и за то, что я такое нападение врагов перенес, и медаль какая-нибудь от высшего начальства выйдет?» Но тут уж досада меня разобрала. Сунул я ему щепку в руки, говорю: «Вот твоя «пуля»,

в музей такая не годится. Клади ее под божницу и сохраний, а пока топай к колодезю, обмывай свое геройство и приводи себя в порядок, а то несет от тебя, как от скотомогильника».

Подался Щукарь на баз, только я его и видел, а тут вскорости Макар явился, дышит, как запаленный конь, сел за стол и помалкивает. Потом отдышался, говорит: «Не попал в подлюгу! Два раза стрелял. Темно, мушки не видать, по стволу бил и — мимо. А он приостановился и ишо раз в меня ударил. Вроде за гимнастерку кто-то меня дернул». Оттянул Макар подол гимнастерки и, на самом деле, с правой стороны гимнастерка у него повыше пояса пробитая пулей. Спросил я его — не угадал ли, мол, кто это? А он усмехается: «У меня глаза не совиные. Знаю только, что — молодой человек, потому что уж дюже резвый! Пожилой так не побежит. Когда я за ним погнался — куда там! Его и конный не догонит».— «Как же,— говорю ему,— ты так рисково поступаешь? Кинулся вдогонку, не зная, сколько их? А ежели бы за плетнем ишо двое этаких ребят тебя ждали, тогда как? Да и один мог подпустить тебя поближе и урезать в упор». Но с Макаром разве сговоришь? «Что же, по-твоему, мне надо было делать? — говорит он.— Потушить лампу и под кровать лезть, что ли?» Вот и все, как оно было. У Макара от этого выстрела только один насморк остался.

— При чем тут насморк?

— А кто его знает, это он так говорит, а я сам удивляюсь. Ну, чего ты смеешься? У него и на самом деле ужасный насморк после этого выстрела образовался. Течет из носа ручьем, а чихает очередями, как из пулемета бьет.

— Одна сплошная необразованность,— недовольно сказал счетовод, пожилой казак из бывших полковых писарей. Он сдвинул на лоб очки в потускневшей от времени серебряной оправе, сухо повторил: — Необразованность свою показывают товарищ Нагульнов, только и всего!

— Сейчас все больше необразованным приходится отдуваться,— усмехнулся Размётнов.— Ты вот шибко образованный, на счетах щелкаешь, аж треск идет, и каждую буковку с кудряшками-завитушками выписываешь, а стреляли что-то не в тебя, а в Нагульнова...— И, обращаясь к Давыдову, продолжал: — Утром ранехонько захожу его проведать, а там у него такой спор идет с фельдшером, что сам черт ничего не разберет! Фельдшер говорит, что у Макара насморк оттого, что он простудился, когда ночью

сидел возле открытого окна на сквозняке, а Макар стоит на том, что насморк у него оттого, что пуля носовой нерв затронула. Фельдшер спрашивает: «Как же пуля могла носовой нерв затронуть, ежели она прошла выше уха и обожгла висок?» А Макар ему отвечает: «Это не твое дело, как затронула, а факт тот, что затронула, и твое дело лечить этот нервный насморк, а не рассуждать о том, чего не знаешь».

Макар упрямый, как черт, а этот старичишка фельдшер и того хуже. «Вы мне голову вашими глупостями не забивайте,— говорит он.— От нервов у человека одно веко дергается, а не два, одна щека дрыгает, а не две. Почему же в таком разе у вас насморк не из одной ноздри, а из обеих свищет? Ясное дело — от простуды».

Макар помолчал самую малость, потом спрашивает: «А что, ротный лекарь, тебя когда-нибудь по уху били?»

Я на всякий случай к Макару поближе подсаживаюсь, чтобы вовремя схватить его за руку, а фельдшер — совсем наоборот: подальше от него отодвигается, уже на дверь поглядывает и говорит этак неустойчиво: «Не-е-ет, бог миловал, не били. А почему вас это интересует?»

Макар опять его спрашивает: «А вот, ежели я тебя ударю кулаком в левое ухо, думаешь, в одном левом ухе у тебя зазвенит? Будь спокоен, в обоих ушах трезвон будет, как на пасху!»

Фельдшер встал со стула, бочком, бочком подвигается к двери, а Макар говорит: «Да ты не горячись, садись на стул, я вовсе не собираюсь тебя бить, а объясняю просто для примера. Ясно?»

А с чего бы этот фельдшер стал горячиться? Он опаски ради было подался к двери, но после Макаровых слов сел на самый краешек стула, а на дверь все-таки нет-нет да и глянет... Макар сжал кулак, рассматривает его со всех сторон, будто первый раз в жизни видит, и опять же спрашивает: «А ежели я второй раз поднесу тебе этот гостинец, тогда что будет?» Опять фельдшер встает и отодвигается к двери. Сам за ручку держится, а сам говорит: «Глупости какие-то вы придумываете! К медицине и к нервам ваши кулаки никакого отношения не имеют!» — «Очень даже имеют»,— на это суперечит ему Макар и опять же просит его садиться и вежливо усаживает на стул. Но тут фельдшер ни с того ни с сего начинает почему-то ужасно потеть и заявляет, что ему страсть как некогда и он должен немедленно удалиться на прием больных. Но Макар категорически говорит, что

больные могут обождать несколько минут, и что спор на медицинскую тему продолжается, и что он, Макар, надеется дать ему пять очков вперед в этой науке.

Давыдов устало улыбнулся, счетовод смеялся тихим, старушечьим смешком, закрывая ладонью рот, но Разметнов, сохраняя полную серьезность, продолжал.

— «Так вот,— говорит Макар,— ежели я второй раз тебя стукну по этому же самому месту, то не думай, что у тебя слеза из одного левого глаза выскочит. Из обоих брызнет, как сок из спелого помидора, уж за это я как-нибудь ручаюсь! Так и нервный насморк: ежели из левой ноздри течет, то должно течь и из правой. Ясно?» Но тут фельдшер осмелел и говорит: «Не мудрите вы, пожалуйста, ежели ничего не смыслите в медицине, и лечитесь каплями, какие я вам пропишу». Эх, как тут Макар прыгнет! Чуть не до потолка взвился и орет уже не своим голосом: «Это я-то в медицине не смыслю?! Ах ты, старая клизьма! На германской войне я четыре раза был ранен, два раза контужен и раз отравлен газами, на гражданской три раза ранен, в тридцати лазаретах, в госпиталях и больницах валялся, и я же ничего не смыслю в медицине?! Да ты знаешь, слабительный порошок, какие меня доктора и профессора лечили? Тебе, старому дураку, такие ученые люди и во сне не снились!» Но тут фельдшер взноровился, откуда только у него и смелость взялась, и он шумит на Макара: «Хотя вас, говорит, и ученые люди лечили, однако сам вы, уважаемый, пробка в медицине!» Макар ему на это: «А ты в медицине — дырка от бублика! Ты можешь только новорожденным пупки резать да старикам грыжи вправлять, а в нервах ты разбираешься, как баран в библии! Ты эту науку про нервы нисколько не постиг!»

Ну, слово за слово, расплевались они, и фельдшер выкатился из Макаровой комнатушки, как нитошный клубок. А Макар поостыл немного и говорит мне: «Ты ступай в правление, а я малость полечусь простыми средствами, разотру нос жиром, и зараз же приду». Поглядел бы ты, Давыдов, каким он явился через час! Нос у него стал огромадный и синий, как баклажан, и висит куда-то на сторону. Не иначе он его свихнул, когда растирал. А бараньим жиром от Макара, от его носа то есть, несет на все правление. Это он такую растирку себе придумал... Глянул я на него — и, веришь, зашелся от смеха. Ну, начисто суродовал себя парень! Хочу у него спросить, что он наделал с собой, и никак от смеха не продыхну. А он ужасно серчает, спрашива-

ет у меня: «Ты чего смеешься, дурацкий идиот, ясную пуговицу на дороге нашел или что? Чему ты обрадовался, Трофимов сын? У тебя ума, как у нашего козла Трофима, а туда же, смеешься над порядочными людьми!»

Направился он в конюшню, я — за ним. Гляжу, снял Макар седло, рыжего маштака подседлал, выводит из конюшни, и все — молчком. За мой смех, значит, серчает. Спрашиваю: «Ты куда собрался?» Хмуро так отвечает: «На кудыкино поле, хворост рубить да тебя бить!» — «За что же это?» — спрашиваю. Молчит. Пошел я его проводить. До самой его квартиры молчали. Возле калитки кинул он мне поводья, а сам пошел в хату. Гляжу, является оттуда: через плечо у него наган в кобуре и на ремне, как полагается, а в руках держит полотенце...

— Полотенце? — удивился Давыдов.— Почему полотенце?

— Так я же говорил тебе, что у него насморк страшенный, никаким платком не обойдешься, а по-нашему, по-простому, бить соплю обземь он даже в степи стесняется.— Размётнов тонко улыбнулся: — Ты его мелко не кроши, как-никак, а он а̀нглийский язык учит, нельзя же ему необразованность проявлять... Для такого случая он и прихватил вместо платка полотенце. Я ему говорю: «Ты бы, Макар, голову забинтовал, ранку прикрыл». А он взбеленился, орет: «Какая это ранка, черт тебя задери! Повылазило тебе, не видишь, что это царапина, а не ранка?! Мне эти дамские нежности ни к чему! Поеду в бригаду, ветром ее обдует, пыльцой присыпет, и заживет она, как на старом кобеле. А ты в чужие дела не суйся и катись отсюда со своими дурацкими советами!»

Вижу, что он после схватки с фельдшером и после моего смеха стал сильно не в духе, осторожночко посоветовал ему, чтобы наган на виду не держал. Куда там! Послал меня к родительнице и говорит: «По мне всякая сволочь стрелять будет, а я, что же, должен с ребячьей рогаткой ездить? Поносил наган в кармане восемь лет, подырявил карманов несчетно, а зараз хватит! С нонешнего дня буду носить открыто. Он у меня не ворованный, а моей кровью заслуженный. Даром, что ли, вручали мне его от имени дорогого товарища Фрунзе, да ишо с именной серебряной пластинкой на рукоятке? Шалишь, брат, и опять же в чужие дела нос суешь». С тем сел верхи и поехал. Пока из хутора не выбрался, все слышно было, как он сморкается в полотенце, будто в трубу дудит. Ты ему скажи, Семен,

насчет нагана. Нехорошо все-таки перед народом. Тебя-то он послушается.

До сознания Давыдова уже не доходили слова Размётнова. Подперев щеки ладонями, облокотившись, он смотрел на выщербленные, покрытые чернильными пятнами доски стола, вспоминал рассказ Аржанова, думал: «Ну хорошо, допустим, Яков Лукич — кулак, но почему именно его и должен подозревать? Сам он за винтовку не возьмется, слишком стар, да и умен; и Макар говорит, что убегал от него молодой, резвый на ногу. А если сын Лукича заодно с папашей? Все равно без твердых доказательств снимать Якова Лукича с должности завхоза нельзя, этим только спугнешь его, если он впутался в какой-нибудь сговор, да и других нашарахаешь. А один Лукич не пойдет на такое дело. Он умный, черт, и один ни за что не рискнет на такую штуку: значит, надо с ним быть по-прежнему и намека на подозрения не подавать, иначе можно сорвать все дело. А игра начинается уже с козырей... Надо вскоре же съездить в район, поговорить с секретарем райкома и начальником ГПУ. Хлопает наше ГПУ ушами, а тут уже из винтовок по ночам начинают хлопать. Нынче — в Макара, а завтра — в меня или Размётнова. Нет, это дело не годится. Если ничего не предпринимать, то один какой-нибудь стервец нас в три дня может перещелкать... Но все же едва ли Лукич ввяжется в контрреволюционную игру. Уж больно он расчетлив, факт! Да и какой ему смысл? Работает завхозом, член правления, живет хорошо, в достатке. Нет, что-то не верится мне, чтобы его потянуло на старое. К старому нет возврата, он же это должен понимать. Другое дело, если бы мы сейчас с кем-нибудь из соседей завоевали,— тогда он мог бы обактивиться, а сейчас не верю я в его активность».

Размышления Давыдова прервал Размётнов. Он долго молча смотрел в осунувшееся лицо друга, потом деловито спросил:

— Ты нынче завтракал?

— Завтракал? А что? — рассеянно отозвался Давыдов.

— Худой ты, прямо страсть! Одни скулы торчат, да и те печенные на солнце.

— Ты опять на старое?

— Да нет, я всерьез, верь слову!

— Не завтракал, не успел, да и не хочется, вон какая с утра жарища.

— А я что-то оголодал. Пойдем со мной, Сема, перекусим малость,— предложил Размётнов.

Давыдов нехотя согласился.

Они вместе вышли во двор, и навстречу им жарко дохнул сухой и горячий, насквозь пропахший полынью ветер из степи.

Возле калитки Давыдов остановился, спросил:

— Кого ты подозреваешь, Андрей?

Размётнов поднял плечи и медленно развел руками.

— Чума его знает! Я сам сколько раз прикидывал в уме и ни черта ничего не придумал. Всех казаков в хуторе перебрал — так ничего путного и не придумал. Задал нам какой-то дьявол загадку, а теперь и ломай голову. Тут приезжал один товарищ из районного ГПУ, покрутился возле Макаровой хатенки, расспросил Макара, деда Щукаря, хозяйку Макарову, меня, поглядел на гильзу, какую мы нашли, да ведь она не меченая... С тем и уехал. «Не иначе, говорит, враг какой-то объявился у вас». А Макар у него спрашивает: «А по тебе, умник, иной раз и друзья стреляли? Езжай-ка ты отсюда к едрене-фене! Без тебя разберемся». Промолчал этот чудак, только носом посопел, с тем сел верхи и уехал.

— Как думаешь, Островнов не может отколоть такую штуку? — осторожно спросил Давыдов.

Но Размётнов, взявшийся было за щеколду калитки, от удивления даже руку опустил и засмеялся.

— Да ты что, спятил? Яков Лукич-то? Да с какого же это пятерика он на такое дело пойдет? Да он тележного скрипа боится, а ты придумал этакую чепуху! Голову мне отруби, но он этого не сделает! Кто хочешь, но только не он.

— А сын его?

— Тоже мимо целишь. Этак, ежели наугад пальцем тыкать, можно и в меня попасть. Нет, тут загадка мудренее. Тут замок с секретом.

Размётнов достал кисет, свернул цигарку, но вспомнил, что на днях сам подписывал обязательное постановление, воспрещающее хозяйкам топить днем печи, а мужчинам курить на улицах, и с досадой скомкал цигарку. На недоумевающий взгляд Давыдова рассеянно ответил, словно говорил не о себе, а о ком-то постороннем.

— Издают разные дурацкие постановления! Нельзя на базу курить, пойдем, дома у меня покурим.

* * *

На завтрак старушка-мать Размётнова подала все ту же, приевшуюся Давыдову жидкую пшенную кашу, по-бедняцки лишь слегка заправленную толченым салом. Но когда она принесла с огорода миску свежих огурцов, Давыдов оживился. Он с удовольствием съел два огурца, так вкусно пахнущих землей и солнцем, запил кружкой взвара и встал из-за стола.

— Спасибо, мамаша, накормила досыта. А за огурчики — особое спасибо. Первый раз в этом году пробую свежие огурцы. Хороши, ничего не скажешь, факт!

Ласковая, разговорчивая старушка горестно подперла щеку ладонью:

— А откуда же у тебя, болезный, огурцы могут быть? Жены-то нету?

— Пока еще не обзавелся, все некогда,— улыбнулся Давыдов.

— Женой обзаводиться некогда, так и огурцов ранних ждать неоткуда. Не сам же ты должен с рассадой да с посадкой возиться? Вот и Андрюшка мой остался без бабы. Не будь у него матери, ноги протянул бы с голоду. А то мать нет-нет да и покормит. Погляжу я на вас, и горюшко меня берет. И Андрюшка мой на холостом полозу едет, и Макарка, да и ты. И как вам всем троим не стыдно? Такие здоровые бугаи ходите по хутору, а нет вам удачи в бабах. Неужли так-таки ни один из вас и не женится? Ить это страма, да и только!

Размётнов, посмеиваясь, трунил над матерью:

— За нас никто не идет, маманя.

— А то что ж, и ни одна не пойдет, ежели ишо лет пять походите холостыми. Да на шута вы нужны будете, такие перестарки, любой бабе,— про девок я уже не гутарю, ушло ваше время девок сватать!

— Девки не пойдут за нас — сама говоришь: устарели,— а вдовы нам не нужны. Чужих детей кормить? Хай им бес! — отшучивался Размётнов.

Такой разговор ему, видимо, был не в новинку, но Давыдов отмалчивался и чувствовал себя почему-то неловко.

Распрощавшись и поблагодарив радушных хозяев, он пошел в кузницу. Ему хотелось еще до прихода комиссии по приему самому — и как следует — осмотреть отремонтированные к сенокосу лобогрейки и конные грабли, тем более что в работу по ремонту была вложена частица и его труда.

## ГЛАВА X

Стоявшая на самом краю хутора старая кузница встретила его знакомыми запахами и звуками: по-прежнему звенел и играл в руках Ипполита Сидоровича молоток, покорный каждому движению хозяина, еще издали слышались астматические вздохи доживающего свой век меха, и по-прежнему тянуло из настежь распахнутой двери горьким запахом горелого угля и чудесным, незабываемым душком неостывшей окалины.

Вокруг одинокой кузницы было безлюдно и пусто. Пахло от близлежащей торной дороги горячей пылью и лебедой. На осевшей плетневой крыше кузницы, плотно придавленной дерном, росли дикая конопля и бурьян. В нем копошилось множество воробьев. Они всегда жили под застрехами старой кузницы, даже зимой, и неумолчное чириканье их как бы вторило живому, звонкому говору молотка и звону наковальни.

Шалый встретил Давыдова как давнего приятеля. Ему было скучно проводить целые дни с одним подростком-горновым, и он явно обрадовался приходу Давыдова, весело забасил, протягивая жесткую и твердую, как железо, руку:

— Давно, давно не был, председатель! Забываешь о пролетарьяте, и проведать не зайдешь, загордился ты, парень, как видно. Что, скажешь, зашел проведать? Как бы не так! Косилки пришел глядеть, я тебя, парень, знаю! Ну, пойдем, поглядишь. Выстроил я их, как на парад, как казаков на смотру. Пойдем, пойдем, только без придирков осматривай. Сам у меня подручным работал, стало быть, теперь спрашивать не с кого.

Каждую косилку Давыдов осматривал тщательно и подолгу. Но как ни придирчив был его осмотр, изъянов в ремонте он не нашел, за исключением двух-трех мелких недоделок. Зато не на шутку разобидел старого кузнеца. Тот переходил вслед за Давыдовым от косилки к косилке, вытирал кожаным фартуком пот с багрового лица, недовольно говорил:

— Уж дюже ты дотошный хозяин! Уж дюже ни к чему эти твои придирки... Ну, чего ты тут нюхаешь? Чего ищешь, спрашиваю? Да что я тебе, цыган, что ли? Постучал молотком, наварначил, как пóпадя, а потом залез в кибитку, тронул лошадей, и по тех пор его и видали? Нет, парень, тут все на совесть делалось, как самому себе, и нечего тут принюхиваться и всякие придирки строить.

— Я и не придираюсь к тебе, Сидорович, с чего ты берешь?

— А ежели без придирков осматривать, так ты бы давно уж все осмотрел, а то ты все полозишь вокруг каждой косилки, все нюхаешь, все щупаешь...

— Мое дело такое: глазам верь, а руками щупай,— отшучивался Давыдов.

Но когда он особенно строго стал оглядывать одну ветхую, ошарпанную лобогрейку, до обобществления принадлежавшую Антипу Грачу,— Шалый развеселился, и недовольство с него как рукой сняло. Он, захватив бороду в кулак, неизвестно кому подмигивая и лукаво ухмыляясь, иронически говорил:

— Ты ляжь, ляжь наземь, Давыдов! Чего ты вокруг нее кочетом ходишь? Ты ляжь на пузо да косогон на зуб попробуй. Чего ты его щупаешь, как девку? Ты его на зуб пробуй, на зуб! Эх ты, горе-коваль! Да неужели же ты не угадываешь свою работу? Ведь эту косилку ты самолично всю ремонтировал! Это я тебе говорю окончательно, парень, твоя вся, как есть, работа, а ты не видишь и не угадываешь. Этак ты, парень, свечеру женишься, а наутро и свою молодую жену не угадаешь...

Довольный собственной шуткой, Шалый оглушительно расхохотался, закашлял, замахал руками, но Давыдов, нимало не обижаясь, ответил:

— Понапрасну ты смеешься, Сидорович. Эту маломощно-середняцкую косилку я сразу распознал и работу свою — тоже. А проверяю по всей строгости, чтобы на покосе не пришлось моргать. Случись какая-нибудь авария с этой утильной косилкой — и ты же первый, еще вперед косарей, скажешь: «Вот, доверил Давыдову молоток и клещи, а он и напортачил». Так или нет?

— Конечно, так. А как же иначе? Кто делал, тот и отвечает.

— А ты говоришь: «Не угадал». Угадал ее, миленькую, но с себя спрос больше.

— Значит, самому себе не доверяешь?

— Иной раз бывает...

— А оно, парень, так-то и лучше,— согласился вдруг посерьезневший кузнец.— Наше дело возле железа такое, сказать, ответственное, и мастерству в нем не сразу выучишься, ох, не сразу... Недаром у нас, у ковалей, есть такая поговорка: «Верь коваДлу, руке и молоту, да не верь своему уму-разуму смолоду». Что на большом заводе, что в малой

кузнице, все едино — ответственное дело, и я тебе это окончательно говорю. А то поставили ко мне на квартиру в прошлом году районного заведующего Заготживсырьем; уполномоченным его нам в хутор назначили. Приняли мы его с хозяйкой хорошо, как дитя родного, но он ни с моей старухой, ни со мной ничуть не разговаривал, считал для себя за низкое. За стол садится — молчит, из-за стола встает — опять же молчит, придет из сельсовета — молчит, и уйдет — молчит. Что ни спрошу у него про политику или про хозяйство, а он в ответ буркнет: «Не твое дело, старик». На том наш разговор и кончится. Прожил наш квартирант трое суток тихочко-смирночко, молчком, а на четвертый день заговорил... Утром с превеликой гордостью заявляет мне: «Ты скажи своей старухе, чтобы она мне картошку не на сковороде приносила, а на тарелке, и чтобы не рушник на стол клала, а какую-нибудь салфетку. Я, говорит, человек культурный и к тому же ответственный районный работник — и не люблю низменного обхождения».

Рассерчал я на него окончательно и говорю: «Гнида ты вонючая, а не культурный человек! Ежели ты культурный, так жри на том, на чем тебе подают, и утирайся тем, что дают, потому что салфетков у нас в дому отродясь не было, а тарелки все старуха переколотила. Денег я с тебя копейки не возьму; старуха моя не знает, как тебе угодить, куда тебя усадить да как бы тебе помягче на ночь постелить, а ты нос выше крыши дерешь: «Я — ответственный!» Ну, какой ты, спрашиваю, ответственный? Заячьи да суслиные шкурки у себя на службе трясешь, вот и вся твоя ответственность. Никакой ты не ответственный, вот я — ответственный работник! После председателя и секретаря ячейки я первое лицо в хуторе, потому что без меня ни пахота, ни покос не обойдутся. У меня, говорю, железное дело в руках, а у тебя шкурное, кто же из нас важнее по делу? Ты себя считаешь ответственным работником, а я себя. Как же мы с тобой, двое ответственных, в одной горнице уживемся? Не уживемся! Бери-ка, говорю, свою портфелю, милый человек, и дуй на все четыре стороны, а мне ты, такой гордый, окончательно без надобности».

Давыдов сощурился так, что глаза его еле просвечивали из узеньких щелок. Подрагивающим от смеха голосом он тихо спросил:

— Выгнал?

— Окончательно! Сей же час! Удалился и спасибо за хлеб-соль не сказал, ответственный сукин сын.

— Ну и молодец же ты, Сидорович!

— Молодецкого тут мало, но и терпеть такого постояльца мне было обидно.

После перекура Давыдов снова принялся за осмотр инвентаря и закончил только после полудня. Прощаясь с Шалым, он прочувствованно поблагодарил его за добросовестную работу, поинтересовался:

— Сколько трудодней тебе начислили за ремонт?

Старый кузнец нахмурился и отвернулся.

— Яков Лукич начислит, держи карман шире...

— А при чем тут Яков Лукич?

— При том, что он учетчику свои законы устанавливает. Как он скажет, так учетчик и напишет.

— Но все же, сколько?

— Почти ничего, парень, с гулькин нос.

— То есть как же это так? Почему?

Обычно добродушный кузнец на этот раз посмотрел так зло, словно перед ним стоял не Давыдов, а сам Яков Лукич.

— Да потому, что они мою работу никак не хотят учитывать. День провел я в кузнице — пишут один трудодень. А там работал я или цигарки крутил — им все равно! И, может, за день на ремонте пять трудодней выработал — все равно пишут один. Хучь пополам переломись возле ковадла, а больше одного трудодня не заработаешь. Так что от твоей оплаты, парень, не дюже разжиреешь, живой будешь, а жениться не захочешь!

— Это не моя оплата! — резко сказал Давыдов.— Это не колхозная оплата! Почему же ты раньше мне ничего не сказал про такое безобразие?

Шалый помялся и ответил с явной неохотой:

— Как тебе сказать, парень, вроде как постеснялся. Вроде как посовестился, что ли. Думал я окончательно пожаловаться тебе, а потом думаю, что ты скажешь: «Вот, мол, какой ненаеда, все ему мало...» Потому и смолчал. А вот теперь и говорю, и скажу ишо больше: по ихней милости они такой труд учитывают, какой на виду, ну, скажем, ремонт плугов, пропашников, словом, инвентаря видимого, а что касаемо мелочей, скажем, ковка лошадей, или подковы делаешь, или цепки, пробои на амбары, петли разные и протчую мелочь — они ее никак не учитывают и слушать про нее не хотят. А это, я считаю, неправильно, потому что на такие подобные мелоча много времени расходуешь.

— Опять ты — «они», а кто это «они»? Учетчик один ведет учет и за это отвечает перед правлением,— с досадой проговорил Давыдов.

— Учетчик ведет, а Лукич поправляет. Ты мне толкуешь, как оно должно быть, а я тебе — как оно есть на самом деле.

— Очень плохо, если так оно есть на самом деле.

— Ну, уж это не моя вина, парень, а твоя.

— Это я и без тебя знаю, что моя вина. Исправлять надо, да поскорее. Завтра же соберу заседание правления, и мы у Якова Лукича расспросим... Мы с ним поговорим по-настоящему! — решительно сказал Давыдов.

Но Шалый только усмехнулся в бороду:

— Не с ним надо говорить...

— А с кем же, по-твоему? С учетчиком?

— С тобой.

— Со мной? Гм... Ну, давай.

Испытующе, как бы взвешивая силу Давыдова, Шалый осмотрел его с ног до головы, медленно заговорил:

— Держись, парень! Обидных слов я тебе наговорю... И не хотелось бы, а надо. Боюсь, что другие тебе таких слов не насмелятся сказать.

— Давай, давай,— подбодрил его Давыдов, втайне уже предчувствуя, что разговор будет для него не из приятных, и больше всего опасаясь, что Шалый заведет речь о его отношениях с Лушкой.

Но, вопреки его ожиданиям, тот заговорил поначалу о другом:

— С виду, поглядеть на тебя, ты — настоящий председатель, а копни тебя поглубже — ты в колхозе не председатель, а так, пришей-пристебай, как говорится.

— Вот это мило! — с несколько наигранной веселостью воскликнул Давыдов.

— Не дюже мило,— сурово продолжал Шалый.— Ничего тут милого нету, это я тебе окончательно говорю. Ты вот и под косилки лазишь, проверку делаешь, как и полагается хорошему хозяину, и в поле живешь, и сам пашешь, а что у тебя в правлении делается — ни хрена ничего не видишь и не знаешь. Ты бы поменьше в поле болтался, а побольше тут, в хуторе, и дело шло бы получше. А то ты и пахарь, и кузнец, словом, как в песенке: «И в поле жнец, и на дуде игрец»,— а всем хозяйством вместо тебя заворачивает Островнов. Ты свою власть из рук выронил, а Островнов поднял...

Валяй дальше,— сухо сказал Давыдов.— Валяй, не стесняйся!

Можно и дальше,— охотно согласился Шалый. Он основательно уселся на полке косилки, жестом пригласил Давыдова сесть рядом и, заметив в дверях кузницы подслушивавшего их разговор мальчишку-горнового, топнул ногой, зычно крикнул: — Брысь отсюдова, чертенок! Дела себе не найдешь? Все бы ты прислушивался, поросячий сын! Вот сыму ремень да выдеру тебя как сидорову козу, тогда будешь знать! Тогда у тебя сразу уши заложит. Скажи на милость, до чего прокудной парнишка!

Чумазый подросток, блеснув смеющимися глазенками, как мышь юркнул в темную глубину кузницы, и тотчас же оттуда послышалось хриплое дыхание меха и багрово засветилось рвущееся из горна пламя. А Шалый, уже добродушно улыбаясь, говорил:

— Сиротку обучаю кузнечному делу. Ни один черт из взрослых парней не идет в кузню. Окончательно избаловали их Советская власть! Каждый то в доктора метит, то в агрономы, то в разные инженеры, а перемрем мы, старики,— кто же народу сапоги тачать, штаны шить, лошадей ковать будет? И у меня так же: никого не заманю в кузню, всяк от кузнечного дыму лытает, как черт от ладана. Пришлось вот этого Ванятку брать. Способный он, чертенок, а сколько тиранства я от него терплю — нет числа! То он в чужой сад летом заберется, а я за него в ответе, то бросит кузню и увеется пескарей на удочку ловить, то ишо что-нибудь придумает, окончательно ни к чему не пригодное. Родная тетка его, у какой он проживает, с ним не справляется, вот и приходится мне его тиранства переносить и терпеть. Только и могу его выругать, а бить сиротку у меня рука не подымается. Вот оно какое дело, парень. Трудное это дело — чужих детей учить и особенно сиротков. Но за свою жизнь я их штук десять настоящими ковалями окончательно сделал, и теперь и в Тубянском, и в Войсковом, и в других хуторах моей выучки ковали по кузницам орудуют, а один даже в Ростове на заводе работает. Это — не шутка, парень, ты сам на заводе работал и знаешь: абы кого туда не примут на работу. Тем и горжусь я, что хучь и помру, а наследников моему умению не один десяток на белом свете останется. Так я рассуждаю?

— Давай рассуждать о деле. Какие еще непорядки в моей работе ты находишь?

— Непорядок у тебя один: ты только на собраниях

председатель, а в будничной работе — Островнов. Отсюда и все лихо. Я так понимаю, что с весны тебе надо было пожить с пахарями, преподать им пример, как надо в общем хозяйстве работать, да и самому научиться пахать, это дело для председателя колхоза невредное. Но вот зачем ты теперь там огинаешься, в поле, я окончательно в толк не возьму. Неужли на заводе, на каком ты работал, директор по целым дням за токарным станком стоит? Что-то мне не верится!

Шалый долго рассказывал о неполадках в колхозе, о том, что оставалось невидимым для Давыдова, что тщательно скрывалось от него стараниями Якова Лукича, счетовода и кладовщика. Но все в рассказе сводилось к тому, что головою во всех темных делах с самого начала образования колхоза был и до нынешних дней остается тихий с виду Яков Лукич.

— Почему же ты ни разу на собрании не выступил? Неужели тебе не дорого колхозное дело? А еще говоришь: «Я — пролетарьят!» Какой же ты, к черту, пролетариат, если только в кулак шепчешь, а на собрании тебя с фонарем надо разыскивать?

Шалый нагнул голову, долго молчал, вертел сорванную травинку, и так странно выглядела она — хрупкая и невесомая — в его огромных, черных, почти негнущихся пальцах, что Давыдов невольно улыбнулся. А Шалый внимательно разглядывал что-то у себя под ногами, как будто от этого разглядывания зависел его ответ. После долгого молчания он спросил:

— Весною ты говорил на собрании, чтобы Атаманчукова исключили из колхоза?

— Ставил я такой вопрос. Ну и что?

— Исключили его?

— Нет. А жаль, надо было исключить.

— Жаль-то жаль, да не в жалости дело...

— В чем же?

— А ты вспомни, кто выступал против этого. Не помнишь? Так я тебе напомню: и Островнов, и Афонька-кладовщик, и Люшня, и ишо человек двадцать. Они-то и завалили на собрании твой добрый совет, повернули народ против тебя. Стало быть, Островнов не один орудует. Тебе это понятно?

— Дальше.

— Можно и дальше. Так чего же ты спрашиваешь, почему я не выступаю на собраниях? Я выступлю раз,

другой, а третий раз и выступить не успею: стукнут меня в этой же кузне и тем же куском железа, какой я недавно на огне грел и в руках пестовал, вот и кончились мои выступления. Нет, парень, устарел я выступать, выступайте уж вы одни, а я ишо хочу понюхать, как в кузне окалина пахнет.

— Ты, отец, что-то преувеличиваешь опасность, факт! — неуверенно сказал Давыдов, еще целиком находясь под впечатлением только что рассказанного кузнецом.

Но тот внимательно посмотрел на Давыдова черными навыкате глазами, насмешливо сощурился:

— По-стариковски, сослепу, может, я и преувеличиваю, как ты говоришь, ну, а ты, парень, вовсе эти ихние опасности не зришь. Молодая суета тебя окончательно затемнила. Это я тебе окончательно говорю.

Давыдов промолчал. Теперь пришла его очередь призадуматься, и он задумался надолго, и уже не Шалый, а он вертел в руках, но только не травинку, а поднятый им ржавый шурупчик... Многим свойственна эта необъяснимая потребность в минуты раздумья вертеть или теребить в руках какой-нибудь первый попавшийся на глаза предмет...

Солнце давно уже перевалило за полдень. Тени переместились, и горячие солнечные лучи, падающие в отвес, жарко палили покрытую дерном, осевшую и поросшую бурьяном крышу кузницы, стоявшие неподалеку косилки, запыленную возле дороги траву. Над Гремячим Логом стояла глухая полуденная тишина. Ставни в домах закрыты; на улицах безлюдно; даже телята, с утра праздно скитавшиеся по проулкам, скочевали к речке, попрятались в густой тени белотала и верб. А Давыдов и Шалый все еще сидели на солнцепеке.

— Пойдем в кузню, в холодок, а то я к такому солнцу непривычный,— вытирая пот с лица и лысины, не выдержав жары, сказал Шалый.— Старый кузнец — все одно как старая барыня: не любители они солнышка, всю свою живуху в холодке — всяк по-своему — прохлаждаются...

Они перешли в тень, присели на теплую землю с северной стороны кузницы. Вплотную придвинувшись к Давыдову, Шалый загудел, как шмель, запутавшийся в повители:

— Хопрова с бабой убили? Убили. А за что убили? По пьяной лавочке? Нет, то-то, парень, и оно... Нечисто тут дело. Человека ни с того ни с сего убивать не станут. А я так глупым стариковским умом рассуждаю: ежели б он не

угодил Советской власти — его бы заарестовали и убили по приговору, не втихаря, а уж ежели его убили втихаря, воровски, ночью, да ишо с женой, то не угодил он врагам Советской власти, иначе и быть не может! А зачем бабу его убили, спрошу я тебя? Да затем, чтобы она этих убивцев властям не выдала, она их в лицо знала! А мертвые-то не говорят, с ними спокойнее, парень... Иначе и быть не может, это я тебе окончательно говорю.

— Положим, обо всем этом и без тебя мы знаем, догадываемся, но вот кто убил — этого фактически никто не знает.— Давыдов помолчал и сделал лукавый ход, добавил: — И никто никогда не узнает!

Шалый будто и не слыхал его последних слов. Он сжал в горсти густо побеленную сединой бороду, широко улыбнулся:

— До чего же приятно тут, в холодке. У меня в старое время был такой случай, парень. Как-то перед покосом хлебов ошиновал я богатому тавричанину четыре хода. Приехал он хода забирать, как зараз помню, на буднях, в постный день, то ли в среду, то ли в пятницу. Расплатился со мной, похвалил мою работу и поставил магарыч, работников своих, какие лошадей под хода пригнали, позвал. Выпили. Потом я поставил. И эту выпили. Богатенький он был хохол, но, на редкость из богатеньких, хорошей души человек. И вот вздумалось ему, парень, загулять. А у меня работа, самая горячая пора, до черта всяких заказов. Я ему и говорю: «Ты, Трофим Денисович, пей с работниками, продолжай, а меня уволь, парень, не могу, работы много». Он на это согласился. Они продолжают водочкой заниматься, а я пошел в кузню. В голове у меня гул, но на ногах держусь твердо, и в руках твердость есть, а между прочим, парень, я все-таки окончательно пьяный. На этот грех, подъезжает к кузне тройка с бубенцами. Выхожу. В легком плетеном тарантасе сидит под зонтом известный на всю нашу округу помещик Селиванов, гордец ужаснейший и сука, каких свет не видывал... Кучер его — белый как стенка, руки трясутся — отстегивает постромки у левой пристяжной. Недоглядел он, и пристяжная расковалась в дороге. Вот ему этот барин и вкалывает: «И такой, дескать, ты и сякой, и уволю тебя с должности, и в тюрьму посажу, через тебя я к поезду могу опоздать»,— и все такое прочее. Но у нас, на Дону, парень, при царизмах казаки перед помещиками спину не особенно гнули. Так что и этот Селиванов: мне бы раз плюнуть да растереть, хотя он и самый

богатый помещик. Вот вышел я, веселый от водки, стою возле двери, слушаю, как он кучера на все корки отчитывает. А меня зло, парень, разбирает окончательно до горячего. Увидел меня Селиванов и шумит мне: «Эй, кузнец, иди-ка сюда!» Хотел я сказать ему: «Тебе надо — ты и иди»,— но надумал другое: иду к нему улыбаюсь, как родному, подошел к тарантасу, протягиваю руку, говорю: «Здорово, браток! Как живешь-можешь?» У него от удивления золотые очки с носа упали; ежели бы не были они привязанные на черном шнурке, непременно разбились бы! Надевает он обратно на нос эти очки, а я руку держу протянутую, а она у меня черная, как сажа, грязнее грязи. А он будто и не видит мою руку, сморщился весь, как горького хватил, и через зубы этак процеживает: «Ты что, пьяный? Куда ты свою лапу протягиваешь, немытое рыло?» — «Как же, говорю, не знаю, очень даже знаю, кто ты таков! Мы же с тобой, говорю, как ро́дные братья: ты от солнца под зонтом хоронишься, а я — в кузне, под земляной крышей; в будний день я выпимши, ты это верно приметил, но и ты, должно быть, не только по воскресеньям, как рабочий люд, пьешь: носик-то у тебя с красниной... Выходит, что обое мы с тобой дворянского роду, не как иные прочие. Ну, а ежели ты гребуешь мне руку подать, потому что у тебя она белая, а у меня черная, так это уж зависящее от твоей совести. Помрем, и обое с тобой одинаково побелеем».

Молчит Селиванов, только губами жует да с личика меняется. «Тебе что, спрашиваю, лошадку подковать? Это мы живо спроворим. А кучера-то зря ругаешь. Он у тебя, видать, бессловесный. Ты лучше меня выругай. Пойдем с тобой, браток, в кузницу, двери поплотнее притворим, а ты попробуй меня там выругать. Люблю я рисковых людей».

Молчит Селиванов, а с личика все больше меняется то в одну сторону, то в другую. То беленький станет, то красненький,— но молчит. Подковал я его пристяжную, подхожу к тарантасу. Он будто не видит меня, протягивает кучеру серебряный рублевик и говорит: «Отдай этому хаму». Взял я от кучера рублевик и кинул в тарантас Селиванову под ноги, а сам улыбаюсь, будто от удивления, и говорю: «Что ты, браток, да разве с родни берут деньги за такую малость? Жертвую тебе на бедность, заезжай в кабак, выпей за мое здоровье!» Тут мой помещик стал и не беленький и не красненький, а какой-то синенький; визжит тонким голоском на меня: «За твое здоровье... Чтоб ты

сдох, подлец, хам, сицилист, так твою и разэтак! Станичному атаману буду жаловаться! В тюрьме сгною!»

Давыдов так оглушительно расхохотался, что с крыши кузницы в испуге сорвалась стайка воробьев. Посмеиваясь в бороду, Шалый стал сворачивать папироску.

— Значит, не поладили с «братом»? — еле выговаривая слова, спросил Давыдов.

— Не поладили.

— А деньги? Выкинул он из тарантаса?

— Я бы ему выкинул... Укатил со своей рублевкой. Тут не в деньгах, парень, дело...

— А в чем же?

Давыдов смеялся так молодо и заразительно, что и Шалый развеселился. Он, похохатывая, махнул рукой:

— Опростоволосился я малость...

— Говори же, Сидорович. Чего тянешь? — Давыдов в упор смотрел на Шалого мокрыми от слез глазами.

А тот только рукою отмахивался и, широко раскрыв забородатевшую пасть, смеялся гулким, грохочущим смехом.

— Да ну же, рассказывай, не томи! — молил Давыдов, забывший в этот миг о недавнем серьезном разговоре и целиком отдавшийся минутному самозабвенному приступу веселья.

— Да что там говорить... да чего уж там! Он, видишь, парень, и хамом меня обзывал, и негодяем, и по-всякому, а под конец даже вовсе захлебнулся, ажник ножками по днищу тарантаса застукал и шумит: «Сицилист, такой-сякой! В тюрьму засажу!» А в те поры я не знал, что такое сицилист... Революция — это знал, что она означает, а «сицилист» — не знал, и подумал я тогда, что это самое что ни на есть подсердечное, тяжелое ругательство... В ответ я ему говорю: «Сам ты сицилист, сукин сын, и езжай отсюда, пока я тебя не изватлал!»

Новый приступ хохота уложил Давыдова навзничь. Шалый дал ему высмеяться вдоволь, закончил:

— А через сутки меня за приводом — к станичному атаману. Расспросил он меня, как было дело, посмеялся вроде тебя и отпустил без высидки при станичном правлении. Он сам из бедненькой семьи офицерик был, ну, ему и лестно было, что простой коваль богатого помещика мог так оконфузить. Только перед тем как выпроводить меня, сказал: «Ты, казачок, аккуратней будь, язык не дюже вываливай, а то зараз время такое, что нынче ты куешь,

и завтра тебя подкуют на все четыре, чтобы до самой Сибири по этапу шел, не осклизался. Понятно тебе?» — «Понятно, говорю, ваше высокоблагородие».— «Ну, ступай, и чтобы духу твоего тут не было. А Селиванову я сообщу, что семь шкур с тебя спустил». Так вот, парень, какие дела были-то.

Давыдов поднялся, чтобы распрощаться с разговорчивым кузнецом, но тот потянул его за рукав рубахи, снова усадил рядом с собой и неожиданно спросил:

— Так, говоришь, сроду не узнают, кто Хопровых побил? Тут, парень, твоя ошибка. Узнают. Окончательно узнают, дай только время.

Как видно, что-то знал старик, и Давыдов решил идти в открытую.

— А ты на кого грешишь, Сидорович? — прямо спросил он, испытующе глядя в черные с красноватыми белками, воловьи глаза Шалого.

Тот бегло взглянул на него, уклончиво ответил:

— Тут, парень, очень даже просто можно ошибиться...

— Ну, а все-таки?

Уже не колеблясь, Шалый положил руку на колено Давыдова, сказал:

— Вот что, подручный, уговор дороже денег: на меня не ссылаться в случае чего. Согласный?

— Согласен.

— Так вот, и тут дело не обошлось без Лукича. Это я тебе окончательно говорю.

— Ну, бра-а-ат...— разочарованно протянул Давыдов.

— Я Селиванову был «братом», а тебе в отцы гожусь,— с досадой проговорил Шалый.— Я же тебе не говорю, что сам Яков Лукич порубил Хопровых, а говорю, что без него тут не обошлось, ты это, парень, понимать должон, ежели тебя бог разумом не обидел.

— А доказательства?

— А ты что, в следователи определился? — шутливо спросил Шалый.

— Раз уж зашел разговор, ты, Сидорович, не отшучивайся, а выкладывай все как есть. В прятки нам играть нечего.

— Плохой из тебя, парень, следователь,— убежденно заявил Шалый.— Ты только не спеши, родимец тебя возьми, и я тебе все выложу, выложу окончательно, а ты успевай только глаза протирать... Ты вот ни к селу ни

к городу с Лушкой связался, а на черта она тебе нужна? Лучше этой хлюстанки ты бабы не мог найти?

— Ну, это не твое дело,— отрезал Давыдов.

— Нет, парень, это не только мое дело, но и всего колхоза.

— Это еще почему?

— А потому, что ты связался с этой сукой семитаборной и хужее работать стал. Куриная слепота на тебя напала... А ты говоришь — не мое дело. Это, парень, не твоя беда, а наша общая, колхозная. Ты, небось, думаешь, что ваши шашни с Лушкой шиты-крыты, а про вас в хуторе всё до нитки знают. Вот и мы, старики, соберемся иной раз и маракуем промеж себя: как бы тебя от этой Лушки, лихоманка ее затряси, отлучить? А почему? Да потому, что такие бабы, как Лушка, мужчинов не на работу толкают, а от работы таскают, вот мы и беспокоимся за тебя... Парень ты хороший, смирный, непьющий, одним словом — не дюже лихой, а она, кусок стервы, тем и воспользовалась: села на тебя верхи и погоняет. Да ты сам знаешь, парень, чем она тебя погоняет; погоняет да ишо и гордится перед народом: «Вот, мол, я каких объезживаю!» Эх, Давыдов, Давыдов, не ту бабу ты нашел... Как-то мы, старики, сидели в воскресенье у Бесхлебнова на завалинке, а ты мимо шел, дед Бесхлебнов поглядел тебе вслед и говорит: «Надо бы нашего Давыдова на весах взважить — сколько он до Лушки тянул и сколько зараз. Считай, добрую половину веса она с него спустила, просеяла, как сквозь сито. Непорядок это, старики: ей — отсевная мука, а нам отруби...» Веришь, парень, мне от этих слов стыдно за тебя стало! Как хочешь, а стыдно. Будь ты у меня в кузне подручным, никто из хуторных и «ох» бы не сказал, но ведь ты же всему нашему хозяйству голова... А голова — великое дело, парень. Недаром в старину, когда казаков на сходах за провинку секли, была такая поговорка: «Пущай... будет красная, была бы голова ясная». А вот голова-то у нас в колхозе и не дюже ясная, трошки мазаная. Потерлась эта голова возле Лушки и деготьком вымазалась. Да найди ты какую-нибудь стоящую девку или, скажем, вдову, никто тебе и слова не сказал бы, а ты... Эх, Давыдов, Давыдов, залепило тебе глаза! И я так думаю, что не от Лушкиной любви ты с тела спал, а от совести, совесть тебя убивает, это я окончательно говорю.

Давыдов смотрел на пролегшую мимо кузницы дорогу, на воробьев, купавшихся в пыли. Лицо его крыла заметная

бледность, на шелушащихся скулах выступили синеватые пятна.

— Ну, кончай базар! — невнятно сказал он и повернулся к Шалому.— Без тебя тошно, старик!

— А оно, когда с похмелья стошнит, человеку легше становится,— как бы вскользь сказал Шалый.

Несколько оправившись от смущения и неловкости, Давыдов сухо заговорил:

— Ты мне давай доказательство, что Островнов — участник. Без доказательств и фактов это похоже на клевету. Обидел тебя Островнов, а ты на него и капаешь, факт! Ну, какие у тебя доказательства? Говори!

— Болтаешь ты, парень, глупости,— сурово ответил Шалый.— Какая у меня может быть обида на Лукича? За трудодни? Так я своего все одно не упущу, я свое получу. А доказательствов у меня нету, под кроватью у Хопровых я не лежал, когда его бабу, а мою куму, убивали-казнили.

Старик прислушался к шороху за стеной и неожиданно легко поднял с земли свое могучее, коренастое тело. С минуту он стоял, чутко прислушиваясь, потом ленивым движением снял через голову грязный кожаный фартук, сказал:

— Вот что, парень, пойдем-ка ко мне, холодненького молочка по кружке выпьем да там, в прохладе, и закончим наш разговор. Секретно скажу тебе...— Он наклонился к Давыдову. Гулкий шепот его, вероятно, был слышен в ближайших дворах хутора: — Этот чертенок мой не иначе подслушивает... Он всякой дыре гвоздь и поговорить с человеком сроду не даст, так свои уши и наставляет. Господи боже мой, сколько я разного тиранства от него принимаю — нет числа! И неслух-то он, и лентяй, и баловён без конца-краю, а к кузнецкому делу способный, то есть, окончательно! За что ни ухватится, чертенок,— все сделает! К тому же сиротка. Через это и терплю все его тиранства, хочу из него человека сделать, чтобы моему умению наследник был.

Шалый прошел в кузницу, бросил фартук на черный от копоти верстак, коротко сказал Давыдову: «Пошли!» — и зашагал к дому.

Давыдову хотелось бы поскорее остаться одному, чтобы поразмыслить обо всем, что услышал от Шалого, но разговор, касающийся убийства Хопровых, не был закончен, и он пошел следом за развалисто, медвежковато шагавшим кузнецом.

Молчать всю дорогу Давыдов почел неудобным, потому и спросил:

— Какая у тебя семья, Сидорович?

— Я да моя глухая старуха, вот и вся семья.

— Детей не было?

— Смолоду было двое, но не прижились на этом свете, померли. А третьего баба мертвенького родила и с той поры перестала носить. Молодая была, здоровая, а вот что-то заклинило ей, заколодило, и — шабаш! Что мы только не делали, как ни старались, а все без толку. Баба в те годы пешком в Киев ходила, в лавру, дитенка вымаливать, все одно не помоглось. Перед уходом я ей сказал: «Ты мне хучь хохленочка оттуда в подоле принеси»,— Шалый сдержанно хмыкнул, закончил: — Обозвала она меня черным дураком, помолилась на образа и пошла. С весны до осени проходила, только все без толку. С той поры и стал я разных сиротков воспитывать и приучать к кузнечному делу. Тёмно люблю детишечек, а вот не привел господь на своих порадоваться; так-то бывает, парень.

В опрятной горенке было полутемно, тихо и прохладно. Сквозь щели закрытых от солнца ставней сочился желтый свет. От недавно вымытых полов пахло чебрецом и слегка — полынью. Шалый сам принес из погреба запотевшую корчагу молока, поставил на стол две кружки, вздохнул:

— Хозяйка моя на огород откомандировалась. И жара ее, старую холеру, не берет... Так ты спрашиваешь, какие у меня доказательства? Скажу окончательно: утром, когда Хопровых побили, пошел я поглядеть на убитых, покойная баба Хопрова мне как-никак кумой доводилась. Но в хату народ не пущают, милиционер возле двери стоит, ждет, когда следователь приедет. И я постоял возле крыльца... Только гляжу — след на крыльце знакомый мне... На крыльце-то натоптано, а один след — в сторонке, к перилам.

— Чем он тебе показался знакомым? — спросил живо заинтересованный Давыдов.

— Подковкой на каблуке. След свежий, ночной, прямо печатный, и подковка знакомая... Таких подковок вроде бы никто в хуторе на сапогах не носит, кроме одного человека. И обознаться я никак не мог, потому что это — мои подковки.

Давыдов нетерпеливо отставил кружку с недопитым молоком.

— Не пойму. Говори яснее.

— Тут и понимать нечего, парень. Ишо при единоличной жизни, года два назад, на провесне заходит ко мне в кузню Яков Лукич, просит ошиновать ему колеса на бричку. «Вези, говорю, пока работы у меня мало». Привез он, посидел у меня в кузне с полчаса, покалякали о том, о сем. Поднялся он уходить, стоит возле горна, железным хламом интересуется, ковыряет его, а у меня там всякая рухлядь валяется, старье всякое. Нашел он две старые подковки с английских ботинков, во весь каблук — ишо с гражданской войны они завалялись — и говорит: «Сидорович, я у тебя эти подковки возьму, врежу их на сапоги, а то, видно, старый становлюсь, на пятку больше надавливаю, не успеваю каблуки на сапогах и на чириках подбивать». Говорю ему: «Бери, для доброго человека дерьма не жалко, Лукич. Они стальные, до смерти не износишь, ежели не потеряешь». Сунул он их в карман и пошел. Он про это дело, конечно, забыл, а мне — в памяти. Вот эту самую подковку на следу и приметил я... Как-то мне подозрительно это стало. Зачем, думаю, этот след тут оказался?

— Ну, а дальше? — поторопил Давыдов медлительного рассказчика.

— Дальше думаю: «Дай-ка я повидаюсь с Лукичом, погляжу, как он следит своими обутками». Нарочно разыскал его, вроде по делу — про железо на лемехи спросить, глянул на ноги, а он — в валенках! Морозцы тогда стояли. Будто между прочим, спросил у него: «Видал, Лукич, убиенных?» — «Нет, говорит, терпеть не могу мертвых глядеть, а особливо убиенных. У меня, говорит, на это сердце слабое. Но все-таки придется зараз сходить туда». И опять я спрашиваю промеж прочего разговора: «Давно ли, мол, видался с покойником?» — «Да давненько, говорит, ишо на той неделе. Вот, говорит, какие злодеи промеж нас живут! Решили жизни какого богатыря, а за что — неизвестно. Смирный он человек был, никого сроду не обидел. Чтоб у них руки, у проклятых, отсохли!»

Так меня и обожгло всего! Он эти июдины слова говорит, а у меня аж коленки трясутся, думаю про себя: «Ты сам, собака, был там ночью, и ежли не ты сам рубил Хопрова, то привел с собою кого-нибудь легкого на руку». Но никакого виду я ему не подал, и с тем мы разошлись. Но мысля проверить его следы застряла у меня в голове, как ухналь в подкове. Потерял он с сапог мой подарок или нет? Недели две я ждал, когда он из валенок вылезет и в сапоги

обуется. Как-то оттеплело, снежок притаял, и я бросил работу в кузне, нарочно пошел в правление. Лукич — там, и в сапогах! Спустя время вышел он во двор. Я — за ним. Он свернул со стежки, пошел к амбару. Глянул я на его следы — печатаются мои подковки, не оторвались за два года!

— Что же ты, проклятый старик, тогда ничего не сказал? Почему не заявил куда надо? — У Давыдова вся кровь бросилась в лицо. От досады и злости он стукнул по столу кулаком.

Но Шалый смерил его не очень-то ласковым взглядом, спросил:

— Ты что, парень, дурее себя ищешь? Я об этом вперед тебя подумал... Ну, заявил бы я следователю через три недели после убийства, а где тот след на крыльце? И я в дураках оказался бы.

— Ты в этот же день должен был сказать! Трус ты паршивый, ты попросту побоялся Островнова, факт!

— Был и такой грех,— охотно согласился Шалый.— С Островновым охлаждаться, парень, опасное дело... Лет десять назад, когда он был помоложе, не заладили они на покосе с Антипом Грачом, подрались, и Антип ему здорово навтыкал тогда. А через месяц у Антипа ночью летняя стряпка загорелась. Стряпка была построена близко к дому, а ветер в ту ночь был подходящий и дул как раз от стряпки прямо к дому, ну, занялся и дом. Сгорело все подворье ясным огнем, и сараи не удержались. Был у Антипа раньше круглый курень, а нынче живет в саманной хатенке. Так-то с Лукичом связываться. Он и давние обиды не прощает, не говоря уж про нынешние. Но не в этом дело, парень. Сразу-то сказать милиционеру о своем подозрении я не решился: тут-таки и оробел, а тут не был в окончательной надеже, что один Яков Лукич такие подковки носит. Надо было проверить — ить в гражданскую войну у нас полхутора английские ботинки носили. А через час на крыльце у Хопровых небось так натоптали, что и верблюжьего следа от конского нельзя было отличить. Вот она какая штука, парень, не дюже все это просто, ежели обмозговать все как следует. А нынче я тебя призвал не косилки глядеть, а поговорить по душам.

— Поздно ты надумал, тугодум...— с укором сказал Давыдов.

— Пока ишо не поздно, а ежели ты вскорости глаза свои не разуешь, то будет и поздно, это я тебе окончательно говорю.

Давыдов помедлил, ответил, старательно подбирая слова:

— Насчет меня, Сидорович, насчет моей работы ты много правильного сказал, и за это спасибо тебе. Работу свою мне надо перестроить, факт! Но черт его в новинку все сразу узнает!

— Это верно,— согласился Шалый.

— Ну и насчет расценок по твоей работе все пересмотрим и дело поправим. Около Островнова теперь придется походить, раз не взяли его с поличным сразу. Тут нужно время. Но только о нашем разговоре ты никому ни слова. Слышишь?

— Могила! — заверил Шалый.

— Может, что-нибудь еще скажешь? А то я сейчас пойду в школу, дело там есть к заведующему.

— Скажу. Бросай ты Лукерью окончательно! Она тебя, парень, подведет под монастырь...

— О, черт тебя возьми! — с досадой воскликнул Давыдов.— Поговорили о ней, и хватит. Я думал, ты что-нибудь дельное скажешь на прощанье, а ты опять за старое...

— А ты не горячись, ты слушай старого человека пристально. Я тебе мимо не скажу, и ты знай, что она последнее время не с одним тобой узлы вяжет... И ежели ты не хочешь пулю в лоб получить, бросай ее, суку, окончательно!

— От кого же это я могу пулю получить?

Твердые губы Давыдова лишь слегка тронула недоверчивая улыбка, но Шалый приметил ее и рассвирепел:

— Ты чего оскаляешься? Ты благодари бога, что пока ишо живой ходишь, слепой ты человек! Ума не приложу: почему он стрелял в Макара, а не в тебя?

— Кто это «он»?

— Тимошка Рваный, вот кто! На черта ему Макар сдался — не пойму. Я тебя для этого и позвал, чтобы упредить, а ты оскаляешься не хуже моего Ванятки.

Давыдов непроизвольным движением положил руку в карман, навалился грудью на стол.

— Тимошка? Откуда он?

— Из бегов. Окромя откуда же?

— Ты его видел? — тихо, почти шепотом спросил Давыдов.

— Нынче у нас среда?

— Среда.

— Ну, так в субботу ночью видал я его вместе с твоей Лушкой. Корова у нас в этот вечер не пришла из табуна,

ходил ее, холеру, искать. Возле полночи уже гоню ее, проклятую, домой и набрел на них возле хутора.

— А ты не обознался?

— Думаешь, Тимошку с тобой попутал? — насмешливо усмехнулся Шалый.— Нет, парень, у меня глаза вострые, даром что старик. Они, должно быть, подумали, что скотиняка одна шастается в потемках, а я следом шел, ну, они меня не сразу и приметили. Лушка говорит: «Тю, проклятая, это корова, Тимоша, а я подумала — человек». И вот я тут. Она первая вскочила, и сразу же встал Тимошка. Слышу — затвором клацнул, а сам молчит. Ну, я так спокойночко говорю им: «Сидите, сидите, добрые люди! Я вам не помеха, корову вон гоню, отбилась от табуна коровка...»

— Ну, теперь все понятно,— скорее самому себе, чем Шалому, сказал Давыдов и тяжело поднялся со скамьи.

Левой рукой он обнял кузнеца, а правой крепко сжал его локоть.

— Спасибо тебе за все, дорогой Ипполит Сидорович!

Вечером он сообщил Нагульнову и Размётнову о своем разговоре с Шалым, предложил немедленно сообщить в районный отдел ГПУ о появлении в хуторе Тимофея Рваного. Но Нагульнов, воспринявший эту новость с великолепнейшим спокойствием, возразил:

— Никуда сообщать не надо. Они только все дело нам испортят. Тимошка не дурак, и в хуторе он жить не будет, а как только появится хоть один из этих районных гепеушников, он сразу узнает и смоется отсюда.

— Как же это он может узнать, ежели из ГПУ прибудут тайно, ночью? — спросил Размётнов.

Нагульнов с добродушной насмешливостью взглянул на него:

— Дитячий разум у тебя, Андрей. Волк всегда первым увидит охотника, а потом уже охотник — его.

— А что ты предлагаешь? — задал вопрос Давыдов.

— Дайте мне пять-шесть дней сроку, а я вам Тимошку представлю живого или мертвого. По ночам вы с Андреем все-таки остерегайтесь: поздно из квартир не выходите и огня не зажигайте, вот и все, что от вас требуется. А там — дело мое.

Подробно рассказать о своих планах Нагульнов категорически отказался.

— Ну что ж, действуй,— согласился Давыдов.— Только смотри — упустишь Тимофея, а тогда он утянет так, что мы его и вовек не сыщем.

— Будь спокоен, не уйдет,— тихо улыбаясь, заверил Нагульнов и опустил темные веки, притушил блеснувшие на мгновение в глазах огоньки.

## ГЛАВА XI

Лушка по-прежнему жила у тетки. Крытая чаканом хатка — с желтыми кособокими ставнями и вросшими в землю, покосившимися от старости стенами — лепилась на самом краю обрыва у речки. Небольшой двор зарос травой и бурьяном. У Алексеевны, Лушкиной тетки, кроме коровы и маленького огородишка, ничего в хозяйстве не было. В невысоком плетне, огораживавшем двор со стороны речки, был сделан перелаз. Пожилая хозяйка, пользуясь им, ходила на речку за водой, поливала на огороде капусту, огурцы и помидоры.

Возле перелаза горделиво высились пунцовые и фиолетовые шапки татарника, густо росла дикая конопля; по плетню, между кольев, извивались плети тыкв, узоря его колокольчиками желтых цветов; по утрам плетень сверкал синими брызгами распускающихся вьюнков и издали походил на причудливо сотканный ковер. Место было глухое. Его-то и облюбовал Нагульнов, на другой день рано утром проходя мимо двора Алексеевны по берегу речки.

Два дня он бездействовал, ожидая, когда кончится насморк, а на третий, как только стемнело, надел ватную стеганку, крадучись вышел на улицу, спустился к речке. Всю ночь — черную, безлунную — пролежал он в конопле под плетнем, но никто не появился у перелаза. На рассвете Макар ушел домой, поспал несколько часов, днем уехал в первую бригаду, начавшую покос травы, а с приходом темноты он уже снова лежал у перелаза.

В полночь тихонько скрипнула дверь хаты. Сквозь плетень Макару было видно, как на крыльце показалась темная женская фигура, закутанная в темный платок. Макар узнал Лушку.

Она медленно сошла с крылечка, постояла немного, потом вышла на улицу, свернула в переулок. Макар, неслышно ступая, шел за ней в десяти шагах сзади. Ничего не подозревая, не оглядываясь, Лушка направилась к выгону. Они уже вышли за хутор, но тут проклятый насморк подвел Макара: он громко чихнул — и тотчас ничком упал на землю. Лушка стремительно повернулась. С минуту она

стояла неподвижно, как вкопанная, прижимая к груди руки, прерывисто и часто дыша. Лифчик вдруг стал ей тесен, и кровь гулко застучала в висках. Преодолев растерянность, Лушка опасливо, мелкими шажками двинулась к Макару. Он лежал, упираясь локтями в землю, исподлобья наблюдая за ней. Не доходя шагов трех, Лушка остановилась, придушенно спросила:

— Ктой-то?

Макар, уже стоя на четвереньках, молча натягивал на голову полу стеганки. Он вовсе не хотел, чтобы Лушка его узнала.

— Ой, господи! — испуганным шепотом проронила она и побежала к хутору.

...Перед рассветом Макар разбудил Размётнова, угрюмо сказал, садясь на лавку:

— Один раз чихнул, а все дело сорвал к чертовой матери!.. Помогай, Андрей, иначе упустим Тимошку!

Через полчаса они вдвоем подъехали ко двору Алексеевны на пароконной подводе. Размётнов привязал к плетню лошадей, первым поднялся на крыльцо, постучал в кособокую дверь.

— Кто? — спросила хозяйка сонным голосом.— Кого надо?

— Вставай, Алексеевна, а то корову проспишь,— бодро заговорил Размётнов.

— Кто такой?

— Это я, председатель Совета, Размётнов.

— Чего тебя нелегкая ни свет ни заря носит? — недовольно отозвалась женщина.

— Дельце есть, открывай!

Щелкнула дверная задвижка, и Размётнов с Нагульновым вошли в кухню. Хозяйка наскоро оделась, молча зажгла лампу.

— Квартирантка твоя дома? — Размётнов указал глазами на дверь горницы.

— Дома. А на что она тебе спозаранок понадобилась?

Размётнов, не отвечая, постучал в дверь, громко сказал:

— Эй, Лукерья! Вставай, одевайся. Пять минут тебе на сборы, по-военному!

Лушка вышла босая, в накинутом на голые плечи платке. Матово-смуглые икры ее оттеняли непорочную белизну кружев на нижней юбке.

— Одевайся,— приказал Размётнов. И укоризненно

покачал головой: — Хоть бы верхнюю юбчонку накинула... Эка бесстыжая ты бабенка!

Лушка внимательно и вопрошающе оглядела вошедших, ослепительно улыбнулась:

— Так тут же все свои люди, кого же мне стесняться?

Даже спросонья она была по-девичьи свежа и хороша, эта проклятая Лушка! Размётнов, улыбаясь и не скрывая своего восхищения, молча любовался ею. Макар смотрел на прислонившуюся к печке хозяйку тяжелым, немигающим взглядом.

— Зачем пожаловали, дорогие гости? — Кокетливым движением плеча Лушка поправила сползающий платок.— Вы не Давыдова, случаем, ищете?

Она улыбалась уже торжествующе и нагло, победно щурила лихие лучистые глаза, ожидая встретиться взглядом со своим бывшим мужем. Но Макар, повернувшись к ней лицом, посмотрел на нее тяжело и спокойно и, так же спокойно и тяжело роняя слова, ответил:

— Нет, мы не Давыдова у тебя ищем, а Тимофея Рваного.

— Его не тут надо искать,— развязно сказала Лушка, но как-то зябко передернула плечами.— Его в холодных краях надо искать, там, куда вы его, сокола моего, загнали...

— Брось притворяться,— все так же спокойно, не теряя самообладания, сказал Макар.

Очевидно, его холодное спокойствие, столь неожиданное для Лушки, и взбесило ее, и она перешла в наступление:

— Это не ты, муженек, нынешней ночью на пятки мне наступал, когда я ходила за хутор?

— Угадала все-таки? — Губы Макара чуть тронула еле заметная усмешка.

— Нет, не угадала в потемках, и напужал ты меня, миленочек, до смерти! Потом уже, когда в хутор прибегла, догадалась, что это ты.

— Чего же ты, такая храбрая стерва, испужалась? — грубо спросил Размётнов, стараясь умышленной грубостью прогнать очарование, навеянное на него вызывающей красотой Лушки.

Она подбоченилась, обожгла его неистовым взглядом:

— Ты меня не стерви! Ты пойди своей Маринке скажи этакое слово, может, Демид Молчун морду тебе набьет как

следует. А меня обидеть просто, у меня заступников при мне нету...

— У тебя их больше, чем надо,— усмехнулся Размётнов.

Но Лушка, уже не обращая на него ни малейшего внимания, спросила Макара:

— А чего ты за мною шел? Чего тебе от меня надо? Я — вольная птица, куда хочу, туда и лечу. А ежели бы со мной дружечка мой Давыдов шел, так он не поблагодарил бы тебя за то, что ты наши следы топчешь!

У Макара заиграли под побледневшими скулами крутые желваки, но он огромным усилием воли сдержался, промолчал. В кухне отчетливо послышалось, как хрустнули его сжатые в кулак пальцы. Размётнов поспешил прекратить разговор, уже начавший принимать опасный оборот:

— Поговорили, и хватит! Собирайтесь, ты, Лукерья, и ты, Алексеевна. Вы арестованы, и зараз повезем вас в район.

— За что это? — осведомилась Лушка.

— Там узнаешь.

— А ежели я не поеду?

— Свяжем, как овцу, и повезем. И побрыкаться не дадим. Ну, живо.

Несколько секунд Лушка стояла в нерешительности, а затем попятилась и неуловимым движением ловко скользнула в дверь, захлопнула ее за собой, попыталась изнутри накинуть крючок на дверной пробой. Но Макар вовремя и без особого усилия рванул на себя дверь, вошел в горницу, предупредил, повысив голос:

— С тобой не шутки шутят! Одевайся и не вздумай убегать. Я за тобою не погонюсь, тебя, дуру, пуля догонит. Ясно?

Тяжело дыша, Лушка села на смятую постель.

— Выйди, я одеваться буду.

— Одевайся. Совеститься нечего: я тебя всякую повидал.

— Ну и черт с тобою,— беззлобно и устало сказала Лушка.

Она сбросила с себя ночную рубашку и юбку, нагая и прекрасная собранной, юной красотой, непринужденно прошла к сундуку, открыла его. Макар не смотрел на нее: равнодушный и как бы застывший взгляд его был устремлен в окно...

Через пять минут Лушка, одетая в скромное ситцевое платье, сказала:

— Я готова, Макарушка.— И подняла на Макара присмиревшие и чуточку опечаленные глаза.

В кухне одетая Алексеевна спросила:

— Дом-то на кого оставлю? Корову кто будет доить? За огородом глядеть?

— Об этом уже мы побеспокоимся, тетушка, и к твоему возвращению все будет в порядке, как и зараз,— успокоил ее Размётнов.

Они вышли во двор, уселись в бричку. Размётнов разобрал вожжи, свирепо взмахнул кнутом и с места погнал лошадей крупной рысью. Возле сельсовета он остановился, соскочил с брички.

— Ну, бабочки, слазьте! — Он первым вошел в сени, зажег спичку, открыл дверь в темный чулан.— Проходите и устраивайтесь.

Лушка спросила:

— А когда же в район?

— Ободняет, и поедем.

— Зачем же тогда сюда везли на лошадях, а не привели пешком? — не отставала Лушка.

— Для фасона,— улыбнулся в темноту Размётнов.

В самом деле, не мог же он объяснить этим любознательным женщинам: привезли их потому, что не хотели, чтобы кто-либо видел их по пути в сельсовет.

— Сюда-то можно было и пеши дойти,— сказала Алексеевна и, перекрестившись, шагнула в чулан.

Подавленно вздохнув, Лушка молча последовала за нею. Размётнов замкнул чулан, только тогда громко окликнул:

— Лукерья, слушай сюда: кормить и поить вас будем, в углу, слева от двери, цибарка для всяких надобностев. Прошу сидеть смирно, не шуметь и не стучать в дверь, а то, истинный бог, свяжем вас и рты позатыкаем. Тут дело нешуточное. Ну, пока! Утром я к вам наведаюсь.

Второй замок он навесил на входную дверь сельсовета, сказал ожидавшему у крыльца Нагульнову — и в голосе его прозвучала просительность:

— Трое суток я продержу их тут, а больше не могу, Макар. Как хочешь, но ежели Давыдов узнает — будет нам с тобой лихо!

— Не узнает. Отводи лошадей, а потом временным

арестанткам занеси что-нибудь пожрать. Ну, спасибо, я пошел домой.

...Нет, не прежний — бравый и стройный — Макар Нагульнов шел в предрассветной синеющей темноте по пустынным переулкам Гремячего Лога... Он слегка горбился, брел, понуро опустив голову, изредка прижимая большую широкую ладонь к левой стороне груди...

* * *

Чтобы не попадаться Давыдову на глаза, Нагульнов дни проводил на покосе и только к ночи возвращался в хутор. На вторые сутки вечером, перед тем как идти в засаду, он пришел к Размётнову, спросил:

— Не искал меня Давыдов?

— Нет. Да я его и сам почти не видал. Два дня мост ладим через речку, а у меня только и делов, что на мосту бываю да бегаю наших арестанток проведываю.

— Как они?

— Вчера днем Лушка бесилась прямо страсть! Подойду к двери — так она не знает, как меня и назвать. А ругается, проклятая баба, хуже пьяного казака! И где она этой премудрости только и научилась! Насилу угомонил ее. Нынче притихла. Плачет.

— Пущай поплачет. Скоро ей по мертвому голосить придется.

— Не окажет себя Тимошка,— усомнился Размётнов.

— Придет! — Нагульнов стукнул кулаком по колену, опухшие от бессонных ночей глаза его блеснули.— Куда ему от Лушки деваться? Придет!

...И Тимофей пришел. Позабыв про осторожность, на третьи сутки, около двух часов ночи, он появился у перелаза. Ревность его погнала в хутор? Голод ли? А может быть, и то и другое вместе, но он не выдержал и пришел...

Бесшумно, как зверь, крался он по тропинке от речки. Макар не слышал ни шороха глины под его ногами, ни хруста сухой ветки бурьяна, и когда в пяти шагах внезапно возник силуэт слегка наклонившегося вперед человека, Макар вздрогнул от неожиданности.

Держа в правой руке винтовку, не шевелясь, Тимофей стоял и чутко прислушивался. Макар лежал в конопле, затаив дыхание. На секунду сдвоило у него сердце, а потом снова забилось ровно, но во рту стало горько и сухо.

У речки скрипуче закричал коростель. В дальнем краю

хутора промычала корова. Где-то в заречной луговине рассыпал гремучую дробь перепел.

Макару было ловко стрелять: Тимофей стоял, удобно подставив левый бок, слегка повернувшись корпусом вправо, все еще настороженно к чему-то прислушиваясь.

На согнутую в локте левую руку Макар тихонько положил ствол нагана. Рукав стеганки был влажен от росы. Секунду Макар помедлил. Нет, он, Нагульнов, не какая-нибудь кулацкая сволочь, чтобы стрелять во врага исподтишка! И Макар, не меняя положения, громко сказал:

— Повернись лицом к смерти, гад!

Будто подброшенный трамплином, Тимофей прыгнул вперед и в сторону, вскинул винтовку, но Макар опередил его. Во влажной тишине выстрел из нагана прозвучал приглушенно и не так-то уж громко.

Роняя винтовку, подгибая в коленях ноги, Тимофей медленно, как казалось Макару, падал навзничь. Макар услышал, как он глухо и тяжело стукнулся затылком о твердую, утоптанную землю тропинки.

Еще минут пятнадцать Макар лежал, не шевелясь. «Гуртом к одной бабе не ходят, а может, возле речки его друзья притаились, ждут?» — думал он, до предела напрягая слух. Но кругом стояла немотная тишина. Умолкший после выстрела коростель снова заскрипел, несмело и с перерывами. Стремительно приближался рассвет. Росла, ширилась багряная полоска на восточной окраине темно-синего неба. Уже приметно вырисовывались купы заречных верб. Макар встал, подошел к Тимофею. Тот лежал на спине, далеко откинув правую руку. Застывшие, но еще не потерявшие живого блеска глаза его были широко раскрыты. Они, эти мертвые глаза, словно в восхищенном и безмолвном изумлении любовались и гаснущими неясными звездами, и тающим в зените опаловым облачком, лишь слегка посеребренным снизу, и всем безбрежным небесным простором, закрытым прозрачной, легчайшей дымкой тумана.

Макар носком сапога коснулся убитого, тихо спросил:

— Ну, что, отгулялся, вражина?

Он и мертвый был красив, этот бабий баловень и любимец. На не тронутый загаром, чистый и белый лоб упала темная прядь волос, полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки, вздернутая верхняя губа, опушенная мягкими черными усами, немного приподнялась, обнажив влажные зубы, и легкая тень удивленной улыбки запрята-

лась в цветущих губах, всего лишь несколько дней назад так жадно целовавших Лушку. «Однако отъелся ты, парень!» — подумал Макар.

Ни недавней злобы, ни удовлетворения, ничего, кроме гнетущей усталости, не испытывал теперь Макар, спокойно разглядывая убитого. Все, что волновало его долгие дни и годы, все, что гнало когда-то к сердцу горячую кровь и заставляло его сжиматься от обиды, ревности и боли,— все это со смертью Тимофея ушло сейчас куда-то далеко и безвозвратно.

Он поднял с земли винтовку, брезгливо морщась, обыскал карманы. В левом кармане пиджака нащупал рубчатое тельце гранаты-«лимонки», в правом, кроме четырех обойм винтовочных патронов, ничего не было. Никаких документов у Тимофея не оказалось.

Перед тем как уйти, Макар в последний раз взглянул на убитого и только тут разглядел, что вышитая рубашка на нем была свежевыстирана, а защитные штаны на коленях аккуратно — очевидно, женской рукой — заштопаны. «Видать, кормила она и холила тебя неплохо»,— с горечью подумал Макар, тяжело, очень тяжело занося ногу на порожек перелаза.

Несмотря на раннюю пору, Размётнов встретил Макара возле калитки, взял из рук его винтовку, патроны и гранату, удовлетворенно сказал:

— Значит, устукал? Отважный был парень, без опаски жил... Я слыхал твой выстрел, встал и оделся. Хотел уже туда бежать, но вижу — ты идешь. Отлегло от души.

— Дай мне сельсоветские ключи,— попросил Макар. Размётнов, догадываясь, все же спросил:

— Хочешь Лушку выпустить?

— Да.

— Зря!

— Молчи! — глухо сказал Макар.— Я ее все-таки люблю, подлюку...

Он взял ключи и, молча повернувшись, шаркая подошвами сапог, пошел к сельсовету.

* * *

В темных сенях Макар не сразу нашел ключом замочную скважину. Уже распахнув дверь чулана, негромко позвал:

— Лукерья! Выйди на минутку.

В углу зашуршала солома. Не промолвив слова, Лушка стала на пороге, вялым движением поправила на голове белый платок.

— Выйди на крыльцо.— Макар посторонился, пропуская ее вперед.

На крыльце Лушка заложила руки за спину, молча прислонилась к перилам. Опоры искала, что ли? Молча ждала. Она, как и Андрей Размётнов, не спала всю ночь и слышала на рассвете негромкий выстрел. Она, наверное, уже догадывалась о том, что́ сообщит ей сейчас Макар. Лицо ее было бледно, а сухие глаза в темных провалах таили новое, незнакомое Макару выражение.

— Я убил Тимофея,— сказал Макар, прямо глядя ей в черные, измученные глаза, невольно переводя взгляд на страдальческие морщинки, успевшие удивительно скоро, за двое суток, надежно поселиться в уголках капризного, чувственного рта.— Зараз же иди домой, собери в узелок свои огарки и ступай из хутора, навсегда, иначе тебе плохо будет... Тебя будут судить.

Лушка стояла молча. Макар неловко засуетился, разыскивая что-то в карманах. Потом протянул на ладони скомканный, давно не стиранный и серый от грязи кружевной платочек.

— Это — твой. Остался, когда ты ушла от меня... Возьми, теперь он мне не нужен...

Холодными пальцами Лушка сунула платочек в рукав измятого платья. Макар перевел дыхание, сказал:

— Ежели хочешь проститься с ним — он лежит у вашего двора, за перелазом.

Молча они расстались, чтобы никогда уже больше не встретиться. Макар, сходя со ступенек крыльца, небрежно кивнул ей на прощанье, а Лушка, провожая его глазами, остановила на нем долгий взгляд, низко склонила в поклоне свою гордую голову. Быть может, иным представился ей за эту последнюю в их жизни встречу всегда суровый и немножко нелюдимый человек? Кто знает...

## ГЛАВА XII

Погожие, жаркие дни ускорили созревание трав по суходолам, и в степной покос наконец-то включилась последняя, третья бригада гремяченского колхоза. Косари этой бригады выехали в степь в пятницу утром, а в субботу

вечером на квартиру к Давыдову пришел Нагульнов. Он долго сидел молча, сутулый, небритый и словно бы постаревший за последние дни. На крутом подбородке его, заросшем темной щетиной, Давыдов впервые увидел изморозный проблеск седины.

Минут десять и хозяин и гость в молчании курили, и за это время никто из них не проронил ни слова, никому не хотелось первому начинать разговор. Но уже перед тем как уходить, Нагульнов спросил:

— Как будто у Любишкина все на покос выехали, ты не проверял?

— Кто выделен, тот и уехал. А что?

— Ты бы завтра с утра к нему в бригаду смотался, поглядел, как там у него дела настроились.

— Не успели выехать, и уже проверять? Не рано ли?

— Завтра воскресенье.

— Ну и что из этого?

Сухие губы Нагульнова чуть тронула еле приметная усмешка:

— У него в бригаде почти сплошь все богомольцы, приверженные к церковному опиуму, а особенно — которые в юбках. Выехать-то они выехали, а косить в праздник ни черта не будут! Гляди, ишо в Тубянской в церковь коекто из бабенок потянется, а дело не ждет, да и погода может подвести, и получим вместо сена собачью подстилку.

— Хорошо, я съезжу с утра пораньше, проверю. Никаких отлучек, разумеется, не допущу! Спасибо, что предупредил. А почему же это только у Любишкина, как ты говоришь, почти сплошь богомольные?

— Ну, этого добра и в других бригадах хватает, но в третьей их гуще.

— Понятно. А ты что думаешь завтра делать? Может быть, в первую проедешь?

Нагульнов нехотя ответил:

— Никуда я не поеду, побуду несколько дней дома. Что-то я весь какой-то квёлый стал... Как будто меня в три била били, в пяти мялах мяли...

Так уж повелось в гремяченской ячейке, что во время полевых работ каждый коммунист обязан был находиться в поле. Обычно выезжали туда еще задолго до получения указаний из райкома. И на этот раз присутствие Нагульнова в одной из бригад было просто необходимо, но Давыдов отлично понимал душевное состояние товарища, а потому и сказал:

— Что ж, оставайся, Макар, дома. Оно так-то, пожалуй, и лучше будет: надо же кому-нибудь из руководителей на всякий случай в хуторе быть.

Последнюю фразу Давыдов добавил только потому, что не хотел в открытую выказывать Макару свое сочувствие. И Нагульнов — будто он только за этим и приходил,— не попрощавшись, вышел.

Но через минуту снова вошел в горницу, виновато усмехнулся:

— Память у меня стала, как дырявый карман, даже попрощаться с тобою забыл. Вернешься от Любишкина — зайди, расскажи, как там богомольцы живут и куда глазами глядят: под ноги лошадям или на крест тубянской церкви. Ты им скажи, этим крещеным чудакам, что Христос только древним людям манную крупу с неба сыпал в голодный год, да и то раз за всю жизню, а казакам он сено на зиму заготавливать не будет, пущай на него не надеются! Одним словом, развей там на полный ход антирелигиозную пропаганду! Да ты и сам знаешь, что́ именно при таких случаях надо говорить. Жалко, что я с тобой не поеду, а то бы я мог тебе большую пользу в антирелигии оказать. Оно, конечно, может, и не такой уж сильный я оратор, но зато, брат, кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий! Как разок припечатаю, так мой супротивник и возражать мне не сможет, потому что возражать хорошо стоя, а лежа — какие же у него могут быть возражения? Лежачие возражения во внимание не принимаются!

Нагульнов, вдруг оживившись и блестя повеселевшими глазами, предложил:

— Давай, Сема, и я с тобой поеду! А ну, не ровен час, у тебя с бабами неувязка выйдет на почве религиозного недоумения, тогда и я очень даже могу тебе пригодиться. Ты же наших баб знаешь: ежели они тебя весною в первый раз до смерти не доклевали, то в другой раз непременно доклюют. А со мной ты не пропадешь! Я знаю, как с этим чертовым семенем обходиться!

Всеми силами сдерживая смех, Давыдов испуганно замахал руками:

— Нет, нет! Что ты! Никакой мне твоей помощи не надо, сам обойдусь! А может быть, и страхи-то твои совершенно напрасны? Народ стал значительно сознательнее по сравнению с первыми месяцами коллективизации, факт! А ты, Макар, по-прежнему меряешь его на старый аршин, это — тоже факт!

— Как хочешь, могу ехать, могу и не ехать. Подумал, что, может быть, пригожусь тебе, а ежели ты такой гордый герой — управляйся сам.

— Ты не обижайся, Макар,— примиряюще заговорил Давыдов.— Но из тебя плохой борец против религиозных предрассудков, а вот напортить в этом деле ты можешь основательно, ох, основательно!

— По этому вопросу я с тобой спорить не желаю,— сухо сказал Нагульнов.— Смотри только не прошибись! Ты привык этим вчерашним собственникам в зубы заглядывать, а я агитирую их так, как мне моя партизанская совесть подсказывает. Ну, я пошел. Бывай здоров!

Словно расставаясь надолго, они обменялись по-мужски крепким рукопожатием. Рука у Нагульнова была твердая и холодная, как камень, а в глазах, уже утративших недавний живой блеск, снова появилась невысказанная, затаенная боль. «Нелегко ему сейчас...» — подумал Давыдов, с усилием подавляя незваное чувство жалости.

Держась за дверную скобу, Нагульнов повернулся к Давыдову, но глядел не на него, а куда-то в сторону, и в голосе его, когда он заговорил, появилась легкая хрипотца:

— Моя предбывшая супруга, а твоя краля подалась куда-то из хутора. Слыхал?

Пораженный Давыдов, еще ничего не знавший о том, что Лушка уже несколько дней тому назад навсегда распростилась с Гремячим Логом и родными и памятными ей местами, убежденно сказал:

— Не может этого быть! Куда она денется без документов? Наверняка у тетки живет, выжидает, когда улягутся разговоры о Тимофее. Да и на самом деле, неудобно ей сейчас показываться на люди. Нескладно у нее с Тимофеем вышло...

Макар усмехнулся, хотел было сказать: «А со мною и с тобою складнее у нее вышло?» — но сказал другое:

— Паспорт у нее на руках, и подалась она из хутора в среду, это я тебе точно говорю. Сам видел, как она на зорьке выбралась на шлях,— небольшой узелок, наверное с одежонкой, у нее в руке,— на бугре постояла малость, поглядела на хутор и сгинула с глаз, нечистая сила! У тетки ее я допытывался: куда, мол, Лукерья следы направила? Но и тетка ничегошеньки не знает. Сказала ей Лукерья, что пойдет, дескать, куда глаза глядят. Вот и все. Вот так-то у нее, у проклятой шалавы, жизненка и выплясалась...

Давыдов молчал. Старое чувство стыда и неловкости перед Макаром овладело им с новой силой. Пытаясь казаться равнодушным и тоже глядя куда-то мимо Макара, он тихо сказал:

— Ну и скатертью дорога! Жалеть о ней некому.

— Она ни в чьей жалости сроду не нуждалась, а вот насчет разных любовей Тимошка нас с тобой, брат, обштопал. Уж это, как ты приговариваешь, факт! Ну, чего ты носом крутишь? Не нравится? Мне, брат, тоже не дюже нравится такое дело, а куда же от правды денешься! Лукерью прохлопать и мне и тебе было очень даже просто. А почему? Да потому, что она такая баба, что распрочерт, а не баба! Ты думаешь, она об мировой революции душой изболелась? Как-то ни черт! Ни колхозы, ни совхозы, ни сама Советская власть ей и на понюх не нужны! Ей бы только на игрища ходить, поменьше работать, побольше хвостом крутить — вот и вся ее беспартийная программа! Такую бабу возле себя держать — это надо руки смолой вымазать, ухватиться за ее юбку, глаза зажмурить и позабыть обо всем на белом свете. Но я так думаю, что ежели трошки придремать, так она, как гадюка из своей шкуры, так и она из собственной юбки выползет и телешом, в чем мать родила, увеется на игрища. Вот она какая, эта богом и боженятами клятая Лукерья! Потому она к Тимошке и прилипла. Тимошка, бывало, с гармонью по неделе в хуторе слоняется, мимо моей квартиры похаживает, а Лушку тем часом лихорадка бьет, и не чает она, бедная, когда я из дому удалюсь. А чем же нам с тобою было держать такую вертихвостку? За-ради нее и революцию, и текущую советскую работу бросить? Трехрядку на складчину купить? Ясная гибель! Гибель и буржуазное перерожденчество! Нет, уж лучше пущай она на первом суку хоть трижды повесится, а за-ради нее, такой паскуды, нам с тобой, Сема, от нашей партийной идейности не отказываться!

Нагульнов снова оживился, выпрямился. Скулы его зарумянели. Он прислонился к дверному косяку, свернул папироску, закурил и после двух или трех глубоких затяжек заговорил уже спокойнее и тише, иногда переходя на шепот:

— Признаться тебе, Семен, я боялся, что заголосит моя предбывшая, когда увидит мертвого Тимошку... Нет! Тетка ее рассказывала, что подошла она к нему без слез, без крику, опустилась перед ним на колени и тихочко сказала: «Летел ты ко мне, мой ясный сокол, а прилетел к смерти...

Прости меня за то, что не смогла тебя остеречь от погибели». А потом сняла с головы платок, вынула гребень, причесала Тимошку, чуб его поправила, поцеловала в губы и пошла. Ушла от него и ни разу не оглянулась!

После недолгой паузы Макар опять заговорил громче, и в хрипловатом голосе его Давыдов неожиданно уловил плохо скрытые нотки горделивости:

— Вот и все ее было прощание. Это как, здорово? А и крепка же на сердце оказалась проклятая баба! Ну, я пошел. Бывай здоров!

Так вот, оказывается, зачем приходил Макар... Проводив его до калитки, Давыдов вернулся к себе в полутемную горницу, не раздеваясь, бросился на постель. Ему ни о чем не хотелось ни вспоминать, ни думать, хотелось только поскорее забыться сном. Но сон не приходил.

В который раз уже он мысленно проклинал себя за опрометчивость, за неосмотрительную связь с Лушкой! Ведь даже маленькой капли любви не было в их отношениях... А вот появился Тимофей, и Лушка, не задумываясь, порвала с ним, с Давыдовым, снова прильнула к Тимофею и пошла за любимым человеком очертя голову. Что ж, видно, и на самом деле первая любовь не забывается... Покинула хутор, не сказав ни слова, не простившись. А, собственно, на что он ей нужен? Она простилась с тем, кто был ей дорог и мертвый, а при чем здесь он, Давыдов? Все идет своим порядком. А вся эта не очень чистоплотная история с Лушкой — как плохое, незаконченное письмо, оборванное на полуслове. Только и всего!

Давыдов ворочался на узкой койке, кряхтел, два раза вставал курить, но уснул уже на рассвете. А проснулся, когда окончательно рассвело. Короткий сон не освежил его, нет! Он поднялся, испытывая такое ощущение, как в часы тяжелого похмелья: его томила жажда, нестерпимо болела голова, во рту было сухо, временами подступала легкая тошнота. С трудом опустившись на колени, он долго искал сапоги, шарил руками под койкой, под столом, недоуменно оглядывая углы пустой горницы, и, только выпрямившись и увидев сапоги у себя на ногах, досадливо крякнул, прошептал:

— Дошел матрос до ручки. Поздравляю! Дальше и ехать некуда, факт! Проклятая Лушка! Четверо суток нет ее в хуторе, а она все со мною. .

Возле колодца он разделся до пояса, долго плескал на

горячую потную спину ледяную воду, ахал, стонал, мочил голову — и вскоре почувствовав некоторое облегчение, пошел на колхозную конюшню.

## ГЛАВА XIII

Через час он был уже возле стана третьей бригады, но еще издали заметил, что в бригаде творится что-то неладное: добрая половина косилок не работала, по степи там и сям ходили стреноженные лошади, подсохшие валки сена никто не сгребал, и ни единой копешки не виднелось до самого горизонта...

Возле бригадной будки на разостланном рядне шестеро казаков резались в карты, седьмой — подшивал развалившийся чирик, а восьмой — спал, уютно устроившись в холодке возле заднего колеса будки, уткнувшись лицом в скомканный и грязный брезентовый плащ. Завидев Давыдова, игроки лениво встали, за исключением одного, который, полулежа, опираясь на локоть и, очевидно, переживая недавний проигрыш, медленно и задумчиво перетасовывал колоду карт.

Бледный от бешенства, Давыдов подскакал к игрокам вплотную, крикнул срывающимся голосом:

— Это — работа?! Почему не косите? Где Любишкин?

— Так нынче же воскресенье,— нерешительно отозвался кто-то из игроков.

— А погода будет ожидать вас?! А если дождь пойдет?!

Давыдов так круто повернул коня, что тот, побочив, ступил на рядно и вдруг, испугавшись необычной опоры под ногами, взвился на дыбы, прыгнул далеко в сторону. Давыдов резко качнулся, едва не потерял стремя, но все же удержался в седле. Он отвалился назад, до отказа натянул поводья и, когда кое-как овладел переплясывавшим на одном месте конем, крикнул еще громче:

— Где Любишкин, спрашиваю?!

— Вон он косит, вторая косилка слева по бугру. Да ты чего расшумелся, председатель? Гляди, как бы голос не сорвал...— язвительно ответил Устин Рыкалин, пожилой приземистый казак со сросшимися у переносья белесыми бровями и густовеснушчатым круглым лицом.

— Почему лодырничаете?! Я вас всех спрашиваю! — Давыдов даже задохнулся от негодования и крика.

После недолгого молчания болезненный и смирный

Александр Нечаев, живший в хуторе по соседству с Давыдовым, ответил:

— Лошадей некому гонять, вот оно какое дело. Бабы и которые девки в церкву ушли, ну, а мы нехотяючи и празднуем... Просили их, окаящих, отставить это дело, так они ни в какую, и погладиться не дались! То есть никак не могли их удержать. И так и этак просили, но уломать не могли, верь слову, товарищ Давыдов!

— Допустим, верю. Но почему вы-то, мужчины, не работаете? — уже несколько сдержаннее, но все еще излишне громко спросил Давыдов.

Конь никак не хотел успокоиться, он приседал и пугливо стриг ушами, под кожей у него мелкими волнами ходила дрожь. Давыдов, сдерживая коня туго натянутыми поводьями, гладил его шелковистую теплую шею, терпеливо ждал ответа, но на этот раз молчание что-то затянулось...

— Опять же не с кем работать. Баб-то, говорю, нету,— уже неохотно проговорил Нечаев, оглядываясь на остальных, вероятно, ожидая от них поддержки.

— Как это не с кем? Вас здесь восемь человек бездельников. Могли бы пустить четыре косилки? Могли! А вы картами развлекаетесь. Не ждал я от вас этакого отношения к колхозному делу, не думал, факт!

— А ты что думал? Ты думал, что мы не люди, а рабочая скотина? — вызывающе спросил Устин.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Рабочие имеют выходные дни?

— Имеют, но заводы по воскресеньям не останавливаются, и рабочие в цехах в картишки не перебрасываются, как вот вы здесь. Понятно?

— По воскресеньям там, небось, другие смены работают, а мы тут одни как проклятые! С понедельника до субботы — в хомуте и в воскресенье из него не вылазишь, да что это за порядки? А Советская власть так диктует? Она диктует, что не должно быть разных различиев между трудящим народом, а вы искажаете законы, норовите в свою пользу их поворотить.

— Что ты мелешь? Ну что ты мелешь? — раздраженно воскликнул Давыдов.— Я хочу обеспечить сеном на зиму весь колхозный скот, да и всех ваших коровенок. Понятно? Так что это — моя польза? Моя личная выгода? Что же ты мелешь, болтун?!

Устин пренебрежительно махнул рукой:

— Вам лишь бы план вовремя выполнить, а там хучь

травушка не расти. Дюже вам снилась наша скотинка, так и тебе и поверил! На провесне семена в Войсковой возили со станции — сколько быков по дороге легло костьми? Не счесть! А ты нам тут очки втираешь!

— Быки Войскового колхоза дохли в дороге потому, что такие субчики, как ты, хлеб позарывали в землю. В колхоз вступили, а хлеб спрятали. Надо же было чем-то сеять? Вот и пришлось гнать быков за семенами в немыслимую дорогу, потому они и дохли, факт! Будто ты этого не знаешь?

— Вам лишь бы план выполнить, потому ты и стараешься насчет сена,— упрямо бубнил Устин.

— Да что я, сам буду есть это сено, что ли? Для общей же пользы стараюсь! И при чем тут план? — потеряв терпение, выкрикнул Давыдов.

— Ты не шуми, председатель, шумом-громом ты меня не испужаешь, я в артиллерии служил. Ну, пущай, скажем, для общей пользы ты стараешься, а к чему же из людей жилы тянуть, заставлять их работать день и ночь? Вот при этом-то самом и план! Ты норовишь перед районным начальством выслужиться, районное — перед краевым, а мы за вас расплачивайся. А ты думаешь, что народ ничего не видит? Ты думаешь, народ слепой? Он видит, да куда же от вас, таких службистых, денешься! Тебя, к примеру, да и таких других, как ты, мы сместить с должности не можем? Нет! Вот вы и вытворяете, что вам на ум взбредет, а Москва — далеко, Москва не знает, какие коники вы тут выкидываете...

Вопреки предположениям Нагульнова, не с женщинами пришлось Давыдову столкнуться. Но от этого задача его не становилась легче. По настороженному молчанию казаков Давыдов понял, что окриком тут не поможешь, а скорее повредишь делу. Надо было запастись выдержкой и действовать самым надежным средством — убеждением. Внимательно разглядывая злое лицо Устина, он облегченно подумал: «Хорошо, что я не взял с собой Макара! Быть бы сейчас мордобою и драке...»

Чтобы как-то выиграть время и осмыслить предстоящий план схватки с Устином и, возможно, с теми, кто его вздумает поддержать, Давыдов спросил:

— Когда меня выбирали председателем, ты голосовал за меня, Устин Михайлович?

— Нет, воздержался! С чего бы это я стал за тебя голосовать? Тебя привезли, как кота в мешке...

— Я сам приехал.

— Все едино, приехал кот в мешке, так с какой же стати я бы за тебя голосовал, не знаючи, что ты за фигура!

— А сейчас ты против меня?

— А как же иначе? Конечно, против!

— Тогда ставь на общем колхозном собрании вопрос о моем смещении. Как собрание постановит, так и будет. Только обосновывай свое предложение как следует, иначе погоришь!

— Не погорю, не беспокойся, и с этим ишо успеется, это не к спеху. А пока ты председатель, скажи нам: куда ты наши выходные дни замотал?

Ответить на такой вопрос было проще простого, но Устин не дал Давыдову и рта раскрыть:

— Почему в районе, в станице то есть, служащие барышни по воскресеньям морды намажут, напудрят и гуляют по улицам день-деньской, по вечерам танцы танцуют, кино ходят глядеть, а наши бабы и девки должны и по воскресеньям потом умываться?

— В рабочую пору, летом...

— У нас всегда рабочая пора — и зимой и летом, круглый год — рабочая пора.

— Я хочу сказать...

— Нечего зря язык мозолить! И сказать тебе нечего!

Давыдов предупреждающе поднял руку:

— Постой, Устин!

Но Устин перебил его дробной скороговоркой:

— Я и так стою перед тобой, как работник, а ты в седле сидишь, как барин.

— Подожди же, прошу тебя, как человека!

— Нечего мне ждать! Жди не жди, а верного слова от тебя ни черта не дождешься!

— Ты дашь мне сказать? — багровея, крикнул Давыдов.

— Ты на меня не ори! Я тебе не Лушка Нагульнова! — Устин хватнул воздуха широко раздутыми ноздрями и каким-то надтреснутым голосом заговорил громко и часто: — Все равно, брехать на ветер мы тебе тут не дадим! Трепись на собраниях сколько влезет, а тут речь мы ведем. И ты, председатель, нас картами не попрекай! Мы в колхозе сами хозяева: хотим — работаем, не хотим — отдыхаем, а силком работать нас в праздники ты не заставишь, кишка у тебя тонка!

— Ты кончил? — еле сдерживаясь, спросил Давыдов.

— Нет, не кончил. И я тебе скажу напоследок так: не

нравятся тебе наши порядки — убирайся к чертовой матери туда, откуда приехал! Никто тебя к нам в хутор не приглашал, а мы и без тебя, бог даст, как-нибудь проживем. Ты нам — не свет в окне!

Это была явная провокация. Давыдов отлично понимал, куда клонит Устин, но владеть своими чувствами уже не мог. В глазах у него зарябило, и он с минуту почти незряче смотрел на сросшиеся брови Устина, на его круглое, почему-то расплывшееся лицо, отдаленно ощущая, как правая рука, крепко сжимавшая рукоятку плети, наливается кровью, тяжелеет до острой, покалывающей боли в суставах пальцев.

Устин стоял против него, небрежно засунув руки в карманы штанов, широко расставив ноги... Устин как-то сразу обрел недавнюю уравновешенность и теперь, чувствуя за собой молчаливую поддержку казаков, уверенный в собственном превосходстве, спокойно и нагловато улыбался, щурил голубые, глубоко посаженные глаза. А Давыдов все больше бледнел и только молча шевелил побелевшими губами, не в силах произнести ни слова. Он упорно боролся с собой, он напрягал всю волю, чтобы обуздать в себе слепую, нерассуждающую ярость, чтобы как-нибудь не сорваться. Откуда-то, словно бы издалека, доносился голос Устина, и Давыдов отчетливо улавливал и смысл того, о чем говорил Устин, и издевательские интонации, звучавшие в его голосе...

— Чего же ты, председатель, зеваешь ртом, а сам молчишь, как рыба? Язык проглотил, или сказать нечего? Ты же вроде говорить хотел, а сам как воды в рот набрал... То-то и оно, против правды, видно, не попрешь! Нет уж, председатель, ты лучше с нами не связывайся и не горячись по пустякам. Ты лучше по-мирному слазь-ка с коня да давай с нами в картишки перекинемся, сыграем в подкидного дурачка. Это, брат, умственное дело, это тебе не колхозом руководить.

Кто-то из стоявших позади Устина казаков тихо засмеялся и оборвал смех. На короткий миг нехорошая тишина установилась возле будки. Только слышно было, как бурно дышит Давыдов, стрекочут вдали лобогрейки да умиротворяюще и беззаботно поют, заливаются в голубом поднебесье невидимые глазу жаворонки. Уж им-то, во всяком случае, не было никакого дела до того, что происходит между столпившимися возле будки взволнованными людьми...

Давыдов медленно поднял над головою плеть, тронул

коня каблуками. И тотчас же Устин стремительно шагнул вперед, левой рукой схватил коня под уздцы, а сам ступил вправо, вплотную прижался к ноге Давыдова.

— Никак вдарить хочешь? Давай попробуй! — угрожающе и тихо проговорил он.

На лице его вдруг резко обозначились крутые скулы, глаза блеснули веселым вызовом, нетерпеливым ожиданием.

Но Давыдов с силой хлопнул плетью по голенищу своего порыжелого сапога и, глядя сверху вниз на Устина, тщетно пытаясь улыбнуться, громко сказал:

— Нет, не ударю я тебя, Устин, нет! Не надейся на это, белячок! Вот если бы ты попался мне лет десять назад — тогда другое дело... Ты у меня еще тогда навеки отговорился бы, контрик!

Отодвинув Устина в сторону легким движением ноги, Давыдов спешился.

— Ну что ж, Устин Михайлович, взялся за поводья — теперь веди, привязывай коня. Говоришь, в картишки с вами сыграть? Пожалуйста, с удовольствием! Сдавайте, факт!

Больно уж неожиданный оборот приняло дело... Казаки переглянулись, помедлили и молча стали рассаживаться возле рядна. Устин привязал коня к колесу будки, сел против Давыдова, по-калмыцки поджав ноги, изредка и быстро взглядывая на него. Нет, он вовсе не считал, что потерпел поражение в столкновении с Давыдовым, а потому и решил продолжить разговор:

— Так насчет выходных ты ничего и не сказал, председатель! Под сукно положил вопрос...

— У нас с тобой разговор еще впереди,— многозначительно пообещал Давыдов.

— Это как надо понимать? Вроде как ты мне угрожаешь?

— Нет, зачем же! Сел в карты играть, значит, посторонние разговоры в сторону. Время еще будет поговорить...

Но теперь уже чем спокойнее становился Давыдов, тем больше волновался Устин. Не доиграв кона, он с досадой бросил карты на рядно, обнял руками колени.

— Какая там, к черту, игра, давайте лучше поговорим про выходные. Ты думаешь, председатель, об этих выходных одни люди беспокоятся? Как бы не так! Вчера утречком это пошел я лошадей запрягать, а гнедая кобыла вздохнула от горя и говорит мне человечьим языком: «Эх,

Устин, Устин, и что это за колхозная жизня! И в будни на мне работают, день и ночь хомута не сымают, и в праздники не выпрягают. А раньше было не то-о-о! Раньше на мне, бывало, по воскресеньям не работали, а только либо по гостям ездили, либо, скажем, по свадьбам. Раньше жизня моя не в пример лучше была!»

Казаки вполголоса, но дружно рассмеялись. Сочувствие их было как будто бы на стороне Устина. Но они выжидающе притихли, когда Давыдов, трогая рукою кадык, негромко сказал:

— А чья она была до колхоза, эта интересная кобылка?

Устин хитро сощурился и даже слегка подмигнул Давыдову:

— Небось, думаешь, моя? Моими словами говорила? Нет, председатель, тут ты ошибку понес! Это Титкова была кобылка, эта животная из раскулаченных. Она у него при единоличной жизни не так, как в колхозе, питалась: объедьев зимой и не нюхала, на одном овсе, считай, почти все зубы съела. Не жила, можно сказать, а роскошничала!

— Значит — старая кобылка, если зубы съела? — как бы невзначай спросил Давыдов.

— Старая, старая, в преклонных годах,— охотно согласился Устин, не ожидавший от противника никакого подвоха.

— Тогда напрасно ты слушаешь эту разговорчивую кобылу,— убежденно сказал Давыдов.

— Почему же это напрасно?

— Да потому, что у кулацкой кобылы — кулацкие и разговоры.

— Так она же теперь колхозница...

— По виду и ты колхозник, а на деле — кулацкий подпевала.

— Ну, это ты уж, председатель, загнул чересчур...

— Ничего не загнул, а факт остается фактом. И потом, если кобыла старая, охота тебе была ее слушать? Она же от старости весь ум выжила! Будь она помоложе да поумнее — не так ей надо было с тобой разговаривать!

— А как же? — уже настороженно спросил Устин.

— Ей надо было сказать тебе так: «Эх, Устин, Устин, кулацкий ты прихвостень! Зимою ты, сукин сын, ни черта не работал, весною не работал, больным притворялся, и сейчас не хочешь по-настоящему работать. Чем же ты меня, гнедую кобылу, зимовать будешь и что сам зимою жрать будешь? Подохнем мы с тобой с голоду от таких

наших трудов!» Вот как ей надо было с тобой разговаривать!

Общий хохот покрыл последние слова Давыдова. Нечаев смеялся, как девушка, словно горох сыпал, и по-девичьи тоненько взвизгивал. Басистый Герасим Зяблов даже вскочил на ноги и хохотал, потешно приседая, и, как во время пляски, хлопал себя ладонями по голенищам сапог. А престарелый Тихон Осетров, захватив сивую бороду в кулак, пронзительно кричал:

— Ложись, Устин, ниц и не подымай головы! Начисто стоптал тебя Давыдов!

Но, к удивлению Давыдова, смеялся и сам нимало не смущенный Устин, и смех его вовсе не был насильственным или притворным.

Когда понемногу установилась тишина, Устин первый сказал:

— Ну, председатель, сразил ты меня... Не думал я, что ты так ловко из-под меня вывернешься. А вот насчет кулацкого прихвостня — это ты напрасно, и насчет того, что весною я не хворал, а притворялся,— тоже напраслину на меня возводишь. Тут ты, председатель, извиняй, пожалуйста, но брешешь!

— Докажи это.

— Чем же я тебе докажу?

— Фактами.

— Какие же могут быть к нашему шутейному разговору факты? — неуверенно улыбаясь, спросил уже немного посерьезневший Устин.

— Ты брось дурака валять! — зло сказал Давыдов.— Разговор наш далеко не шутейный, и дело, которое ты затеял, вовсе не шуточное. А факты — вот они тебе налицо: в колхозе ты почти не работаешь, пытаешься тянуть за собой несознательный элемент, ведешь опасные для тебя разговорчики, и вот сегодня, например, тебе удалось сорвать выход на работу: половина бригады не косит благодаря твоим стараниям. Какие же тут, к черту, шутки?

Смешливо вздернутые брови Устина опустились и опять сошлись у переносья в одну прямую и жесткую линию:

— Про выходные дни сказал и сразу попал в кулацкие прихвостни и в контры? Стало быть, только тебе одному можно говорить, а нам — молчать и губы рукавом вытирать?

— Не только поэтому! — горячо возразил Давыдов.— Все твое поведение нечестное, факт! Что ты распинаешься

о выходных днях, когда ты зимою имел этих выходных в месяц по двадцать дней! Да и не только ты один, а и все остальные, кто здесь сейчас находится. Что вы зимою делали, кроме уборки скота да очистки семян? Да ничего! На теплых печках отлеживались! Так какое же право вы имеете устраивать себе выходные в самую горячую пору, когда каждый час дорог, когда под угрозой покос? Ну, скажите по совести!

Устин, не моргая, молча и пристально смотрел на Давыдова. Вместо него заговорил Тихон Осетров:

— Тут, донцы, в кулак шептать нечего. Давыдов правильно говорит. Наша промашка вышла, нам ее и поправлять. Такое наше дело, что праздновать приходится не всегда, а в большинстве действительно в зимнюю пору. Да оно и раньше, при единоличестве, так же было. Раньше покрова кто из нас с хозяйством управлялся? Не успеешь хлеба́ убрать — и вот уже надо тебе зябь пахать. Давыдов верно говорит, и мы нынче зря баб в церкву пустили, а уж про то, что сами на стану уселись воскресничать, тут и толковать нечего... Одним словом, промашка! Сами перед собой обвиноватились, да и только. А все это ты, Устин, ты нас сбил, баламутный дьявол!

Устин вспыхнул как порох. Голубые глаза его потемнели и злобно заискрились:

— А у тебя, бородатая дура, свой ум при себе есть, или ты его дома забыл?

— То-то и оно, что, как видно, забыл...

— Ну, сбегай в хутор, принеси его!

Нечаев прикрыл рот узкой ладонью, чтобы не видно было улыбки, подрагивающим, тонким голоском спросил у несколько смущенного Осетрова:

— А ты, Тихон Гордеич, надежно его схоронил, ум-то?

— А тебе какая печаль?

— Так нынче же воскресенье...

— Ну, и что такого?

— Сноха твоя, небось, прибиралась с утра, полы подметала, и ежели ты свой умишко под лавкой схоронил или под загнеткой, то она беспременно веником подхватит его и выметет на баз. А там его куры в один миг разгребут... Как бы тебе, Гордеич, без ума не пришлось век доживать, вот об чем я печалуюсь...

Все, не исключая Давыдова, рассмеялись, но смех у казаков был что-то не очень весел... Однако недавнее напряжение исчезло. Как и всегда бывает в таких случаях,

веселая шутка предотвратила готовую разразиться ссору. Обиженный Осетров, малость поостыв, только и сказал, обращаясь к Нечаеву:

— Тебе, Александр, как я погляжу, и дома забывать нечего: и при себе из ума ничего не имеешь. Ты-то умнее меня оказался? И твоя баба тоже зараз марширует, дорогу на Тубянской меряет, и ты от картишек тоже не отказывался.

— Мой грех! Мой грех! — отшучивался Нечаев.

Но Давыдов не был удовлетворен исходом разговора. Ему хотелось прижать Устина по-настоящему!

— Так вот, давайте уж окончательно закончим про выходные,— сказал он, в упор глядя на Устина.— Много ты зимой работал, Устин Михайлович?

— Сколько надо было, столько и работал.

— А все же?

— Не считал.

— Сколько у тебя числится трудодней?

— Не помню. И чего ты ко мне привязался? Возьми да подсчитай, ежели тебе делать нечего, а без дела скучно.

— Мне и подсчитывать не надо Если ты забыл, то мне — как председателю колхоза — забывать не положено.

До чего же на этот раз пригодилась Давыдову объемистая записная книжка, с которой он почти никогда не расставался! От недавно пережитого волнения пальцы Давыдова все еще слегка дрожали, когда он торопливо перелистывал замусоленные страницы книжки.

— Нашел твою фамилию, трудяга! А вот и твои заработки: за январь, февраль, март, апрель и май всего, сейчас скажу, всего двадцать девять трудодней. Ну, как? Лихо работал?

— Не густо у тебя накапано, Рыкалин! — с сожалением и укоризной сказал один из казаков, глядя на Устина.

Но тот не хотел сдаваться:

— У меня еще полгода впереди, а кур по осени считают.

— Кур по осени будем считать, а выработку — ежедневно,— резко сказал Давыдов.— Ты, Устин, заруби себе на носу: бездельников в колхозе мы терпеть не будем! В три шеи будем гнать всех саботажников! Дармоеды нам в колхозе не нужны. Ты подумай: куда ты идешь и куда заворачиваешь? У Осетрова — почти двести трудодней, у остальных из вашей бригады — за сто, даже у таких больных, как Нечаев, и то около сотни, а у тебя — двадцать девять! Ведь это же позор!

— У меня жена хворая, женскими болезнями страдает и по неделям лежит пластом. А окромя этого — шесть штук детей,— угрюмо сказал Устин.

— А ты сам?

— А что — я?

— Почему не работаешь на полную нагрузку?

И опять скулы Устина вспыхнули вишневым румянцем, а в голубых, зло прищуренных глазах мелькнули недобрые огоньки.

— Что ты на меня вылупился и только в глаза мне глядишь да на морду?! — возбужденно потрясая сжатой в кулак левой рукой, закричал он, и на его круглой короткой шее вздулись синие вены.— Что я тебе, Лушка Нагульнова или Варька Харламова, какая по тебе сохнет?! Ты на руки мои погляди, а тогда и спрашивай с меня работу!

Он с силой выбросил вперед руки, и только тут Давыдов увидал, что на изуродованной правой руке Устина одиноко торчит указательный палец, а на месте остальных темнеют бурые, сморщенные пятна.

Давыдов озадаченно почесал переносицу:

— Вот оно, какое дело... Где же пальцы потерял?

— В Крыму, на врангелевском фронте. Ты меня беляком называл, а я — розовый, как забурелый арбуз: и в белых был, и с зелеными две недели кумился, и в красных побывал. В белых служил — без охоты воевал, все больше по тылам огинался, а с белыми дрался — изволь радоваться, пальцы потерял. Поилица, какой рюмку берешь, целая.— Устин пошевелил куцыми, толстыми пальцами левой руки.— А кормилица, видишь, без хваталок...

— Осколком?

— Ручная граната.

— Как же у тебя указательный уцелел?

— На спусковом крючке он лежал, потому и уцелел. Двух врангелевцев в этот день лично я убил. Надо же было чем-нибудь расплачиваться? Боженька рассерчал на меня за это крови пролитие, вот и пришлось пожертвовать ему четыре пальца. Считаю, дешево отделался. С дурного ума он бы мог с меня и полголовы потребовать...

Спокойствие Давыдова постепенно передалось и Устину. Они разговаривали уже в мирном тоне, и бесшабашный Устин понемногу остывал, и даже обычная ироническая улыбочка появилась у него на губах.

— Жертвовал бы и последний, на кой он тебе, один-то?

— До чего ты, председатель, простой на чужое добро! Мне он и один в хозяйстве дюже нужен.

— На что же это тебе нужен? — подавляя улыбку, спросил Давыдов.

— Мало ли на что... Ночью им на свою бабу грожусь, ежели не угодит мне чем-нибудь, а днем в зубах им ковыряю, добрым людям головы морочу. При моей бедности мясцо-то во щах у меня бывает раз в году, а тут я кажин день после обеда иду по улице, в зубах этим пальцем ковыряю да сплевываю, а люди, небось, думают: «Вот проклятый Устин как богато живет! Кажин день мясо жрет, и никак оно у него не переводится!» А ты говоришь, на что мне один палец сдался... Он свою службу несет! Пущай люди меня богатым считают. Как-никак, а мне это лестно!

— Силен ты на язык,— невольно улыбаясь, сказал Давыдов.— А косить сегодня будешь?

— После такого приятного разговора — обязательно!

Давыдов повернулся к Осетрову. Он обращался к нему как к старшему по возрасту:

— Женщины ваши давно в Тубянской пошли?

— Да так с час назад, не больше.

— И много ли их ушло?

— Штук двенадцать. Они, эти бабы, чисто овцы куда одна направилась, туда и другие всем гуртом. Иной раз и поганая овца за собою гурт ведет... Поддались же мы Устину, затеялись в покос праздновать, лихоманка его забери!

Устин добродушно рассмеялся:

— Опять я виноватый? Ты, борода, на меня чужой грех не сваливай! Бабы ушли молиться, а я тут при чем? Их бабка Атаманчукова и ишо одна наша хуторская старушка сбили с пути праведного. С рассветом ишо пришли к нам на стан и — ну их агитировать! Нынче, говорят, праздник святой великомученицы Гликерии, а вы, бабочки, косить думаете, греха не боитесь... Ну и сбили. Я было спросил у старушек: это, мол, какой Гликерии? Уж не Нагульновой ли? Так она в точности великомученица: всю жизню с кем попадя мучится... Эх, как тут старушки мои всколыхнулись и поднялись на меня штурмой! Бабка Атаманчукова даже костылем замахнулась, хотела вдарить, да, спасибо, я вовремя увернулся, а то была бы у меня шишка на лбу, как у голландского гусака. А тут наши бабенки вцепились в меня, не хуже чем орепьи в собачий хвост, насилу от них кое-как отбился... И что это я за такой разнесчастный чело-

век? Не везет мне нынешний день! Глядите, добрые люди, за одно утро и со старухами успел поругаться, и с бабами, и с председателем, и с Гордеичем — сивой бородой. Ведь это уметь надо!

— Это ты уме-е-ешь! Этого уменья тебе не занимать у соседей. Ты с мальства, Устин, со всеми схватываешься, как драчливый кочет. А у драчливого кочета, попомни мое слово, гребень всегда в крови...— предостерегающе сказал Осетров.

Но Устин будто и не слышал его. Глядя на Давыдова озорными, бесстрашными глазами, он продолжал:

— Зато на агитаторов нам нынешний день везет: и пеши к нам идут, и верхи едут... Будь поближе железная дорога — на паровозах бы к нам скакали! Только настоящей агитации тебе, председатель, надо у наших старушек учиться... Они постарше тебя, похитрее, и опытности в них побольше. Разговаривают они потихонечку, уговаривают ласково, со всей вежливостью; вот они и добиваются своего. У них — без осечки выходит! А ты как действуешь? Не успел к стану подскакать, а уже орешь на всю степь: «Почему не работаете?!» Кто же по нынешним временам так с народом обращается? Он, народ-то, при Советской власти свою гордость из сундуков достал и не уважает, когда на него кидаются с криком. Одним словом, он никакой щекотки не любит, председатель! Да, к слову сказать, на казаков и раньше, в царское время, атаманцы не дюже шумели — боялись стариков обидеть. Вот и вам с Нагульновым пора бы понять, что не те времена нынче, и старые завычки пора бросать... Ты думаешь, что я согласился бы нынче косить, ежели бы ты не остепенился? Черта с два! А ты себя укоротил несколько, сменил гнев на милость, в картишки с нами согласился перекинуться, поговорил толково, и вот уж я — весь тут! Голыми руками бери меня, и я на все согласный: и в карты играть, и стога метать.

Горькое чувство недовольства собою, злую досаду испытывал Давыдов, внимательно слушавший Устина. А ведь, пожалуй, кое в чем он был прав, этот не в меру бойкий казачок. Прав хотя бы уже в том, что нельзя было ему, Давыдову, появившись в бригаде, начинать объяснение с ругани и крика. Потому-то у него, как намекнул Устин, и вышла на первых порах осечка. Как же получилось, что он не сдержался? И Давыдов, не кривя душой, должен был сознаться самому себе, что незаметно он усвоил грубую, нагульновскую, манеру обращения с людьми, разнуздался,

как сказал бы Андрей Размётнов,— и вот результат: ему ехидно советуют брать пример с каких-то старушонок, которые действуют осторожно, вкрадчиво и без всяких осечек неизменно добиваются успеха в своих целях. Всё яснее ясного! Надо бы и ему спокойно подъехать к стану, спокойно поговорить, убедить людей в неуместности праздничных настроений, а он наорал на всех, и был момент, когда за малым не пустил в дело плеть. В одно ничтожное мгновение он мог зачеркнуть всю свою работу по созданию колхоза, а потом, чего доброго, и положить партбилет на стол райкома... Вот это была бы уже по-настоящему страшная катастрофа в его жизни!

Только при одной мысли о том, что́ могло с ним произойти, если бы он вовремя не взял себя в руки, Давыдов зябко передернул плечами, на секунду почувствовал, как по спине прополз знобящий холодок...

Целиком погруженный в неприятные переживания, Давыдов упорно смотрел на разбросанные по рядну карты и, почему-то вдруг вспомнив свое увлечение игрою в «очко» в годы гражданской войны, подумал: «Перебор у меня вышел! Прикупил к шестнадцати очкам не меньше десятка, факт!» Не очень-то удобно было ему сознаваться в своей несдержанности, однако он нашел в себе мужество и хотя и не без внутреннего сопротивления, но все же сказал:

— Фактически я напрасно налегал на глотку, в этом ты прав, Устин! Но ведь обидно стало, что вы не работаете, как ты думаешь? Да и ты разговаривал со мною вовсе не шепотом. А договориться нам можно было, конечно, и без ругани. Ну, хватит об этом! Ступай, запрягай в арбу самых резвых лошадей, а ты, Нечаев, другую подходящую пару — вот в эти дрожки.

— Поедешь баб догонять? — не скрывая удивления, спросил Устин.

— Точно. Попробую и женщин уговорить, чтобы поработали сегодня.

— А подчинятся они тебе?

— Там видно будет. Уговор — не приказ.

— Ну что ж, помогай тебе боженька и матка бозка ченстоховска! Слушай-ка, председатель, возьми и меня с собой! А?

Давыдов, не колеблясь, согласился.

— Поедем. Но ты помогать мне будешь уговаривать женщин?

Устин сморщил в улыбке растрескавшиеся от жары губы:

— Тебе помогать будет мой заместитель, я его с собою непременно прихвачу!

— Какой заместитель? — Давыдов недоумевающе взглянул на Устина.

А тот молча и не спеша подошел к будке и вытащил из вороха зипунов новехонький длинный кнут с нарядным ременным махром на конце кнутовища.

— Вот он и заместитель. Хорош? А уж до чего он у меня убедительный — страсть! Как засвистит, так сразу и уговорит и усватает. Не гляди, что я левша!

Давыдов нахмурился:

— Ты мне это брось! Женщин я тебе и пальцем тронуть не позволю, а на твоей спине с удовольствием попробовал бы этого заместителя!

Но Устин лишь насмешливо сощурился:

— Хотел дед в свое удовольствие вареников попробовать, а собака творог съела... Я как инвалид гражданской войны льготу имею, а бабы от порки только жирнее да смирнее делаются, по своей жене знаю. Кого же надо пороть? Ясное дело — баб! Да ты чего робеешь? Мне только двух-трех стегнуть как следует, а остальных ажник ветром схватит, в один момент на арбе очутятся!

Считая разговор оконченным, он достал валявшиеся под будкой уздечки, пошел на бугор ловить лошадей. За ним поспешили Нечаев и другие казаки, за исключением одного Осетрова.

— Ты, Тихон Гордеич, почему не идешь косить? — спросил Давыдов.

— Хотел тебе за Устина словцо молвить. Можно?

— Давай.

— Не гневайся ты на него, дурака, за ради бога! Он чисто глупóй становится, когда ему шлея под хвост попадает, — просяще заговорил Осéтров.

Но Давыдов прервал его:

— Он вовсе не дурак, а открытый враг колхозной жизни! С таким мы боролись и будем бороться без пощады!

— Да какой же он враг? — в изумлении воскликнул Осетров. — Говорю тебе, что он сам не свой становится, когда осерчает, вот и все! Я его с мальства знаю, и, сколько помню, всегда он такой нащетиненный. Его, подлеца, до революции старики наши за супротивность несчетно пороли на хуторских сходах. Пороли так, что ни сесть ему, ни

лечь,— а с него как с гуся вода! Неделю поносит зад на отлете и опять за старое берется, никому спуску не дает, у всех изъяны ищет, да ведь с какой усердностью ищет! Скажи, как собака — блох! С чего ему быть врагом колхоза? Богатеньким он всю жизню поперек горла стоял, а сам живет — ты бы только глянул! Хата набок схилилась, вот-вот рухнется, в хозяйстве одна коровенка да пара шелудивых овчишек, денег сроду не было и нету. У него в одном кармане блоха на аркане, а в другом — вошь на цепи, вот и все его богатство! А тут жена хворая, детишки одолели, нужда заела... Может, через это он на всех и клацает зубами. А ты говоришь — враг. Пустобрех он, а не враг.

— Он тебе не из родни? Почему ты за него вступаешься?

— В том-то и дело, что родня, племянником мне доводится.

— Того-то ты и стараешься?

— А как же иначе, товарищ Давыдов? Шестеро ребят на его шее, и все мал мала меньше, а у него язык — как помело. Я ему до скольких разов говорил: «Прибереги язык, Устин! До плохого ты договоришься. Вгорячах ты такое ляпнешь, что сразу окажешься в Сибири, тогда начнешь локоток кусать, да поздно будет!» А он мне на это: «А в Сибири люди на четвереньках ходят, что ли? Меня и там ветром не продует, я — каленый!» Вот и возьми такого дурака за рупь двадцать! А при чем тут его дети? Их воспитать трудно, а посиротить по нынешним временам можно в два счета...

Давыдов закрыл глаза и надолго задумался. Уж не свое ли беспросветное, темное, горькое детство вспоминал он в эти минуты?

— Не гневайся на него за дурные слова,— повторил Осетров.

Давыдов провел рукою по лицу и как будто очнулся.

— Вот что, Тихон Гордеич,— медленно, раздельно заговорил он.— Пока Устина я не трону. Пусть он работает в колхозе по силе возможности, тяжелой работы ему давать не будем, что́ осилит, то пусть и делает. Если у него к концу года будет нехватка в трудоднях, поможем: выделим на детей хлеба из общеколхозного фонда. Понятно? Но ты ему скажи от меня по секрету: если он еще раз вздумает мне в бригаде воду мутить, людей сбивать на разные гадости, то ему несдобровать! Пусть он одумается, пока не поздно!

Шутить я с ним больше не намерен, так и скажи ему. Мне не Устина, а детишек его жалко!

— Спасибо на добром слове, товарищ Давыдов! Спасибо и за то, что зла на сердце супротив Устина не держишь.— Осетров поклонился Давыдову.

А тот неожиданно рассвирепел:

— Что ты мне кланяешься? Я тебе не икона! И без поклонов обойдусь и сделаю, что сказал!

— У нас со старых времен так ведется: ежели благодаришь, то и кланяешься,— с достоинством ответил Осетров.

— Ну, ладно, старик, ты вот что скажи: как у детишек Устина с одежонкой? И сколько из них в школу ходит?

— Зимою все как есть на печке сидят, на баз выйти не в чем, летом бегают, лохмотья трясут. Кое-что из раскулаченного имущества им перепало, но ведь этим их наготу не прикроешь. А из школы нынешнюю зиму Устин последнего парнишку забрал: ни одеть, ни обуть нечего. Парнишка-то большенький, двенадцати годков, ну и стыдится цыганское рванье носить...

Давыдов яростно поскреб в затылке и вдруг круто повернулся к Осетрову спиной.

— Ступай косить.

Голос у него был глухой и звучал неприятно... Осетров внимательно посмотрел на понуро сгорбившуюся фигуру Давыдова, еще раз низко поклонился и медленно зашагал к косарям.

Немного успокоившись, Давыдов долго смотрел вслед удалявшемуся Осетрову, думал: «Удивительный народ эти казачишки! Раскуси, попробуй, что за фрукт этот Устин. Оголтелый враг или же попросту болтун и забияка, у которого что на уме, то и на языке? И вот что ни день, то они мне все новые кроссворды устраивают... Разберись в каждом из них, дьявол бы их побрал. Ну что ж, буду разбираться! Понадобится, так не то что пуд — целый мешок соли вместе с ними съем, но так или иначе, а все равно разберусь, факт!»

Размышления его прервал Устин. Он подскакал галопом, ведя в поводу вторую лошадь.

— А на кой ляд нам, председатель, в дрожки запрягать? Давай запрягем в другую арбу. Небось не растрясутся бабы и в арбах, ежели согласятся обратно ехать!

— Нет, запрягай в дрожки,— сказал Давыдов.

Он уже все успел обдумать и знал, на что ему могут пригодиться дрожки в случае удачи.

* * *

Минут через сорок быстрой езды они издали увидели пеструю толпу нарядно одетых женщин, медленно поднимавшихся по летней дороге на противоположном склоне балки.

Устин поравнялся с Давыдовым.

— Ну, председатель, держись за землю! Зараз устроят тебе бабы вторую выволочку!..

— Слепой сказал: «Посмотрим!» — бодро ответил Давыдов, погоняя лошадей вожжами.

— Не робеешь?

— А чего робеть? Их же только двенадцать или немного больше.

— А ежели я им помогу? — спросил Устин, непонятно улыбаясь.

Давыдов внимательно всматривался в его лицо и никак не мог определить, серьезно он говорит или шутит.

— Как тогда обернется дело? — снова спросил Устин, но теперь он уже не улыбался.

Давыдов решительно остановил своих лошадей, слез с арбы и подошел к дрожкам. Опустив руку в правый карман пиджака, он вынул пистолет — подарок Нестеренко — и положил его на колени Устину.

— Возьми эту игрушку и спрячь от греха подальше. Если и ты, в случае чего, примкнешь к женщинам, боюсь, что не выдержу искушения и тебе же первому продырявлю голову.

Он легко высвободил кнутовище из потной руки Устина, широко размахнулся, кинул кнут далеко в сторону от дороги.

— Теперь поехали! Погоняй веселее, Устин Михайлович, да хорошенько приметь место, куда упал твой кнут. На обратном пути мы его заберем, факт! А пистолет вернешь мне, когда приедем на стан. Трогай!

Нагнав женщин, Давыдов лихо объехал их стороной, поставил арбу поперек дороги. Устин остановил лошадей около арбы.

— Бабочки-красавицы, здравствуйте! — с наигранной веселостью приветствовал богомолок Давыдов.

— Здорово, коли не шутишь,— ответила за всех самая бойкая из женщин.

Давыдов соскочил с арбы, снял кепку и склонил голову:

— Прошу вас от имени правления колхоза вернуться на работу. Ваши мужчины послали меня к вам. Они уже косят.

— Мы к обедне идем, а не на игрища! — запальчиво крикнула пожилая женщина с лоснящимся от пота красным лицом.

Давыдов обеими руками прижал к груди скомканную кепку:

— После покоса молитесь, сколько вам угодно, а сейчас не время. Посмотрите — тучки находят, а у вас на покосе ни одной копны нет. Пропадет же сено! Все погниет! А сено пропадет — и скот зимой пропадет. Да вы это лучше меня знаете!

— Где ты тучи увидал? — насмешливо спросила молоденькая девушка.— Небушко — как выстиранное!

— Барометр на дождь показывает, а тучи тут ни при чем,— всячески изворачивался Давыдов.— Вскоре непременно будет дождь! Поедемте, дорогие бабочки, а в то воскресенье сходите помолиться. Ну, какая вам разница? Садитесь, прокачу с ветерком! Садитесь, мои дорогие, а то дело не ждет.

Давыдов уговаривал своих колхозниц, не жалея ласковых слов, и те замялись в нерешительности, стали перешептываться. Тут-то совершенно неожиданно для Давыдова на выручку ему пришел Устин: неслышно подойдя сзади к полной и высокой жене Нечаева, он мгновенно подхватил ее на руки и, не обращая никакого внимания на удары, которыми осыпала его смеющаяся женщина, на рысях донес ее до арбы, бережно усадил в задок. Женщины со смехом и визгом разбежались в разные стороны.

— Лезьте сами в арбу, а то зараз кнут возьму! — дико вращая глазами, заорал во всю мочь Устин. И тут же сам расхохотался: — Садитесь, не трону, только живее, сатаны длиннохвостые!

Стоя на арбе во весь рост, поправляя сбившийся с головы полушалок, жена Нечаева крикнула:

— Ну садитесь, бабочки, скорее! Что, я вас ждать буду? Глядите, какая нам честь: сам председатель за нами приехал!

Женщины подошли с трех сторон и, подталкивая друг дружку, пересмеиваясь и бросая на Давыдова быстрые взгляды, бесцеремонно полезли в арбу. На дороге остались две старухи.

— А мы должны одни идти в Тубянской, супостат ты

этакий? — Бабка Атаманчукова сверлила Давыдова ненавидящим взглядом.

Но Давыдов призвал на помощь всю свою былую матросскую галантность и, раскланиваясь, звонко щелкнул каблуками:

— Зачем же вам, бабушки, пешком идти? Вот дрожки специально для вас, садитесь и езжайте, молитесь на здоровье. Повезет вас Устин Михайлович. Он обождет, пока кончится обедня, а потом доставит вас в хутор.

Дорога была каждая минута, и нечего было дожидаться согласия старушек! Давыдов взял их под руки, повел к дрожкам. Бабка Атаманчукова всячески упиралась, но ее сзади легонечко и почтительно подталкивал Устин. Коекак старух усадили, и Устин, разбирая вожжи, тихо, очень тихо сказал:

— Хитер же ты, Давыдов, как бес!

За все время он впервые назвал своего председателя по фамилии.

Давыдов отметил это про себя, вяло улыбнулся: бессонная ночь и пережитые волнения сказались на нем, и его уже неодолимо борол сон.

## ГЛАВА XIV

— Ну и сильный же травостой в нынешнем году! Ежели не напакостят нам дожди и управимся с покосом засухо — не иначе огрузимся сенами! — сказал Агафон Дубцов, войдя в скромный кабинет Давыдова и устало, со стариковским покряхтываньем, садясь на лавку.

Только устроившись поудобнее, он положил рядом с собою выцветшую на солнце фуражку, вытер рукавом ситцевой рубахи пот с рябоватого и черного от загара лица и с улыбкой обратился к Давыдову и сидевшим за его столом счетоводу и Якову Лукичу:

— Здорóво живешь, председатель, и вы здравствуйте, канцелярские крысы!

— Хлебороб Дубцов приехал! — фыркнул счетовод.— Смотрите, товарищ Давыдов, на этого дядю внимательно! Ну какой ты хлебороб, Агафон?

— А кто же я, по-твоему? — Дубцов вызывающе уставился на счетовода.

— Кто хочешь, но только не хлебороб.

— А все-таки?

— Даже сказать неудобно, кто ты есть такой...

Дубцов нахмурился, помрачнел, и от этого черное лицо его словно бы еще более потемнело. В явном нетерпении он проговорил:

— Ну, ты у меня не балуй, выкладывай поскорее, кто я есть такой, по твоему мнению. А ежели ты словом подавился, так дай я тебя по горбу маленько стукну, сразу заговоришь!

— Самый ты настоящий цыган! — убежденно сказал счетовод.

— То есть, как же это я — цыган? Почему — цыган?

— А очень даже просто.

— Просто и блоха не кусает, а с умыслом. Вот ты и объясняй свой обидный для меня умысел.

Счетовод снял очки, почесал карандашом за ухом.

— А ты не злись, Агафон, ты вникай в мои слова. Хлеборобы в поле работают, так? А цыгане по хуторам ездят, попрошайничают, где плохо лежит — крадут... Так и ты: чего ты в хутор приехал? Не воровать же? Стало быть, не иначе — чего-нибудь просить. Так я говорю?

— Так уж и просить...— неуверенно проговорил Дубцов.— Что же, мне нельзя приехать проведать вас? Запросто нельзя приехать или, скажем, по какому-нибудь делу? Ты мне воспретишь, что ли, крыца в очках?

— А на самом деле, чего ты приехал? — улыбаясь спросил Давыдов.

Но Дубцов сделал вид, что не слышит вопроса. Он внимательно осмотрел полутемную комнату, завистливо вздохнул:

— Живут же люди, наколи их еж! Ставеньки у них поскрыты, в хате пол холодной водицей прилит; тишина, сумраки, прохлада; ни единой мушки нету, ни один комарик не пробрунжит... А в степи, так твою и разэтак, и солнце тебе с утра до вечера насмаливает, днем и овод тебя, как скотиняку, до крови просекает, и всякая поганая муха к тебе липнет не хуже надоедливой жены, а ночью комар никакого спокою не дает. Да ведь комар-то не обыкновенный, а гвардейского росту! Не поверите, братушки, каждый — чуть не с воробья, а как крови насосется, то даже поболее воробья становится, истинно говорю! Из себя личностью этот комар какой-то желтый, страховитый, и клюв у него не меньше вершка. Ка-а-ак секанет такой чертяка скрозь зипун — с одного клевка до живого мяса достает, ей-богу! Сколь мы так му́ки от всякой летучей

гнуси принимаем, сколь крови проливаем, прямо скажу, не хуже, чем на гражданской войне!

— А и здоров же ты брехать, Агафон! — посмеиваясь, восхитился Яков Лукич.— Ты в этом деле скоро деда Щукаря перескачешь.

— Чего мне брехать? Ты тут в холодке сидишь сиднем, а поезжай в степь — и сам увидишь,— огрызнулся Дубцов, но в шельмоватых, прищуренных глазах его еще долго не гасла улыбка.

Он, пожалуй, был бы не прочь еще продолжить свой притворно-грустный рассказ о нуждах и мытарствах бригады, но Давыдов прервал его:

— Хватит! Ты не хитри, не плачь тут и зубы нам не заговаривай. Говори прямо: зачем приехал? Помощи просить?

— Оно было бы невредно...

— Чего же тебе не хватает, сирота: папы или мамы?

— Здоров ты шутить, Давыдов, но и нас не со слезьми, а со смешком зачинали.

— Спрашиваю без шуток: чего не хватает? Людей?

— И людей тоже. По скатам Терновой балки,— ты же самолично видал,— трава дюже добрая, но косилки на косогоры и на разные вертепы не пустишь, а косарей с ручными косами в бригаде кот наплакал. До смерти жалко, что такая трава гниет зазря!

— Может быть, тебе еще пару-тройку косилок подкинуть, ну хотя бы из первой бригады? — вкрадчиво спросил Давыдов.

Дубцов печально завздыхал, а сам смотрел на Давыдова грустно, испытующе и долго. Помедлив с ответом, он вздохнул последний раз, сказал:

— Не откажусь. Старая девка и от кривого жениха не отказывается... Я так разумею: работа наша в колхозе артельная, идет она на общую пользу, и принять помощь от другой бригады не считаю зазорным делом. Верно?

— Разумеешь ты правильно. А косить на чужих лошадях двое суток не зазорное дело?

— На каких-таких чужих? — В голосе Дубцова зазвучало такое неподдельное изумление, что Давыдов с трудом удержал улыбку.

— Будто не знаешь? Кто у Любишкина две пары лошадей с попаса угнал, не знаешь? Счетовод наш, пожалуй, прав: что-то есть у тебя этакое, цыганское: и просить ты любишь, и к чужим лошадкам неравнодушен...

Дубцов отвернулся и презрительно сплюнул:

— Тоже мне — лошади называются! Эти клячи сами к нашей бригаде приблудились, никто их не угонял, а потом — какие же они чужие, ежели принадлежат нашему колхозу?

— Почему же ты сразу не отослал этих кляч в третью бригаду, а дождался, пока их у тебя прямо из косилок выпрягли хозяева?

Дубцов рассмеялся:

— Хороши хозяева! В своей округе двое суток не могли лошадей сыскать! Да разве же это хозяева? Раззявы, а не хозяева! Ну да это дело прошлое, и мы с Любишкиным уже помирились, так что нечего старое вспоминать. А приехал я сюда вовсе не за помощью, а по важному делу. Без особой важности как я мог оторваться от покоса? На худой конец, мы безо всякой помощи управимся и обойдемся своими силами. А эта старая крыца, Михеич-счетовод, сразу меня в цыгана произвел. Считаю — это несправедливо! Мы при самой вострой нужде помощи просим, и то скрозь зубы, иначе нам гордость не позволяет... А что он, этот бедный Михеич, понимает в сельском хозяйстве? На костяшках от счетов он родился, на них и помрет. Ты, Давыдов, дай мне его на недельку в бригаду. Посажу я его на лобогрейку скидать, а сам лошадьми буду править. Я его научу, как работать! Надо же, чтобы у него за всю жизнь хоть разок очки пóтом обмылись!

Полушутливый разговор грозил перейти в ссору, но Давыдов предотвратил ее торопливым вопросом:

— Какое же у тебя важное дело, Агафон?

— Да ведь оно как сказать... Нам оно, конечно, важное, а вот как вы на него поглядите, нам окончательно неизвестно... Одним словом, привез я три заявления, конечно, написанные они чернилом. Выпросили у нашего учетчика огрызок химического карандаша, развели сердечко в кипятке и составили на один лад вот эти самые наши заявления.

Давыдов, уже приготовившийся к тому, чтобы учинить Дубцову жесточайший разнос за «иждивенческие настроения», заинтересованно спросил:

— Какие заявления?

Не обращая внимания на его вопрос, Дубцов продолжал:

— С ними, как я понимаю, надо бы к Нагульнову податься, но его дома не оказалось, он в первой бригаде, вот

и порешил я передать эти бумажки тебе. Не везти же их обратно!

— О чем заявления-то? — нетерпеливо переспросил Давыдов.

Даже и тени недавней игривости не осталось на посерьезневшем лице Дубцова. Он не спеша достал из грудного кармана обломок костяной расчески, зачесал вверх слипшиеся от пота волосы, приосанился и только тогда, сдерживая внутреннее волнение и тщательно подбирая слова, заговорил:

— Хотим все мы, то есть трое нас охотников оказалось на такое дело, хотим в партию вступать. Вот мы и просим нашу гремяченскую ячейку принять нас в нашу большевицкую партию. Долго мы по ночам прикидывали и так и этак, разные прения между собой устраивали, но порешили единогласно — вступать! Перед тем как устраиваться на ночевку, уйдем в степь и начинаем критику один на одного наводить, но все-таки признали один одного к партии годными, а там уж как вы промеж себя порешите, так и будет. Один из нас все упирал на то, что он в белых служил, а я ему говорю: «В белых ты служил подневольным рядовым пять месяцев, а в Красную Армию перебежал добровольно и служил командиром отделения два года, значит, последняя твоя служба побивает первую, и к партии ты пригодный». Другой говорил, будто ты, Давыдов, давно ишо приглашал его в партию, но он отказался тогда из-за приверженности к собственным быкам. А зараз он же и говорит: «Какая тут может быть приверженность, ежели кулацкие сынки за оружие берутся и хотят все на старый лад повернуть. Душевно отрекаюсь от всякой жалости к собственным бывшим быкам и прочей живности и записываюсь в партию, чтобы, как и десять лет назад, стоять за Советскую власть в одном строю с коммунистами». Я тоже такого мнения придерживаюсь, вот мы и написали заявления. По совести сказать, написано у всех не дюже разборчиво, но...— Тут Дубцов скосил глаза на Михеича, закончил: — Но ведь мы на счетоводов и писарей не учились, зато — все, что нацарапали, истинная правда.

Дубцов умолк, еще раз вытер ладонью обильно выступивший на лбу пот и, слегка наклонившись влево, бережно извлек из правого кармана штанов завернутые в газету заявления.

Все это было так неожиданно, что с минуту в комнате стояла тишина. Никто из присутствовавших не проронил

ни слова, но зато каждый из них по-своему воспринял сказанное Дубцовым: счетовод, оторвавшись от очередной сводки, в изумлении вздернул очки на лоб и, не моргая, ошалело уставился на Дубцова подслеповатыми глазами; Яков Лукич, будучи не в силах скрыть хмурую и презрительную улыбку, отвернулся, а Давыдов, просияв радостной улыбкой, откинулся на спинку стула так, что стул заходил под ним ходуном и жалобно заскрипел.

— Прими наши бумаги, товарищ Давыдов.— Дубцов развернул газету, подал Давыдову несколько листков из школьной тетради, исписанных неровными крупными буквами.

— Кто писал заявления? — звонко спросил Давыдов.

— Бесхлебнов Младший, я и Кондрат Майданников.

Принимая заявления, Давыдов со сдержанным волнением сказал:

— Это очень трогательный факт и большое событие для вас, товарищ Дубцов с товарищами Майданниковым и Бесхлебновым, и для нас — членов гремяченской партячейки. Сегодня ваши заявления я передам Нагульнову, а сейчас поезжай в бригаду и предупреди товарищей, что в воскресенье вечером будем разбирать их заявления на открытом партсобрании. Начнем в шесть часов вечера, в школе. Никаких фактических опозданий не должно быть, являйтесь вовремя. Впрочем, ты же за этим и понаблюдаешь. С обеда запрягайте лошадей, которые получше, и в хутор. Да, вот еще что. Кроме арб, какая-нибудь ехалка есть у вас на стану?

— Имеется бричка.

— Ну вот на ней и милости просим в хутор.— Давыдов еще раз как-то по-детски просветленно улыбнулся. Но тут же подмигнул Дубцову: — Чтобы на собрание явились приодетые, как женихи! Такое, браток, в жизни один раз бывает. Это, брат, такое событие. Это, милый мой, как молодость: раз в жизни...

Ему, очевидно, не хватало слов, и он замолчал, явно взволнованный, а потом вдруг встревоженно спросил:

— А бричка-то приличная с виду?

— Приличная, на четырех колесах. Но на ней навоз возить можно, а людям ездить днем нельзя, совестно, только — ночью, в потемках. Вся-то она ободранная, ошарпанная, по годам, я думаю, мне ровесница, а Кондрат говорит, что ее ишо у Наполеона под Москвой наши хуторные казаки отбили...

— Не годится! — решительно заявил Давыдов.— Пришлю за вами дедушку Щукаря на рессорных дрожках. Говорю же, что такое событие один раз в жизни бывает.

Ему хотелось как можно торжественнее отметить вступление в партию людей, которых он любил, в которых верил, и он задумался: что бы еще предпринять такое, что могло бы украсить этот знаменательный день?

— Школу надо к воскресенью обмазать и побелить, чтобы выглядела как новенькая,— наконец сказал он, рассеянно глядя на Островнова.— Подмести около нее и присыпать песком площадку и школьный двор. Слышишь, Лукич? И внутри полы и парты надраить, потолки помыть, комнаты проветрить, словом — навести полный порядок!

— А ежели народу будет так много, что и в школу не влезут все, тогда как? — спросил Яков Лукич.

— Клуб бы соорудить — вот это дело! — задумавшись, вместо ответа мечтательно и тихо сказал Давыдов. Но сейчас же вернулся к действительности: — Детей, подростков на собрание не допускать, тогда все поместятся. А школу все равно надо привести в этакий... ну, сказать, праздничный, что ли, вид!

— А как нам быть с порученцами? Кто за нашу жизню распишется? — перед тем как уходить, задал вопрос Дубцов.

Крепко пожимая ему руку, Давыдов улыбнулся.

— Ты про поручителей говоришь? Найдутся! Сегодня вечером напишем вам рекомендации, факт! Ну, счастливого пути. Передавай от нас привет всем косарям и попроси, чтобы не давали траве перестаиваться и чтобы сено в валках не очень пересыхало. Можно на вторую бригаду надеяться?

— На нас всегда надейся, Давыдов,— с несвойственной ему серьезностью ответил Дубцов и, поклонившись, вышел.

* * *

На другой день рано утром Давыдова разбудил хозяин квартиры:

— Вставай, постоялец, к тебе коннонарочный прибег с поля боя... Устин Беспалый охлюпкой[1] прискакал из третьей бригады, малость избитый и одетый не по форме...

Хозяин ухмылялся во весь рот, но Давыдов спросонья

[1] Охлюпкой — на неоседланной лошади.

не сразу понял, о чем идет речь; приподняв голову от скомканной подушки, невнятно и равнодушно спросил:

— Что надо?

— Гонец, говорю, прискакал к тебе, весь побитый, не иначе — за подмогой...

Наконец-то Давыдов уяснил смысл сказанного хозяином, стал торопливо одеваться. В сенях он поспешно ополоснул лицо не остывшей за ночь, противно теплой водой, вышел на крыльцо.

У нижней приступки, держа в одной руке поводья, а другой замахиваясь на разгоряченную скачкой молодую кобылицу, стоял Устин Рыкалин. Выгоревшая на солнце синяя ситцевая рубаха его была разорвана в нескольких местах до самого подола и держалась на плечах только чудом; левая щека от скулы до подбородка чернела густою синевой, а глаз заплыл багровой опухолью, но правый — блестел возбужденно и зло.

— Где это тебя так угораздило? — с живостью спросил Давыдов, сходя с крыльца и позабыв даже поздороваться.

— Грабеж, товарищ Давыдов! Грабеж, разбой, больше ничего! — хрипло выкрикнул Устин.— Ну, не сукины лисыны — пойти на такое дело, а?! Да стой же ты, клятая богом! — И Устин снова с яростью замахнулся на лошадь, едва не наступившую ему на ногу.

— Говори толком,— попросил Давыдов.

— Толковее и придумать нельзя! Соседи называются, чтоб они ясным огнем сгорели, чтоб их лихоманка растрясла, дармоедов! Как это тебе понравится? Тубянцы, соседи наши, дышло им в рот, нынешнюю ночь воровски приехали в Калинов Угол и увезли не менее тридцати копен нашего сена. На рассвете гляжу — накладывают на две запоздавшие арбы наше собственное, природное сено, а кругом уже — чистота, ни одной копны не видно! Я пал на коня, прискакиваю к ним: «Вы что делаете, такие-разэтакие?! На каком основании наше сено накладываете?!» А один из них, какой на ближней арбе был, смеется, гад: «Было ваше — стало наше. Не косите на чужой земле».— «Как так — на чужой? Повылазило тебе, не видишь, где межевой столб стоит?» А он и говорит: «Ты сам разуй глаза и погляди, столб-то позади тебя стоит. Эта земля спокон веков наша, тубянская. Спаси Христос, что не поленились, накосили нам сенца». Ага, так? Мошенство со столбами учинять? Ну, я его за ногу с арбы сдернул и дал ему разок своей культей промеж глаз, чтобы он зорче глядел и не путал чужую

землю со своей... Дал я ему хорошего раза, он и с копылок долой, неустойчивый оказался на ногах. Тут остальные трое подбежали. Ишо одного я заставил землю понюхать, а там уже дальше мне их некогда было бить, потому что они меня вчетвером били. Да разве же один супротив четырех может устоять? Пока наши подоспели на драку, а они меня уже всего разукрасили, как пасхальное яйцо, и рубаху начисто изуродовали. Ну, не гады ли? Как я теперь к своей бабе покажусь? Ну, пущай били бы, а зачем же за грудки хватать и рубаху с плеч спускать? Теперь куда же мне ее девать? На огородное пугало пожертвовать, так и пугало постесняется в таком рванье стоять, а порвать ее девкам на ленты — носить не станут: не тот матерьял... Ну, разве же не попадется мне один на один в степи какой-нибудь из этих тубянцов! Такой же подсиненный к жене вернется, как и я!

Обнимая Устина, Давыдов рассмеялся:

— Не горюй, рубаха — дело наживное, а синяк до свадьбы заживет.

— До твоей свадьбы? — ехидно вставил Устин.

— До первой в хуторе. Я-то пока еще ни за кого не сватался. А ты помнишь, что тебе дядюшка твой говорил в воскресенье? «У драчливого петуха гребень всегда в крови».

Давыдов улыбался, а про себя думал: «Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за колхозное сено в драку полез, а не за свое личное, собственное. Это же просто трогательный факт!»

Но Устин обиженно отстранился:

— Тебе, Давыдов, хорошо зубы показывать, а у меня все ребра трещат. Ты смешками не отделывайся, а садись-ка верхи и езжай в Тубянской сено выручать. Эти две арбы мы отбили, а сколько они ночью увезли?! За свой грабеж пущай они наше сенцо прямо в хутор к нам доставят, вот это будет по справедливости,— и трудно раздвинул в улыбке распухшие, разбитые в кровь губы: — Вот поглядишь, сено привезут одни бабы, казаки ихние побоятся ехать к нам в гости, а воровать приезжали одни казаки, и подобрались такие добрые ребята, что, когда все четверо начали меня на кулаках нянчить, мне даже тошно стало... Не допускают меня до земли, не дают мне упасть, хучь слезьми умойся! Так с рук на руки и передавали, пока наши не подбегли. Я свою культю тоже не жалел, но ведь сила, говорят, солому ломит.

Устин попробовал еще раз улыбнуться, но только сморщился и рукою махнул:

— Поглядел бы, товарищ Давыдов, на нашего Любишкина и от смеха бы зашелся: бегает он кругом нас, приседает, будто кобель перед тем, как через забор прыгнуть, орет дурным голосом: «Бей их, ребята, в лоскуты! Бей, они на ушибы терпеливые, я их знаю!» А сам в драку не лезет, сдерживает себя. Дядюшка мой Осетров распалился, шумит ему: «Помоги же нам, валух ты этакий! Аль у тебя чирьи на спине?» А Любишкин чуть не плачет и орет ему в ответ: «Не могу! Я же партейный и к тому ишо — бригадир! Бейте их в лоскуты, а я как-нибудь стерплю!» А сам все вокруг нас бегает, приседает и зубами от сдержанности скрипит... Ну, время зря проводить нечего, иди поскорей подзавтракай, а я тем часом конишку какого-нибудь тебе раздобуду, подседлаю, и поедем до бригады вместе. Старики наши сказали, чтобы я без тебя и на глаза к ним не являлся. Мы свое кровное сено дурноедам дарить не собираемся!

Считая вопрос о поездке в Тубянской решенным, Устин привязал кобылу к перилам крыльца, пошел во двор правления. «Надо ехать к Полянице,— подумал Давыдов.— Если сено забрали с его ведома, то ссоры с ним не избежать. Упрям он, как осел, но так или иначе, а ехать надо».

Давыдов наспех выпил кружку парного молока, дожевывая черствый кусок хлеба, увидел, как подскакал к калитке на буланом нагульновском конишке одетый в новую рубашку, необычно проворный Устин.

## ГЛАВА XV

Хотя они встречались в райкоме всего лишь несколько раз и больше знали друг друга понаслышке, председатель тубянского колхоза «Красный луч» Никифор Поляница — двадцатипятитысячник, бывший токарь на одном из металлургических заводов Днепропетровска — принял Давыдова в доме правления колхоза как старого приятеля:

— А-а-а, дорогой товарищ Давыдов! Балтийский морячок! Каким ветром занесло тебя в наш отстающий по всем показателям колхоз? Проходи, садись, дорогим гостем будешь!

Широкое, забрызганное веснушками лицо Поляницы сияло наигранной, хитроватой улыбкой, маленькие черные

глаза блестели кажущейся приветливостью. Чрезмерное радушие встречи насторожило Давыдова, и он, сухо поздоровавшись, присел к столу, неторопливо осмотрелся.

Странно, на взгляд Давыдова, выглядел кабинет председателя колхоза: просторная комната была густо заставлена пропыленными цветами в крашенных охрою кадках и глиняных горшках, между ними сиротливо ютились старенькие венские стулья вперемежку с грязными табуретами; у входа стоял ошарпанный, причудливой формы диван с вылезшими наружу ржавыми пружинами; стены пестрели наклеенными на них картинками из «Нивы» и дешевыми литографиями, изображавшими то крещение Руси в Киеве, то осаду Севастополя, то бой на Шипке, то атаку японской пехоты под Ляояном в войну 1904 года.

Над председательским столом висел пожелтевший портрет Сталина, а на противоположной стене красовалась цветная, засиженная мухами, рекламная картина ниточной фабрики Морозова. На картине бравый тореадор в малиновой курточке, опутав рога взбешенного быка петлею из нитки, одной рукою удерживал вздыбившееся животное, а другой небрежно опирался на шпагу. У ног тореадора лежала огромная, наполовину размотанная катушка белых ниток и на наклейке отчетливо виднелось: «№ 40».

Обстановку кабинета дополнял стоявший в углу большущий, обитый полосами белой жести сундук. Он, по всему вероятию, заменял Полянице несгораемый шкаф: о том, что в сундуке хранились документы первостепенной важности, свидетельствовал размером под стать сундуку огромный начищенный до блеска амбарный замок.

Давыдов не мог не улыбнуться, бегло осмотрев кабинет Поляницы, но тот расценил его улыбку по-своему.

— Как видишь, устроился я с удобствами,— самодовольно сказал он.— Все сохранил от прежнего хозяина-кулака, всю внешность комнаты, только кровать с периной и подушками велел переставить в комнатку уборщицы, а в общем и целом уют сохранил, имей в виду. Никакой казенщины! Никакой официальности! Да, признаться, я и сам люблю домашнюю обстановку и хочу, чтобы люди, заходя ко мне, чувствовали себя без стеснения, как дома. Правильно я говорю?

Давыдов пожал плечами, уклоняясь от ответа, и сразу же перешел к делу:

— У меня к тебе неприятный разговор, сосед.

Маленькие лукавые глазки Поляницы совсем потонули

в мясистых складках кожи и аспидно посверкивали оттуда, словно крохотные кусочки антрацита, густые черные брови высоко поднялись.

— Какие могут быть неприятные разговоры у хороших соседей? Ты меня пугаешь, Давыдов! Всегда мы с тобой, как рыба с водой, и вдруг, нате вам,— неприятные разговоры. Да я и поверить в это не могу! Как хочешь, а я не верю!

Давыдов пристально смотрел в глаза Поляницы, но уловить их выражения так и не смог. Лицо Поляницы было по-прежнему добродушно и непроницаемо, а на губах застыла приветливая спокойная улыбка. Как видно, председатель колхоза «Красный луч» был врожденным артистом, умело владел собою и не менее умело вел игру.

— Сено, наше сено, по твоему указанию увезли сегодня ночью? — без обиняков спросил Давыдов.

Брови Поляницы поднялись еще выше:

— Какое сено, друг?

— Обыкновенное, степное.

— В первый раз слышу! Увезли, говоришь? Наши, тубянцы? Не может быть! Не верю! Стреляй меня, казни меня, но не поверю! Имей в виду, Семен, друг мой, что колхозники «Красного луча» — исключительно честные труженики наших социалистических полей, и твои подозрения оскорбляют не только их, но и меня как председателя колхоза! Прошу тебя, друг, серьезно иметь это в виду.

Скрывая досаду, Давыдов спокойно сказал:

— Вот что, липовый друг, я тебе не Литвинов, а ты мне не Чемберлен, и нам с тобой нечего в дипломатию играться. Сено по твоей указке забрали?

— Опять же, друг, о каком сене идет речь?

— Да ведь это же получается сказка про белого бычка! — возмущенно воскликнул Давыдов.

— Имей в виду, друг, я серьезно спрашиваю: о каком сене ты ведешь разговор?

— О сене в Калиновом Углу. Там наши травокосы рядом, и вы наше сено попросту украли, факт!

Поляница, будто обрадовавшись, что недоразумение так счастливо разрешилось, звучно хлопнул себя ладонями по сухим голеням и раскатисто засмеялся:

— Так ты бы с этого и начинал, дружище! А то заладил одно — сено да сено, а какое сено — вопрос. В Калиновом Углу вы по ошибке или с намерением произвели покос на нашей земле. Мы это сено и забрали на полном и законном основании. Ясно, друг?

— Нет, липовый друг, неясно. Почему же, если это ваше сено, вы увозили его воровски, ночью?

— Это дело бригадира. Ночью для скота, да и для людей работать лучше, прохладнее, наверно, поэтому и возили его ночью. А у вас ночами разве не работают? Напрасно! Ночью, особенно светлой, работать гораздо легче, чем среди дня, в жарищу.

Давыдов усмехнулся:

— Сейчас в аккурат ночи-то темные, факт!

— Ну, знаешь ли, и в темную ночь ложку мимо рта не пронесешь.

— Особенно если в ложке — чужая каша...

— Это ты оставь, друг! Имей в виду, что твои намеки глубоко оскорбляют и честных, вполне сознательных колхозников «Красного луча», и меня как председателя колхоза. Как-никак, но мы труженики, а не мазурики, имей в виду!

Глаза Давыдова сверкнули, но он, все еще сдерживаясь, сказал:

— А ты оставь свои пышные слова, липовый друг, и давай говорить по-деловому. Тебе известно, что три межевых столба весною этого года перенесены в Калиновом Углу по обеим сторонам балки? Твои честные колхозники перенесли их, спрямили линию границы и оттяпали у нас не меньше четырех-пяти гектаров земли. Тебе это известно?

— Друг! Откуда ты это взял? Твоя подозрительность, имей в виду, глубоко оскорбляет ни в чем не повинных...

— Хватит болтать и прикидываться! — прервал Давыдов Поляницу, невольно закипая.— Ты что, считаешь меня за малахольного, что ли? С тобою говорят серьезно, а ты тут спектакли разыгрываешь, обиженным благородством балуешься. Я сам по пути сюда заезжал в Калинов Угол и сам проверил, о чем мне сообщили колхозники: сено увезено, а столбы перенесены, факт! И от этого факта ты никуда не денешься.

— Да я никуда и не собираюсь деваться! Я — вот он, весь тут, бери меня голыми руками, но... перед тем как брать, посмоли их! Посмоли, друг, покрепче руки, а не то я, имей в виду, вывернусь, как налим...

— То, что сделали тубянцы, называется самозахватом, и за это отвечать будешь ты, Поляница!

— Это, друг, еще надо доказать — насчет переноса

межевых знаков. Это, друг, твое голословное утверждение, не больше. А сено у тебя не меченое.

— Волк и меченую овечку берет.

Поляница чуть приметно улыбался, а сам укоризненно качал головой:

— Ай-ай-ай! Уже с волками нас сравниваешь! Говори что хочешь, но я не верю, что столбы мог кто-то вырыть и перенести.

— А ты поезжай и сам проверь. Ведь следы, где прежде стояли знаки, остались? Остались, на том месте и почва рыхлее, и трава пониже, и признаки круглых окопов видны как на ладони, факт! Ну, что ты на это скажешь? А хочешь — давай вместе туда проедем. Согласен? Нет, товарищ Поляница, ты от меня не отвертишься! Так что же, поедем или как?

Давыдов молча курил, ожидая ответа, молчал и Поляница, все так же безмятежно улыбаясь. В заставленной цветами комнате было душно. На окнах бились о мутные стекла и монотонно жужжали мухи. Сквозь прорезь тяжелых, глянцево-зеленых листьев фикуса Давыдов увидел, как на крыльцо вышла молодая, преждевременно и чрезмерно располневшая, но все еще красивая женщина, одетая в старенькую юбчонку и заправленную в нее ночную рубашку с короткими рукавами. Защищая ладонью глаза от солнца, она смотрела куда-то вдоль улицы и, вдруг оживившись, закричала неприятно резким, визгливым голосом:

— Фенька, проклятая дочь, гони телка! Не видишь, что корова из табуна пришла?

Поляница тоже посмотрел в окно на оголенную по самое плечо, полную, молочно-белую руку женщины, на выбившиеся из-под косынки пушистые русые волосы, шевелившиеся под ветром, и почему-то пожевал губами, вздохнул.

— Уборщица тут, при правлении, живет, чистоту соблюдает. Женщина — ничего, но очень уж крикливая, никак не отучу ее от крика... А в поле незачем мне ехать, Давыдов. Ты побывал там, посмотрел, и хватит. И сено я тебе не верну, не верну, вот и весь разговор! Дело это спорное: землеустройство тут проходило пять лет назад, и не нам с тобой разбираться в этой тяжбе между тубянцами и гремяченцами.

— В таком случае — кому же?

— Районным организациям.

— Хорошо, я с тобой согласен. Но земельные споры — само собою, а сено ты верни. Мы его косили, нам оно и принадлежит.

Очевидно, Поляница решил положить конец никчемному, с его точки зрения, разговору. Он уже не улыбался. Пальцы его правой руки, безвольно лежавшей на столе, слегка пошевелились и медленно сложились в кукиш. Указывая на него глазами, Поляница бодро проговорил почему-то на своем родном языке:

— Бачишь, що це такэ? Це — дуля. Ось тоби моя видповидь! А пóкы до побачення, мени треба працюваты. Бувай здоров!

Давыдов усмехнулся:

— Чудаковатый ты спорщик, как посмотрю я на тебя... Неужели слов тебе не хватает, что ты, как базарная баба, мне кукиш показываешь? Это, братишечка, не доказательство! Что же, из-за этого несчастного сена прокурору на тебя жаловаться прикажешь?

— Жалуйся кому хочешь, пожалуйста! Хочешь — прокурору, хочешь — в райком, а сено я не верну и землю не отдам, так и имей в виду,— снова переходя на русский язык, ответил Поляница.

Больше говорить было не о чем, и Давыдов поднялся, задумчиво посмотрел на хозяина.

— Смотрю я на тебя, товарищ Поляница, и удивляюсь: как это ты — рабочий, большевик,— и так скоро по самые уши завяз в мелкособственничестве? Ты вначале, бахвалясь кулацкой обстановкой, сказал, что сохранил внешность этой комнаты, но, по-моему, ты не только внешность кулацкого дома сохранил, но и внутренний душок его, факт! Ты и сам-то за полгода пропитался этим духом! Родись ты лет на двадцать раньше, из тебя непременно вышел бы самый настоящий кулак, фактически тебе говорю!

Поляница пожал плечами, снова утопил в складках кожи остро поблескивающие глазки.

— Не знаю, вышел бы из меня кулак или нет, а вот из тебя, Давыдов, имей в виду, уж наверняка бы вышел если не поп, то обязательно — церковный староста.

— Почему это? — искренне изумился Давыдов.

— Да потому, что ты, бывший морячок, по самые уши залез в религиозные предрассудки. Имей в виду, будь я секретарем райкома,— ты бы у меня положил на стол партбилет за твои штучки.

— За какие штучки? О чем ты говоришь? — Давыдов даже плечи приподнял от удивления.

— Брось притворяться! Ты очень даже понимаешь, о чем я говорю. Мы тут всей ячейкой бьемся против религии, два раза ставили на общеколхозном и на хуторском собраниях вопрос о закрытии церкви, а ты что делаешь? Ты, имей в виду, палки нам в колеса вставляешь, вот чем ты занимаешься!

— Валяй дальше, интересно послушать про палки, которые я тебе вставляю.

— А ты что делаешь? — продолжал Поляница, уже заметно разгорячась.— Ты на колхозных лошадях по воскресеньям старух возишь в церковь молиться, вот что ты делаешь! А мне наши женщины, имей в виду, этим делом по глазам стрекают: «Ты, говорят, такой-сякой, хочешь церковь закрыть и под клуб ее оборудовать, а гремяченский председатель верующим женщинам полное уважение делает и даже на лошадях по праздникам их в церковь возит».

Давыдов невольно расхохотался:

— Так вот о чем речь! Вот в каких религиозных предрассудках, оказывается, я виноват! Ну, это штука не очень страшная!

— Для тебя, может быть, и не страшная, а для нас, имей в виду, хуже и быть не может! — запальчиво продолжал Поляница.— Ты выдабриваешься перед колхозниками, хочешь для всех хорошим быть, а нам в антирелигиозной работе подрыв устраиваешь. Хорош коммунист, нечего сказать! Других в мелкособственнических настроениях уличаешь, а сам черт знает чем занимаешься. Где же твоя политическая сознательность? Где твоя большевистская идейность и непримиримость к религии?

— Подожди, идейный болтун! Ты поосторожнее на поворотах!.. Что значит «выдабриваешься»? Ты знаешь, почему я старух отправил на лошадях? Знаешь, из какого расчета я так поступил?

— А мне плевать на твои расчеты с высокой колокольни! Ты рассчитывай, как умеешь, только не путай наших расчетов в борьбе с поповщиной. Как хочешь, но на бюро райкома я поставлю вопрос о твоем поведении, имей в виду!

— Я, признаться, думал, что ты, Поляница, умнее,— с сожаленьем сказал Давыдов и вышел, не попрощавшись.

## ГЛАВА XVI

Еще по пути в Гремячий Лог Давыдов решил не передавать в районную прокуратуру дело о захвате земли и увозе сена тубянцами. Не хотел он обращаться по этому поводу и в райком партии. Прежде всего надо было точно выяснить, кому же в действительности ранее принадлежала спорная земля в конце Калинова Угла, а тогда уже, сообразно с тем, как решится вопрос, и действовать.

Не без горечи вспоминая разговор с Поляницей, Давыдов мысленно рассуждал: «Ну и фрукт этот любитель цветов и домашнего уюта! Не скажешь, что у него ума палата, никак не скажешь, а с хитринкой, с какой-то простоватой хитринкой, какая бывает у большинства дураков. Но такому палец в рот не клади... Сено увезли, конечно, с его согласия, однако не это главное, а столбы. Не может быть, чтобы их переставили по его распоряжению. На этакое он не пойдет: рискованно. А если он знал о том, что их переставили, но прикрыл глаза? Тогда это уж ни к черту не годится! Колхозу всего полгода, и начинать с захвата соседской земли и воровства — это же в дым разложить колхозников! Это же означает толкать их на прежние обычаи единоличной жизни: ничем не брезговать, любым способом — лишь бы побольше хапнуть. Нет, так дело не пойдет! Как только выясню, что земля именно наша, тем же мигом поеду в райком; пусть там мозги нам вправят: мне — за старух, а Полянице — за вредительское воспитание колхозников».

Под мерную рысцу коня Давыдов стал дремать, и вдруг в смутном тумане дремоты ему ярко представилась толстая женщина, стоявшая на крыльце в Тубянском, и он брезгливо скривил губы, сонно подумал: «Сколько на ней лишнего жира и мяса навешано... В такую жару она, наверное, ходит, как намыленная, факт!» И тотчас же не в меру услужливая память, как бы для сравнения, отчетливо нарисовала перед ним девически стройную, точеную фигуру Лушки, ее летучую поступь и то исполненное непередаваемой прелести движение тонких рук, каким она обычно поправляла прическу, исподлобья глядя ласковыми и насмешливыми, всезнающими глазами... Давыдов вздрогнул, как от неожиданного толчка, выпрямился в седле и, сморщившись, словно от сильной боли, злобно хлестнул коня плетью, пустил его вскачь...

Все эти дни злые шутки играла с ним недобрая память, совершенно некстати — то во время делового разговора, то в минуты раздумья, то во сне,— воскрешая образ Лушки, которую он хотел забыть, но пока еще не мог...

В полдень он приехал в Гремячий. Островнов и счетовод о чем-то оживленно говорили, но как только Давыдов открыл дверь — в комнате, будто по команде, наступила тишина.

Уставший от жары и поездки, Давыдов присел к столу, спросил:

— О чем вы тут спорили? Нагульнов не заходил в правление?

— Нагульнова не было,— помедлив, ответил Островнов и быстро взглянул на счетовода.— Да мы и не спорили, товарищ Давыдов, это вам показалось, а так, вообще, вели разговор о том, о сем, все больше по хозяйству. Что же, отдают нам сено тубянцы?

— Просят еще им приготовить... По твоему мнению, Лукич, чья это земля?

Островнов пожал плечами:

— Кто его знает, товарищ Давыдов, дело темное. Спервоначалу эта земля была нарезана Тубянскому хутору, это ишо до революции было, а при Советской власти верхняя часть Калинова Угла отошла к нам. При последнем переделе, в двадцать шестом году, тубянцов ишо потеснили, а где там проходила граница, я не знаю, потому что моя земля была в другой стороне. Года два назад там косил Титок. Самоуправно косил или потихоньку прикупил эту землицу у кого-нибудь из бедноты — сказать не смогу, не знаю. А чего проще — пригласить районного землеустроителя товарища Шпортного? Он по старым картам сразу разберется, где тянули границу. Он же и в двадцать шестом году проводил у нас землеустройство, кому же знать, как не ему?

Давыдов радостно потер руки, повеселел:

— Вот и отлично! Факт, что Шпортной должен знать, кому принадлежит земля. А я думал, что землеустройство проводила какая-нибудь приезжая партия землемеров. Сейчас же разыщи Щукаря, скажи, чтобы немедленно запрягал в линейку жеребцов и ехал в станицу за Шпортным. Я напишу ему записку.

Островнов вышел, но минут чрез пять вернулся, улыбаясь в усы, поманил Давыдова пальцем:

— Пойдемте на сеновал, поглядите на одну чуду...

Во дворе правления, как и повсюду в хуторе, стояла та полуденная безжизненная тишина, какая бывает только в самые знойные летние дни. Пахло вянущей под солнцем муравой, от конюшни несло сухим конским пометом, а когда Давыдов подошел к сеновалу, в ноздри ему ударил такой пряный аромат свежескошенной, в цвету, чуть подсохшей травы, что на миг ему показалось, будто он — в степи, возле только что сметанного душистого прикладка сена.

Осторожно открыв одну половинку двери, Яков Лукич посторонился, пропустил вперед Давыдова, сказал вполголоса:

— Полюбуйтесь-ка на этих голубей. Сроду и не подумаешь, что час назад они бились не на живот, а на смерть. У них, видать, перемирие бывает, когда спят...

Первую минуту, пока глаза не освоились с темнотой, Давыдов ничего не видел, кроме прямого солнечного луча, сквозь отверстие в крыше вонзавшегося в верхушку небрежно сложенного посреди сарая сена, а потом различил фигуру спавшего на сене деда Щукаря и рядом с ним — свернувшегося в клубок Трофима.

— Все утро дед за козлом с кнутом гонялся, а зараз, видите, вместе спят,— уже громко заговорил Яков Лукич.

И дед Щукарь проснулся. Но не успел он приподняться на локте, как Трофим, пружинисто оттолкнувшись от сена всеми четырьмя ногами, прыгнул на землю, нагнул голову и многообещающе и воинственно несколько раз тряхнул бородой.

— Видали, добрые люди, каков черт с рогами? — вялым, расслабленным голосом спросил Щукарь, указывая на изготовившегося к бою Трофима.— Всю ночь, как есть напролет, шастался он тут по сену, копырялся, чихал, зубами хрустел. И на один секунд не дал мне уснуть, проклятый! Утром до скольких разов сражались с ним, а зараз, пожалуйста, примостился рядом спать, нелегкая его принесла мне под бок, а разбудили его — на драку, анафема, готовится. Это как можно мне при таком преследовании жить? Тут дело смертоубивством пахнет: либо я его когда-нибудь жизни решу, либо он меня под дыхало саданет рогами, и поминай как звали дедушку Щукаря! Одним словом, добром у нас с этим рогатым чертом дело не кончится, быть в этом дворе покойнику...

В руках Щукаря неожиданно появился кнут, но не успел он взмахнуть им, как Трофим в два прыжка очутился в темном углу сарая и, вызывающе постукивая копытцем,

светил оттуда на Щукаря фосфорически сверлящими глазами. Старик отложил в сторону кнут, горестно покачал головой.

— Видали, какая ушлая насекомая? Только кнутом от него и спасаюсь, и то не всегда, потому что он, анафема, подкарауливает меня там, где его, проклятого, сроду не ждешь! Так круглые сутки и не выпускаю кнута из рук. Никакого развороту мне от этого козла нету! Что ни самое неподходящее место — там и жди его. К придмеру взять хотя бы вчерашний день: понадобилось мне пойти в дальний угол за сарай по великой, неотложной нужде, поглядел кругом — козла нету. «Ну, думаю, слава богу, отдыхает чертов Трофим где-нибудь в холодке или пасется за двором, травку щипает». Со спокойной душой отправился я за сарай и только что угнездился как полагается, а он, проклятый, тут как тут, подступает ко мне шажком, голову скособочил и уже норовит кинуться и вдарить меня в бок. Хочешь не хочешь, а пришлось вставать... Прогнал я его кнутом и только что сызнова пристроился, а он опять выворачивается из-за угла... До скольких разов он этак на меня искушался! Так и перебил охоту. Да разве же это жизня? У меня ревматизьма в ногах, и я не молоденький, чтобы приседать и вставать до скольких разов, как на солдатском ученье. У меня от этого дрожание в ногах получается и в поясницу колики вступают. Я из-за этого Трофима, можно сказать, последнего здоровья лишаюсь и, очень даже просто, могу в отхожем месте помереть! Бывало-то, орлом я сидеть мог хоть полсуток, а теперь впору просить кого-нибудь, чтобы под мышки меня держали... Вот до какой срамоты довел меня этот проклятущий Трофим! Тьфу!

Щукарь ожесточенно сплюнул и, шаря в сене руками, долго что-то бормотал и чертыхался.

— Надо, дед, жить по-культурному, уборной пользоваться, а не скитаться за сараями,— посмеиваясь, посоветовал Давыдов.

Щукарь грустно взглянул на него, безнадежно махнул рукой.

— Не могу! Душа не позволяет. Я тебе не городской житель. Я всею жизню привык на воле нужду править, чтобы, значит, ветерком меня кругом обдувало! Зимой, в самый лютый мороз, и то меня в катух не загонишь, а как в ваше нужное помещение зайду, меня от тяжелого духа мороком шибает, того и гляди, упаду.

— Ну, тут уже я тебе ничем помочь не могу. Устраивай-

ся как знаешь. А сейчас запрягай в линейку жеребцов и поезжай в станицу за землемером. Нужен он нам до зарезу. Лукич, ты знаешь, где живет на квартире Шпортной?

Не получив ответа, Давыдов оглянулся, но Островнова и след простыл: по опыту зная, как долги бывают сборы Щукаря, он пошел на конюшню запрягать жеребцов.

— В станицу смотаться в один секунд могу, это мне — пара пустяков,— заверил дед Щукарь.— Но вот ты растолкуй мне один вопрос, товарищ Давыдов: почему это всякая предбывшая кулацкая животина, вся, как есть,— характером в своих хозяев, то есть ужасная зловредная и хитрая до последних возможностев? Взять хотя бы этого супостата Трофима: почему он ни разу не поддал под кобчик, ну, скажем, Якову Лукичу, а все больше на мне упражняется? Да потому, что он в нем свою кулацкую родню унюхал, вот он его и не трогает, а на мне всю злобу вымещает.

Или возьмем любую кулацкую корову: сроду она колхозной доярке столько молока не даст, как своей любезной раскулаченной хозяйке давала. Ну, это сказать, и правильно: хозяйка ее кормила и свеклой, и помоями, и протчими фруктами, а доярка кинет ей шматок сухого, прошлогоднего сена и сидит, дремлет под выменем, молока дожидается.

А возьми ты любого кулацкого кобеля: почему он на одну бедноту кидается, какая в рванье ходит? Ну, хотя бы, скажем, на меня? Вопрос сурьезный. Я спросил насчет этого у Макара, а он говорит: «Это — классовая борьба». А что такое классовая борьба — не объяснил, засмеялся и пошел по своим делам. Да на черта же она мне нужна, эта классовая борьба, ежли по хутору ходишь и на каждого кобеля с опаской оглядываешься? На лбу же у него не пропечатано: честный он кобель или раскулаченной сословности? А ежли он, кулацкий кобель, мой классовый враг, как объясняет Макар, то что я должен делать? Раскулачивать его! А как ты, к придмеру, будешь его раскулачивать, то есть с живого с него шубу сымать? Никак невозможно! Он с тебя скорее шкуру за милую душу спустит. Значит, вопрос ясный: сначала этого классового врага надо на шворку, а потом уж и шубу с него драть. Я предложил надысь Макару такое предложение, а он говорит: «Этак ты, глупый старик, половину собак в хуторе перевешаешь». Только кто из нас с ним глупой — это неизвестно, это ишо вопрос. По-моему, Макар трошки с глупинкой, а не я... Заготсырье принимает на выделку собачьи шкуры? Прини-

мает! А по всей державе сколько раскулаченных кобелей мотается без хозяев и всякого присмотра? Мильёны! Так ежли с них со всех шкуры спустить, потом кожи выделать, а из шерсти навязать чулков, что получится? А то получится, что пол-России будет ходить в хромовых сапогах, а кто наденет чулки из собачьей шерсти — на веки веков вылечится от ревматизьмы. Про это средство я ишо от своей бабушки слыхал, надежнее его и на свете нету, ежли хочешь знать. Да об чем там толковать, я сам страдаю ревматизьмой, и только собачьи чулки меня и выручают. Без них я бы давно уже раком лазил.

— Дед, ты думаешь сегодня в станицу ехать? — поинтересовался Давыдов.

— Вполне думаю, только ты меня не перебивай и слухай дальше. А вот как пришла ко мне эта великая мысля насчет выделки собачьих шкур — я двое суток подряд не спал, все обмозговывал: какая денежная польза от этой моей мысли государству и, главное дело, мне получится? Не будь у меня дрожания в руках, я бы сам написал в центру, глядишь, что-нибудь и клюнуло бы, что-нибудь и вышло бы мне от власти за мое умственное усердие. А потом порешил рассказать все Макару. Я — не жадный. Пришел, все как есть ему выложил и говорю: «Макарушка! Я — старый человек, мне всякие капиталы и награды ни к чему, а тебя хочу на всю жизнь осчастливить: ты пропиши про мою мыслю центральной власти и получишь такой же орден, какой тебе за войну дали. Ну, а ежли к этому ишо деньжонок тебе отвалят — мы их с тобой располовиним, как и полагается. Ты, ежли хочешь, проси себе орден, а мне — лишь бы на корову-первотелку али хотя бы на телушку-летошницу деньжат перепало, и то буду довольный».

Другой бы на его месте в ноги мне кланялся, благодарил. Ну, Макарушка и возблагодарил... Эх, как вскочит со стулы! Как пужнет меня матом! «Ты,— шумит на меня,— чем ни больше стареешь, тем больше дуреешь! У тебя заместо головы порожний котелок на плечах!» А сам за каждым словом — и так, и перетак, и разэтак, и вот так,— муха не пролетит! Это он мне-то насчет ума закинул! Уж чья бы корова мычала, а его — молчала! Тоже мне умник нашелся! И сам не «ам» и другому не дам. Я сижу, дожидаюсь, когда у него во рту пересохнет, думаю про себя: «Пущай попрыгает, а все одно тем же местом на стулу сядет, каким и раньше сидел».

Как видно, уморился мой Макарушка ругаться, сел и спрашивает: «Хватит с тебя?» Тут уж я осерчал на него, хотя мы с ним и темные друзья. «Ежли,— говорю ему,— ты упыхался, то отдохни и начинай сызнова, я подожду, мне не к спеху. А только чего ты сдуру ругаешься, Макарушка? Я тебе же добра желаю. Тебя за такую мыслю по всей России в газетках пропечатают!» Но тут он хлопнул дверью и выскочил из хаты, как, скажи, я ему кипятку в шаровары плеснул!

Вечером пошел я к учителю Шпыню, посоветоваться, он все-таки человек ученый. Рассказал ему все, на Макара пожалился. Но все эти ученые, по-моему, люди с придурью, даже дюже с придурью! Знаешь, что он мне сказал? Ухмыляется и говорит: «Все великие люди терпели гонения за свои мысли, терпи и ты, дедушка». Утешил, называется! Хлюст он, а не учитель! Что мне толку в терпении? Корова-то почти в руках была, а не пришлось даже коровьего хвоста повидать... И все через Макарову супротивность! Приятелем тоже считается, чтоб ему пусто было! А тут через него же и дома одно неудовольствие... Старухе-то я нахвалился, что, может, господь бог пошлет нам коровку за мое умственное усердие. Как же, послал, держи карман шире! А старуха меня, как ножовкой, пилит! «Где же твоя корова? Опять набрехал?» Приходится и от нее терпеть разные гонения. Раз уж всякие великие люди терпели, то мне и вовсе бог повелел...

Так и пропала моя хорошая мысля ни за понюшку табаку... А что поделаешь? Выше кое-чего не прыгнешь...

Давыдов, прислонясь к дверному косяку, беззвучно смеялся, а Щукарь, немного успокоившись, стал не спеша обуваться и, уже не обращая на Давыдова никакого внимания, самозабвенно продолжал рассказ:

— А собачьи чулки — от ревматизьмы вернеющее средство! Я сам в них всю зиму проходил, ни разу не снял, и хучь ноги к весне начисто сопрели, хучь старуха моя до скольких разов по причине собачьей вони меня из хаты выгоняла, а от ревматизьмы я вылечился и целый месяц ходил с переплясом, как молодой кочет возле курицы. А какой из этого толк вышел? Никакого! Потому что опять с дурна ума весною промочил ноги, ну и готов, спекся! Но это — до поры до времени; эта болезня меня не дюже пужает. Как только поймаю какого-нибудь смирного и лохматого кобеля, остригу его, и опять ревматизьму с меня будто рукой сымет! Зараз видишь, как я хожу-переступаю? Как

мерин, какой ячменя обожрался, а поношу чулки целебные — и опять хучь впору плясать за молодого. Беда только в том, что моя старуха отказывается прясть собачью шерсть и вязать из нее мне чулки. У нее от собачьего духа кружение в голове делается, и начинает она за прялкой слюной давиться. Поначалу она икает, икает, потом давится, давится, а под конец так сдурнит ее, что всю как есть, наизнанку вывернет и перелицует. Так что, бог с ней, я ее не понуждаю на такую работу. Сам я и мыл шерсть, сам просушивал на солнышке, сам и прял, и чулки вязал. Нужда, брат, заставит всякой пакости выучиться...

Но это ишо не беда, а полбеды, а беда в том, что старуха моя — чистый аспид и василиска! Позапрошлый год летом одолела меня ломота в ногах. Что делать? Тут и вспомнил я про собачьи чулки. И вот как-то утром заманил я в сенцы соседскую сучонку, сухарями заманил, и остриг ее догола, как заправский цирюльник. Только на ушах по пучку шерсти оставил — для красоты, да на конце хвоста — чтобы было ей чем от мух отбиваться. Не поверишь, с полпуда шерсти с нее настриг!

Давыдов закрыл ладонями лицо, простонал, задыхаясь от смеха:

— Не много ли?

Но и более каверзные вопросы никогда не ставили деда Щукаря в тупик. Он небрежно пожал плечами и великодушно пошел на уступку:

— Ну, может, трошки поменьше, фунтов десять — двенадцать, я же ее на весах не важил. Только такая эта сучка была шерстяная, ну, чисто шлёнская овца![1] Думал, мне шерсти с нее до конца дней на чулки хватит, так нет же, только одну пару и успел связать, а до остальной старуха добралась и всю до нитки спалила на дворе. У меня не старуха, а лютая тигра! По зловредию она ничуть не уступит вот этому треклятому козлу, она да Трофим — два сапога пара, истинный бог, не брешу! Одним словом, спалила она весь мой запас и разорила меня начисто! А я на эту сучонку, чтобы она стояла смирно, когда ее стриг, огромадную сумку сухарей стравил, вон оно какое дело...

Но только и сучонке этой не повезло: вырвалась она от меня после стрижки и вроде довольная была, что облегчил я ее от лишней шерсти, даже хвостом с кисточкой помахала от удовольствия, а потом — опрометью кинулась к речке,

[1] Шлёнская овца — из породы мериносовых.

да как глянула на свою отражению в воде — и завыла от стыда... После мне говорили люди, что она по речке бродила: не иначе — хотела утопиться от позора. Но ведь в нашей речке воды воробью по колено, а в колодезь она кинуться не догадалась, ума не хватило. Да и что с нее спросишь? Как-никак — животная, или, сказать, насекомая: умишко-то куцый, не то что у человека...

Трое суток сподряд она выла под соседским амбаром, душу из меня вынала своим воем, а из-под амбара не вылазила,— значит, совесть ее убивала, стеснялась на люди показаться в таком виде. И так-таки скрылась из хутора, с глаз долой, до самой осени пропадала, а как только сызнова обросла шерстью — опять объявилась у хозяина. Такая стыдливая сучонка оказалась, стыдливей иной бабы, видит бог, не брешу!

С той поры я и порешил: ежли придется мне ишо раз стричь какую-нибудь псину, то сучонок не трогать, не лишать их верхней одежи и в женский стыд не вводить, а выбирать кого-нибудь из кобелей: ихняя шатия не дюже стыдливая, любого хучь бритвой оскобли — он и ухом не поведет.

— Ты скоро закончишь свои басни? — прервал Щукаря Давыдов.— Тебе же ехать надо. Поторапливайся!

— Сей момент! Зараз обуюсь и — готов. Только ты меня не перебивай за-ради Христа, а то у меня мысля вильнет в сторону, и я забуду, об чем речь шла. Так вот я и говорю: Макарушка меня вроде за глупо́го считает, а дюже он ошибается! Молодой он супротив меня, мелко плавает, и все ягоды у него наруже, а меня, старого воробья, на пустой мякине не проведешь, нет, не проведешь! Ему, Макару-то, самому не грех у меня ума занять. То-то и оно.

На деда Щукаря накатил очередной приступ словоохотливости. Щукарь «завелся», как говорил Размётнов, и теперь остановить его было не только трудно, но почти невозможно. Давыдов, всегда относившийся к неудачливому в жизни старику с доброй предупредительностью, с чувством, почти граничащим с жалостью, на этот раз все же решился прервать его повествование:

— Подожди, дед, уймись! Тебе срочно надо ехать в станицу, привезти землемера Шпортного. Знаешь ты его?

— Я в станице не токмо твоего Шпортного, а и всех собак наперечет знаю.

— По собакам ты специалист, факт! Но мне Шпортной нужен. Понятно?

— Привезу, сказал тебе, доставлю, как невесту к венцу, и точка. Только ты меня не перебивай. И что у тебя за вредная привычка перебивать человека? Ты, Давыдов, хуже Макарушки становишься, ей-богу! Ну, Нагульнов хоть Тимошку застрелил, он геройский казак, он и пущай меня перебивает, я его все одно уважаю. А ты что такого геройского сотворил? За что я тебя должен уважать? То есть окончательно не за что! Застрели ты из ливольверта вот этого черта, козла, какой мне всею жизню испоганил, и я за тебя до смерти буду богу молиться, и уважать тебя буду не хуже, чем Макара. А Макар — герой! Он все науки превзошел и зараз áнглицкий язык назубок изучает; он во всем разбирается не хуже меня, даже в кочетином пении он первый знахарь. Он и Лушку прогнал от себя, а ты ее сдуру приголубил, и Тимошку, вражину, с одной пули прилаская...

— Да обувайся ты скорее! Чего ты возишься? — в нетерпении воскликнул Давыдов.

Дед Щукарь, кряхтя и ворочаясь на сене, буркнул:

— Ремешки на чириках завязываю, не видишь, что ли? В потемках черт их завяжет!

— Да ты выйди на свет!

— Как-нибудь завяжу и тут. Да-а-а, так вот какой он, мой Макарушка. Он не токмо сам учится, но и меня норовит обучать...

— Чему же это? — улыбаясь, спросил Давыдов.

— Разным наукам,— уклончиво ответил дед Щукарь, Ему явно не хотелось вдаваться в подробности, и он неохотно повторил: — Говорю, что разным наукам. Понятно тебе? По иностранным словам я зараз вдарился. Это тебе как?

— Ничего не понимаю. По каким иностранным словам?

— А раз ты такая бестолочь, то нечего и спрашивать,— уже с досадой проговорил дед Щукарь и обиженно засопел, открыто выказывая недовольство столь назойливыми вопросами.

— Иностранные слова тебе нужны, дед, как мертвому припарки. Ты собирайся попроворнее,— по-прежнему улыбаясь, попросил Давыдов.

Щукарь фыркнул, как рассерженный кот:

— Попроворнее! Скажет тоже! Проворность нужна, когда блох ловишь да когда от чужой жены ночью бежишь, а за тобой ее муж гонится, на пятки наступает... Кнута вот никак не найду, зараза его возьми! Только что в руках

держал, и вот он как сквозь землю провалился, а без кнута я и шагу ступить боюсь из-за козла... Слава богу, нашел! А картуз где? Ты его не видал, товарищ Давыдов, моего картуза? Он же у меня в головах лежал... Эка память-то, не лучше худого решета стала... Ну, слава богу, нашел и картуз, теперь вот только зипун найти, и я готовый. Ах, нечистый дух, Трофим! Не иначе — он его в сено затолочил, теперь ищи его до ночи... Вспомнил! Зипун-то у меня дома остался... Да и на что он мне нужен в такую жару? Зачем бы я его сюда приносил?

Давыдов выглянул в дверь, увидел, как Островной взважживает запряженных в линейку жеребцов и ласково оглаживает их, что-то тихонько приговаривая.

— Яков Лукич уже запрег, а ты все собираешься! Когда ты перестанешь возиться, старый копун? — сердито воскликнул Давыдов.

Дед Щукарь громко и длинно выругался.

— Такой лихой день, язви его в душу! По-настоящему и ехать-то в станицу не надо бы. Приметы никудышние! Ить, скажи на милость, картуз разыскал, а теперь кисет куда-то запропастился. К добру это? То-то и есть, что не к добру. Быть в дороге какой-нибудь беде, не иначе... Вот оказия, не найду кисета, и крышка! Не Трофим же его проглотил? Ну, слава богу, сыскал-таки и кисет, теперь можно ехать... А может, отложим поездку до завтрева? Уж дюже приметы поганые... А в Священном писании,— забыл, какая глава от Матфея,— ну, да черт с ней, какая бы ни была, но не зря сказано: «Ежли ты, путник, собрался в дорогу и углядел плохие приметы, то сиди дома и ни хрена не рыпайся». Вот теперь ты, товарищ Давыдов, и решай ответственно: ехать мне нынче или нет?

— Езжай, дед, сейчас же! — строго приказал Давыдов.

Щукарь, вздыхая, но не прекословя, на спине сполз с сена и, старчески шаркая ногами, волоча за собою кнут и боязливо оглядываясь на затаившегося в темном углу козла, пошел к выходу.

## ГЛАВА XVII

С грехом пополам выпроводив деда Щукаря, Давыдов решил пойти в школу и на месте определить, что еще можно сделать, чтобы школьное помещение к воскресенью приняло праздничный вид. А кроме того, ему хотелось поговорить

с заведующим и вместе с ним прикинуть, сколько и каких строительных материалов потребуется на ремонт школы и когда приступать к нему, чтобы без особой спешки и возможно добротнее отремонтировать здание к началу учебного года.

Только в последние дни Давыдов ощутимо почувствовал, что настает самая напряженная рабочая пора за все время его пребывания в Гремячем Логу: еще не управились с покосом травы, а уже подходила уборка хлеба, на глазах начинала смуглеть озимая рожь; почти одновременно с ней вызревал ячмень; бурно зарастали сорняки и молчаливо требовали прополки невиданно огромные, по сравнению с единоличными полосами, колхозные деляны подсолнечника и кукурузы, и уже не за горами был покос пшеницы.

До начала уборки хлебов многое надо было сделать: перевезти в хутор возможно больше сена, подготовить тока для обмолота, закончить переноску в одно место амбаров, ранее принадлежавших кулакам, наладить единственную в колхозе паровую молотилку. Да и помимо этого изрядное число больших и малых забот легло на плечи Давыдова, и каждое дело настойчиво требовало к себе постоянного и неусыпного внимания.

По старым, скрипучим ступенькам Давыдов поднялся на просторное крыльцо школы. У дверей босая и плотная, как сбитень, девочка лет десяти посторонилась, пропуская его.

— Ты ученица, милая? — ласково спросил Давыдов.

— Да,— тихо ответила девочка и смело снизу вверх взглянула на Давыдова.

— Где тут живет ваш заведующий?

— Его нет дома, они с женой за речкой, на огороде капусту поливают.

— Экая незадача... А в школе кто-нибудь есть?

— Наша учительница, Людмила Сергеевна.

— Что же она тут делает?

Девочка улыбнулась:

— Она с отстающими ребятами занимается. Она каждый день с ними занимается после обеда.

— Значит, подтягивает их?

Девочка молча кивнула головой.

— Порядок! — одобрительно сказал Давыдов и вошел в полутемные сени.

Откуда-то из глубины длинного коридора доносились детские голоса. Неторопливо обходя и по-хозяйски осмат-

ривая пустые классы, Давыдов через приоткрытую дверь в последней комнате увидел с десяток маленьких ребятишек, просторно разместившихся в переднем ряду сдвинутых парт, и около них — молоденькую учительницу. Невысокого роста, худенькая и узкоплечая, с коротко подстриженными белесыми и кудрявыми волосами, она походила скорее на девочку-подростка, нежели на учительницу.

Давненько уже не переступал Давыдов порога школы, и теперь странное чувство испытывал он, стоя возле двери класса, сжимая в левой руке выгоревшую на солнце кепку. Что-то от давнего уважения к школе, некое сладостное волнение, навеянное мгновенным воспоминанием о далеких годах детства, пробудилось в его душе в эти минуты...

Он несмело открыл дверь и, покашливая вовсе не оттого, что першило в горле, негромко обратился к учительнице:

— Разрешите войти?

— Войдите,— прозвучал в ответ тонкий девичий голос.

Учительница повернулась лицом к Давыдову, удивленно приподняла брови, но, узнав его, смущенно сказала:

— Входите, пожалуйста.

Давыдов неловко поклонился.

— Здравствуйте. Вы извините, что помешал, но я на одну минутку... Мне бы осмотреть вот этот последний класс, я — насчет ремонта школы. Я могу обождать.

Дети встали, нестройно ответили на приветствие, и Давыдов, взглянув на девушку, тотчас подумал: «Я — как прежний попечитель школы из строгих толстосумов... Вот и учителька испугалась, краснеет. Надо же было мне заявиться в этот час!»

Девушка подошла к Давыдову.

— Проходите, пожалуйста, товарищ Давыдов! Через несколько минут я закончу урок. Присядьте, пожалуйста. Может быть, позвать Ивана Николаевича?

— А кто это?

— Наш заведующий школой — Иван Николаевич Шпынь. Разве вы его не знаете?

— Знаю. Не беспокойтесь, я обожду. Можно мне побыть здесь, пока вы занимаетесь?

— Ну конечно! Садитесь, товарищ Давыдов.

Девушка смотрела на Давыдова, говорила с ним, но все еще никак не могла оправиться от смущения; она мучительно краснела, даже ключицы у нее порозовели, а уши стали пунцовыми.

Вот чего не переносил Давыдов! Не переносил уже по одному тому, что, глядя на какую-нибудь краснеющую женщину, он почему-то и сам начинал краснеть, и от этого всегда испытывал еще большее чувство смущения и неудобства.

Он сел на предложенный ему стул около небольшого столика, а девушка, отойдя к окну, стала раздельно диктовать ученикам:

— Ма-ма го-то-вит... Написали, дети? Го-то-вит нам о-бед. После слова «обед» поставьте точку. Повторяю...

Вторично написав предложение, ребятишки с любопытством уставились на Давыдова. Он с нарочитой важностью провел пальцами по верхней губе, делая вид, будто разглаживает усы, и дружески подмигнул ребятам. Те заулыбались; добрые отношения начали будто бы налаживаться, но учительница снова стала диктовать какую-то фразу, привычно разбивая слова на слоги, и ребятишки склонились над тетрадями.

В классе пахло солнцем и пылью, застойным воздухом редко проветриваемого помещения. Теснившиеся у самых окон кусты сирени и акации не давали прохлады. Ветер шевелил листья, и по выщербленному полу скользили солнечные зайчики.

Сосредоточенно сдвинув брови, Давыдов занялся подсчетом: «Надо не меньше двух кубометров сосновых досок — заменить кое-где половицы. Рамы в окнах хорошие, а двойные — в каком виде и есть ли они, надо узнать. Купить ящик стекла. Наверное, нет в запасе ни одного листа, а чтобы ребята не колотили стекла — это же невозможное дело, факт! Хорошо бы добыть свинцовых белил, а вот сколько этого добра пойдет на покраску потолков, наличников, рам и дверей? Уточнить у плотников. Крыльцо заново настелить. Можно из своих досок: распилил две вербы — и готово. Ремонт нам влезет в копеечку... Дровяной сараишко заново покрыть соломой. Да тут до черта делов, факт! Закончим с амбарами — и сразу же переброшу сюда всю плотницкую бригаду. Крышу бы на школе заново покрасить... А где деньги? Разобьюсь в доску, но для школы добуду! Факт! Да оно и разбиваться ни к чему: продадим пару выбракованных быков — вот и деньги. Придется из-за этих быков с райисполкомом бой выдержать, иначе ничего не выйдет... А худо мне будет, если продать их тайком. Но все равно рискну. Неужели Нестеренко не поддержит?»

Давыдов достал записную книжку, написал: «Школа. Доски, гвозди, стекло — ящик. Парижская зелень на крышу. Белила. Олифа...»

Хмурясь, дописывал он последнее слово, и в это время пущенный из трубки маленький влажный шарик разжеванной бумаги мягко щелкнул его по лбу, прилип к коже. Давыдов вздрогнул от неожиданности, и тотчас же кто-то из ребятишек прыснул в кулак. Над партами прошелестел тихий смешок.

— Что там такое? — строго спросила учительница.

Сдержанное молчание было ей ответом.

Отлепив шарик со лба, улыбаясь, Давыдов бегло осмотрел ребят: белесые, русые, черные головки низко склонились над партами, но ни одна загорелая ручонка не выводила букв...

— Закончили, дети? Теперь пишите следующее предложение...

Давыдов терпеливо ждал, не сводя смеющихся глаз со склоненных головок. И вот один из мальчиков медленно, воровато приподнял голову, и Давыдов прямо перед собою увидел старого знакомого: не кто иной, как сам Федотка Ушаков, которого он однажды весною встретил в поле, смотрел на него узенькими щелками глаз, а румяный рот его расползался в широчайшей, неудержимой улыбке. Давыдов глянул на плутовскую рожицу и сам чуть не рассмеялся вслух, но, сдержавшись, торопливо вырвал из записной книжки чистый лист, сунул его в рот и стал жевать, быстро взглядывая на учительницу и озорно подмигивая Федотке. Тот смотрел на него во все глаза, но, чтобы не выдать улыбки, прикрыл рот ладошкой.

Давыдов, наслаждаясь Федоткиным нетерпением, тщательно и не спеша скатал бумажный мякиш, положил его на ноготь большого пальца левой руки, зажмурил левый глаз, будто бы прицеливаясь. Федотка надул щеки, опасливо вобрал голову в плечи,— как-никак шарик был не маленький и увесистый... Когда Давыдов, улучив момент, легким щелчком послал шарик в Федотку, тот так стремительно нагнул голову, что гулко стукнулся лбом о парту. Выпрямившись, он уставился на учительницу, испуганно вытаращил глазенки, стал медленно растирать рукой покрасневший лоб, а Давыдов, беззвучно трясясь от смеха, отвернулся и по привычке закрыл ладонями лицо.

Разумеется, поступок его был непростительным ребячеством и надо было соображать, где он находится. Овладев

собою, он с виноватой улыбкой покосился на учительницу, но увидел, что она, отвернувшись к окну, также пыталась скрыть смех. Худенькие плечи ее вздрагивали, а рука со скомканным платочком тянулась к глазам, чтобы вытереть выступившие от смеха слезы.

«Вот тебе и строгий попечитель...— подумал Давыдов.— Нарушил весь урок. Надо отсюда смываться».

Сделав серьезное лицо, он взглянул на Федотку. Живой, как ртуть, мальчишка уже нетерпеливо ерзал за партой, показывая пальцем себе в рот, а потом раздвинул губы: там, где некогда у него была щербатина,— торчали два широких, иссиня-белых зуба, еще не выросших в полную меру и с такими трогательными зубчиками по краям, что Давыдов невольно усмехнулся.

Он отдыхал душой, глядя на детские лица, на склоненные над партами разномастные головки, невольно отмечая про себя, что когда-то, очень давно, и он вот так же, как Федоткин сосед по парте, имел привычку, выводя буквы или рисуя, низко клонить голову и высовывать язык, каждым движением его как бы помогая себе в нелегком труде. И опять как и весною при первом знакомстве с Федоткой, он со вздохом подумал: «Легче вам, птахи, жить будет, да и сейчас легче живется, а иначе за что же я воевал? Уж не за то ли, чтобы и вы хлебали горе лаптем, как мне в детстве пришлось?»

Из мечтательного настроения его вывел все тот же Федотка: словно на шарнирах вертясь за партой, он привлек внимание Давыдова, знаками настойчиво прося показать, как у того обстоит дело с зубом. Давыдов улучил момент, когда учительница отвернулась, и, огорченно разводя руками, обнажил зубы. Увидев знакомую щербатину во рту Давыдова, Федотка прыснул в ладошки, а потом с величайшим самодовольством заулыбался. Весь его торжествующий вид красноречивее всяких слов говорил: «Вот как я тебя обставил, дядя! У меня-то зубы выросли, а у тебя — нет!»

Но через минуту произошло такое, о чем Давыдов и долгое время спустя не мог вспоминать без внутреннего содрогания. Расшалившийся Федотка, снова желая привлечь к себе внимание Давыдова, тихонько постучал о парту, а когда Давыдов рассеянно взглянул на него,— Федотка, важно откинувшись, полез правой рукой в карман штанишек, вытащил и опять быстро сунул в карман ручную гранату-«лимонку». Все это произошло так мгновенно,

что Давыдов в первый момент только ошалело заморгал, а бледнеть начал уже после...

«Откуда у него?! А если капсюль вставлен?! Стукнет по сиденью, и тогда... О, черт тебя, что же делать?!» — с жарким ужасом думал он, закрыв глаза и не чувствуя, как пот прохладной испариной выступил у него на лбу, на подбородке, на шее.

Надо было что-то немедленно предпринять. Но что? Встать и попытаться силой отобрать гранату? А если мальчишка испугается, рванется из рук и еще, чего доброго, успеет швырнуть гранату, не зная, что за этим последует его и чужая смерть... Нет, так делать не годится. Давыдов решительно отверг этот вариант. Все еще не открывая глаз, он мучительно искал выхода, торопил мысль, а воображение помимо его воли услужливо рисовало желтую вспышку взрыва, дикий короткий вскрик, изуродованные детские тела...

Только теперь он ощутил, как медленно стекают со лба капельки пота, скользят по бокам переносицы, щекочут глазницы. Он хотел достать носовой платок и нащупал в кармане перочинный нож — давнишний подарок одного старого друга. Давыдова осенило: правой рукой он вытащил нож, рукавом левой — вытер обильный пот на лбу и с таким подчеркнутым вниманием стал вертеть и разглядывать нож, как будто видел его впервые в жизни. А сам искоса посматривал на Федотку.

Нож был старенький, сточенный, но зато боковые перламутровые пластинки его тускло сияли на солнце, а кроме двух лезвий, отвертки и штопора, в нем имелись еще и великолепные маленькие ножницы. Давыдов последовательно открывал все эти богатства, изредка и коротко взглядывая на Федотку. Тот не сводил с ножа зачарованных глаз. Это был не просто нож, а чистое сокровище! Ничего равного по красоте он еще не видел. Но когда Давыдов вырвал из записной книжки чистый листок и тут же, быстро орудуя ножничками, вырезал лошадиную голову,— восторгу Федоткиному не было конца!

Вскоре урок окончился. Давыдов подошел к Федотке, шепотом спросил:

— Видал ножичек?

Федотка проглотил слюну, молча кивнул головой.

Наклонившись, Давыдов шепнул:

— Меняться будем?

— А кого на кого менять? — еще тише прошептал Федотка.

— Нож на железку, какая у тебя в кармане.

Федотка с такой отчаянной решимостью согласия закивал головой, что Давыдов должен был попридержать его за подбородок. Он сунул в руку Федотки нож, бережно принял на ладонь гранату. Капсюля в ней не оказалось, и Давыдов, часто дыша от волнения, выпрямился.

— У вас тут какие-то секреты,— улыбнулась, проходя мимо, учительница.

— Мы с ним старые знакомые, а виделись давно... Вы нас извините, Людмила Сергеевна,— почтительно сказал Давыдов.

— Я рада, что вы побывали у меня на уроке,— краснея, проговорила девушка.

Не замечая ее смущения, Давыдов попросил:

— Передайте товарищу Шпыню: пусть сегодня вечером зайдет ко мне в правление, а перед этим пусть прикинет, какой ремонт будем делать в школе, и пусть подумает о смете. Ладно?

— Хорошо, я все передам ему. Вы к нам больше не зайдете?

— Как-нибудь в свободную минуту загляну непременно, факт! — заверил Давыдов и сейчас же, без видимой связи с предшествовавшим разговором, спросил: — Вы у кого на квартире находитесь?

— У бабушки Агафьи Гавриловны. Знаете такую?

— Знаю. А какая у вас семья?

— Мама и двое братишек в Новочеркасске. Но почему вы обо всем этом спрашиваете?

— Надо мне хоть что-нибудь о вас знать, я же ваших девичьих секретов не касаюсь? — отшутился Давыдов.

Возле крыльца толпа ребятишек плотным кольцом окружила Федотку, рассматривая нож. Давыдов отозвал счастливого владельца в сторону, спросил:

— Где ты нашел свою игрушку, Федот Демидович? В каком месте?

— Показать, дяденька?

— Обязательно!

— Пойдем. Пойдем зараз же, а то мне после некогда будет,— деловито предложил Федотка.

Он сжал в руке указательный палец Давыдова и, явно гордясь тем, что ведет не просто дядю, а самого председате-

ля колхоза, изредка оглядываясь на товарищей, вразвалочку зашагал по улице.

Так они и шли, не особенно торопясь, лишь время от времени обмениваясь короткими фразами.

— Ты размениваться не надумаешь? — спросил Федотка, слегка забегая вперед и встревоженно заглядывая в глаза Давыдову.

— Ну что ты! Дело у нас с тобой решенное,— успокоил его Давыдов.

Минут пять они шагали, как и подобает мужчинам, в солидном молчании, а потом Федотка не выдержал — не выпуская из руки пальца Давыдова, снова забежал вперед, глядя снизу вверх, сочувственно спросил:

— А тебе не жалко ножа? Не горюешь, что променялся?

— Ни капельки! — решительно ответил Давыдов.

И снова шли молча. Но, видно, какой-то червячок сосал маленькое сердце Федотки, видно, считал Федотка обмен явно не выгодным для Давыдова, потому после длительного молчания и сказал:

— А хочешь, я тебе в додачу свою пращу отдам? Хочешь?

С непонятным для Федотки беспечным великодушием Давыдов отказался:

— Нет, зачем же! Пусть праща у тебя остается. Ведь менялись-то баш на баш? Факт!

— Как это «баш на баш»?

— Ну, ухо на ухо, понятно?

Нет, вовсе не все было понятно для Федотки. Такое легкомыслие при мене, которое проявил взрослый дядя, крайне удивило Федотку и даже как-то насторожило его... Роскошный, блестящий на солнце нож и ни к чему не пригодная круглая железка,— нет, тут что-то не так! Спустя немного практичный Федотка на ходу внес еще одно предложение:

— Ну, ежели пращу не хочешь, может, тебе бабки отдать? В додачу, а? Они у меня знаешь какие? Почти новые, вот какие!

— И бабки твои мне не нужны,— вздыхая и усмехаясь, отказался Давыдов.— Вот если бы этак лет двадцать с гаком назад — я бы, братец ты мой, от бабок не отказался. Я бы с тебя их содрал как с миленького, а сейчас не беспокойся, Федот Демидович! О чем ты волнуешься? Нож — твой на веки вечные, факт!

И опять молчание. И опять через несколько минут вопрос:

— Дяденька, а этот кругляш, какой я тебе отдал, он от кого? От веялки?

— А ты где его нашел?

— В сарае, куда идем, под веялкой. Старая-престарая веялка там такая, на боку лежит, вся разбитая, и он под ней был. Мы в покулючки играли, я полез хорониться, а кругляш там лежит. Я его и взял.

— Значит, это от веялки часть. А палочки железной, небольшой возле него не видел?

— Нет, там больше ничего не было.

«Ну, и слава богу, что не было, а то ты мне еще учинил бы такое, что и на том свете не разобрались бы»,— подумал Давыдов.

— А эта часть от веялки тебе дюже нужна? — поинтересовался Федотка.

— Очень даже.

— В хозяйстве нужна? На другую веялку?

— Ну, факт!

После недолгого молчания Федотка сказал басом:

— Раз в хозяйстве эта часть нужна — значит, не горюй, ты поменялся со мной правильно, а нож ты себе новый купишь.

Так умозаключил рассудительный не по годам Федотка и успокоенно улыбнулся. Душа у него, как видно, стала на место.

Вот, собственно, и весь разговор, который они вели по дороге, но этот разговор был как бы завершением их сделки по обмену ценностями...

Теперь Давыдов уже безошибочно знал, куда ведет его Федотка, и когда по переулку слева завиднелись постройки, некогда принадлежавшие отцу Тимофея Рваного, спросил, указывая на крытый камышом сарай:

— Там нашел?

— Как ты здорово угадываешь, дяденька! — восхищенно воскликнул Федотка и выпустил из руки палец Давыдова.— Теперь ты и без меня дойдешь, а я побегу, мне дюже некогда!

Как взрослому пожимая на прощанье маленькую ручонку, Давыдов сказал:

— Спасибо тебе, Федот Демидович, за то, что привел меня куда надо. Ты заходи ко мне, проведывай, а то я скучать по тебе буду. Я ведь одинокий живу...

— Ладно, как-нибудь зайду,— снисходительно пообещал Федотка.

Повернувшись на одной ноге, он свистнул по-разбойничьи, в два пальца, очевидно созывая друзей, и дал такого стрекача, что в облачке пыли только черные пятки замелькали.

Не заходя на подворье Дамасковых, Давыдов пошел в правление колхоза. В полутемной комнате, где обычно происходили заседания правления, Яков Лукич и кладовщик играли в шашки. Давыдов присел к столу, написал на листке из записной книжки: «Завхозу Островнову Я. Л. Отпустите за счет моих трудодней учительнице Л. С. Егоровой муки пшеничной, размольной 32 кг, пшена 8 кг, сала свиного 5 кг». Расписавшись, Давыдов подпер кулаком крутой подбородок, задумчиво помолчал, потом спросил у Островнова:

— Как живет эта девчонка, учительница наша, Егорова Людмила?

— С хлеба на квас,— передвинув шашку, коротко отозвался Островнов.

— Был я сейчас в школе, насчет ремонта интересовался, посмотрел и на учительку... Худая, прозрачная какая-то, сквозит как осенний лист, значит — недоедает! Чтобы сегодня же отправили ее хозяйке все, о чем тут написано, факт! Завтра проверю. Слышишь?!

Оставив на столе распоряжение, Давыдов прямиком пошел к Шалому.

* * *

Как только он вышел, Яков Лукич смешал на доске шашки, через плечо показал пальцем на дверь:

— Каков кобелина? Спервоначалу — Лушка Нагульнова, потом окрутил Варьку Харламову, а зараз уже переметнулся к учительнице. И всех своих сучонок кормит за счет колхоза... Распроценит он наше хозяйство, все пойдет на баб!

— Харламовой он ничего не выписывал, а учительнице — за свой счет,— возразил кладовщик.

Но Яков Лукич снисходительно улыбнулся:

— С Варькой он, небось, деньгами рассчитывается, за то, что учительница получит, колхоз расплатится. А Лушке сколько харчей я по его тайному приказу перетаскал? То-то и оно!

До самой смерти Тимофея Рваного Яков Лукич в изобилии снабжал его и Лушку продовольствием из колхозной кладовой, а кладовщику говорил:

— Давыдов мне строго-настрого приказал выдавать Лушке харчей, сколько ее душеньке потребуется, да ишо и пригрозил: «Ежели ты или кладовщик сбрехнете хучь одно слово — не миновать вам Сибири!» Так что ты, милый, помалкивай, давай сала, меду, муки, на весах не вешая. Не наше с тобой дело судить начальство.

И кладовщик отпускал все, что требовал Островнов, и по его же совету ловко обвешивал бригадиров, чтобы скрыть недостачу в продуктах.

Почему же теперь Якову Лукичу было не воспользоваться удобным случаем и еще лишний раз не очернить Давыдова?

Изнывая от безделья, Островнов и кладовщик долго еще «перемывали косточки» Давыдова, Нагульнова и Размётнова.

А тем временем Давыдов и Шалый уже действовали: чтобы в сарае Фрола Рваного стало светлее, Давыдов взобрался на крышу, вилами снял солому с двух прогонов, спросил:

— Ну как, старина, виднее теперь?

— Хватит разорять крышу! Зараз тут светло, как на базу,— отозвался изнутри сарая Шалый.

Давыдов прошел по поперечной балке несколько шагов, легко спрыгнул на мягкую, перегнойную землю.

— Откуда начнем, Сидорович?

— Хорошие плясуны танцуют всегда от печки, а нам с тобой начинать поиск надо от стенки,— пробасил старый кузнец.

Вооружившись наскоро сделанными в кузнице щупами — толстыми железными прутьями с заостренными концами,— они пошли рядом вдоль стены, с силой опуская щупы в землю, медленно продвигаясь к веялке, лежавшей у противоположной стены. За несколько шагов до веялки щуп Давыдова почти по самую рукоятку мягко вошел в землю, глухо звякнул, коснувшись металла.

— Вот и нашли твой клад,— усмехнулся Шалый, берясь за лопату.

Но Давыдов потянул лопату к себе.

— Дай-ка я начну, Сидорович, я помоложе.

На метровой глубине он обрыл кругом массивный сверток. В промасленный брезент был тщательно завернут

станковый пулемет «максим». Из ямы вытаскивали его вдвоем, молча развернули брезент, так же молча переглянулись и молча закурили.

После двух затяжек Шалый сказал:

— Всурьез собирались Рваные щупать Советскую власть...

— А ты смотри, как по-хозяйски сохранили «максима»: ни ржавчины, ни пятнышка, хоть сейчас заправляй ленту! А ну, дай-ка я поищу в яме, может, еще что нащупаем...

Через полчаса Давыдов бережно разложил возле ямы четыре цинки с пулеметными лентами, винтовку, початый ящик винтовочных патронов и восемь ручных гранат с капсюлями, завернутыми в полусопревший кусок клеенки. В яме, уходившей под каменную стену, валялся и пустой самодельный чехол. Судя по длине его, в нем когда-то хранилась винтовка.

До заката солнца Давыдов и Шалый разобрали в кузнице пулемет, тщательно прочистили, смазали. А в сумерках, в предвечерней ласковой тишине за Гремячим Логом пулемет зарокотал — воинственно и грозно. Одна длинная очередь, две коротких, еще одна длинная и опять — тишина над хутором, над отдыхающей после дневного жара степью, пряно пахнущей увядшими травами, нагретым черноземом.

Давыдов поднялся с земли, тихо сказал:

— Хорошая машинка! Машинка хоть куда!

В ответ ему гневно забасил Шалый:

— Зараз же пойдем к Островному, возьмем щупы и весь его баз и все забазье излазим! И в доме у него учиним поголовный обыск, хватит в зубы ему заглядывать.

— Ты с ума спятил, старик! — холодно отозвался Давыдов.— Кто же это нам разрешит производить самочинные обыски и будоражить весь хутор? Нет, ты просто спятил с ума, факт!

— Ежели у Рваного мы пулемет нашли, то у Островного где-нибудь на гумне трехдюймовка зарыта? И не я с ума сошел, а ты оказываешься умным дураком, вот что я тебе скажу начистоту! Погоди, придет время, откопает Лукич свою пушку да как шарахнет по твоей квартире прямой наводкой, тогда будет тебе факт!

Давыдов расхохотался, хотел обнять старика, но тот круто повернулся, плюнул с великим ожесточением и, не прощаясь, бормоча ругательства, зашагал к хутору.

## ГЛАВА XVIII

В последнее время, впрочем как и всегда, деду Щукарю положительно во всем не везло, ну, а уж этот день выдался целиком сотканным из больших и малых огорчений и даже несчастий, так что к исходу суток, вконец измученный обильно выпавшими на его долю испытаниями, Щукарь стал еще более суеверен, чем когда бы то ни было прежде... Нет, все же нельзя было ему так опрометчиво соглашаться с Давыдовым и отважиться на поездку в станицу, коль с утра приметы оказывались явно дурные...

От двора правления колхоза дед Щукарь шагом проехал не больше двух кварталов, а затем остановил жеребцов среди дороги и, не слезая с линейки, понуро сгорбившись, застыл в глубокой задумчивости... Да и на самом деле было ему о чем подумать: «Перед светом снилось мне, будто пегий волк за мной гонялся. А почему пегий? И почему обязательно за мной ему надо было гоняться? Будто, окромя меня, мало людей на белом свете! Ну и пущай гонялся бы за кем-нибудь другим, за молодым и резвым, а я бы со стороны поглядывал, а то, изволь радоваться, и во сне я должен за других отдуваться! А мне эти игрушки вовсе ни к чему. Проснулся, а сердце стукотит, чуть из грудей не выскочит, тоже мне удовольствие от такого приятного сна, пропади он пропадом! И опять же, почему этот волк окончательно пегий, а не натурально серый? К добру это? То-то и есть, что не к добру. Примета — дрянь, стало быть, и поездка выйдет мне боком, не иначе с каким-нибудь дрянцом. А въяве что было? То картуз не найду, то кисет, то зипун... Приметы то же самое не из важных... Не надо было покоряться Давыдову, и с места не надо было трогаться!» — уныло размышлял дед Щукарь, а сам рассеянно оглядывал пустынную улицу, разномастных телят, лежавших в холодке под прикрытием плетня, копошившихся в дорожной пыли воробьев.

Он уже совсем было решил поворачивать назад, но вспомнил о недавнем столкновении с Давыдовым и изменил решение. Тогда, так же как и сегодня, удрученный плохими приметами, он наотрез отказался ехать в первую бригаду, ссылаясь на приснившийся ему отвратительный сон, и вдруг обычно добрые, даже ласковые глаза Давыдова потемнели, стали холодными и колючими. Щукарь испугался, умоляюще моргая, сказал: «Семушка, жаль ты моя! Повынай ты из глаз иголки! У тебя глаза зараз стали, как

у цепного кобеля, злые и вострые. А ты же знаешь, как я не уважаю этих проклятых насекомых, какие на цепях сидят и на добрых людей рычат и брешут. За-ради чего нам с тобой охлаждаться? Поедем, черт с тобой, раз уж ты такой супротивный и настойчивый. Только ежли какая оказия случится с нами по дороге — я ни за что не отвечаю!»

Выслушав деда, Давыдов рассмеялся, и мгновенно глаза его стали прежние — с доброй веселинкой. Он похлопал тяжелой ладонью по сухой и гулкой спине Щукаря, сказал: «Вот это настоящий разговор, факт! Поехали, старик, я отвечаю перед твоей старухой за твою полную сохранность, а за меня не беспокойся».

Вспомнив все это, дед Щукарь улыбнулся, уже без колебаний тронул жеребцов вожжами. «Поеду в станицу! Хрен с ними, с этими приметами, а в случае чего случится — пущай Давыдов отвечает, а я отвечать за всякую пакость, какая может приключиться со мной в дороге, не намеренный! Да и Давыдов парень хороший ко мне, нечего его во зло вводить».

Над хутором после утренней стряпни все еще стлался горьковатый кизячный дымок, легкий ветер шевелил над дорогой пресный запах цветущей лебеды, а от скотиньих базов, мимо которых проезжал дед Щукарь, тянуло знакомым с детства запахом коровьего навоза и парного молока. Подслеповато щурясь, привычным движением оглаживая свалявшуюся бороденку, старик посматривал вокруг — на милые его сердцу картины незамысловатой хуторской жизни; один раз, пересилив лень, даже кнутом взмахнул, чтобы прогнать из-под колес линейки сцепившихся в азартной драке воробьев, но, проезжая мимо двора Антипа Грача, уловил запах свежеиспеченного хлеба, дразнящий аромат подгорелых капустных листьев, на которых гремяченские бабы обычно выпекают хлебы, и тут только вспомнил, что не ел со вчерашнего полудня, и ощутил такой голод, что беззубый рот его сразу наполнился слюной, а под ложечкой засосало томительно и нудно.

Круто повернув жеребцов в переулок, дед Щукарь направил их к своему двору с намерением чего-либо пожевать перед поездкой в станицу. Еще издали он увидел, что из трубы его хатенки не струится дымок, и с довольной улыбкой подумал: «Отстряпалась моя старуха, зараз отдыхает. Живет за мной — прямо как какая-нибудь великая княгиня. Ни печали ей, ни тому подобных воздыханий...»

Очень немного надо было Щукарю для того, чтобы от неудовлетворенности и грустных размышлений сразу же, без передышки, перейти к добродушному самодовольству. Такова уж была его непосредственная в своей детскости натура. Лениво пошевеливая вожжами, он размышлял: «А через чего она так живет, вроде птахи небесной? Ясное дело — через меня! Не зря я зимой телушку прирезал, видит бог — не зря! Вон как без телушки моя старуха кохается, на красоту! Отстряпалась — и на боковую. А то вышла бы из телушки корова, вставай чуть свет, дои ее, проклятую, прогоняй в табун, а она днем забзыкает, от оводов кинется спасаться и явится, как миленькая, домой. Опять же прогоняй ее, да корму ей в зиму готовь, да баз за ней вычищай, да сарай ей крой камышом или соломой... Морока! Вот и овечек я всех порастряс, ишо правильней сделал! Прогони их на попас и болей об них, клятых, душой: как бы они от гурта не отбились да как бы их волк не порезал. А мне об такой пакости душой болеть вовсе ни к чему, за длинную жизню и так наболелся предостаточно, она и душонка стала, небось, вся на дырьях, как старая портянка. Опять же и поросенка нету в хозяйстве, и это правильно! Спрашивается, а на черта он мне сдался, этот поросенок? Перво-наперво, у меня от сала изжога приключается, когда я его переем, а во-вторых — чем бы я его теперича правдал, ежли у меня муки в запасе не боле двух пригоршней? Он бы тут зараз с голоду околевал и душу из меня вынал бы своим визгом... А потом свинья — это квелая животина: то чума ее повалит, то разные тому подобные рожи у них приключаются. Заведи такую погань и жди, что не нынче, так завтра она подохнет. Опять же вонища от нее на весь двор, не продыхнешь, а без нее у меня кругом — чистое дыхание, травкой пахнет, огородными овощами и тому подобной дикой коноплей. Люблю, грешник, чистый воздух! Да будь он трижды проклят, этот поросенок или хотя бы свинья, чтобы я с ними муку мученическую принимал! Ходят по двору две чистенькие курочки и с ними аккуратненький петушок, вот на наш век со старухой и хватит этой живности, пущай молодые богатеют, а нам очень даже все это богачество ни к чему. Да и Макарушка меня одобряет, говорит: «Ты, дед, чистым пролетарьятом стал и хорошо сделал, что отказался от мелкой собственности». Ну, я ему на это с сердечным вздохом ответствовал: «Может, оно и приятно числиться пролетарьятом, но только всею жизню сидеть на квасу да на пустых щах я не-

согласный. Бог с ним и с пролетарьятом, а ежли не будут на трудодни давать мясца или, скажем, сала, чтобы щи затолочь, то я к зиме очень даже просто могу протянуть ноги. А тогда какой же мне прок будет от пролетарского звания? Погляжу к осени, во что мой трудодень взыграет, а то я сразу подамся опять в мелкие собственники».

Дед Щукарь задумчиво сощурился и уже вслух проговорил:

— Грехи наши тяжкие с такой неустроенной жизней! Все идет по-новому да все с какой-то непонятиной, с вывертами, как у хорошего плясуна...

Он привязал жеребцов к плетню, открыл ветхую калитку и подлинно хозяйской, медлительной и степенной, походкой пошел к крыльцу по заросшей подорожником стежке.

В кухне было полутемно, дверь в горницу закрыта. Дед Щукарь положил на лавку плоскую, как блин, замасленную фуражку и кнут, с которым по милости Трофима привык не расставаться ни на минуту, огляделся и на всякий случай окликнул:

— Старуха! Ты живая?

Из горницы послышался слабый голос:

— Только что живая... Лежу с вечера, головы не поднимаю. Все у меня болит, моченьки нету, а зябну так, что и под шубой никак не согреюсь... Не иначе — лихоманка ко мне прикинулась... А ты чего явился, старый?

Щукарь распахнул дверь в горницу, стал на пороге.

— В станицу еду зараз, заехал что-нибудь перекусить на дорогу.

— За какой нуждой едешь-то?

Щукарь, важничая, разгладил бороденку и словно бы нехотя ответил:

— Сурьезная командировка предстоит, за землемером еду. Товарищ Давыдов говорит: «Уж ежли ты, дедушка, его мне не представишь, то окромя тебя, и никто не представит». Землемер-то один на весь район, а мне он человек знакомый, этот самый Шпортной, из уважения ко мне он непременно поедет,— пояснил Щукарь. И тотчас же перешел на сугубо деловой тон: — Собирай-ка что-нибудь поесть, время не терпит.

Старуха еще пуще застонала:

— Ох, головушка горькая! Чем же я тебя кормить буду? Я же нынче не стряпалась и печку не затопляла.

Пойди сорви огурчиков на грядке, кислое молоко в погребу есть, вчера соседка принесла.

Дед Щукарь выслушал свою благоверную с нескрываемым презрением, под конец возмущенно фыркнул:

— Свежие огурчики да на них кислое молоко? Ты начисто одурела, старая астролябия! Ты что же — хочешь, чтобы я весь свой авторитет растерял? Ты же знаешь, что я на живот ужасно слабый, а от такой пищи меня в дороге окончательно развезет, и что я тогда в станице должен делать? Штаны в руках носить? А мне от жеребцов и шагу отойти нельзя, тогда что мне остается делать? Лишаться последнего авторитета прямо на улице? Покорнейше благодарю! Пользуйся сама своими огурчиками и придавливай их кислым молоком, а я на такой рыск не пойду! Должность моя нешуточная, самого товарища Давыдова вожу, и рысковать твоими огурчиками мне не пристало. Понятно тебе, старая апробация?

Ветхая деревянная кровать подозрительно заскрипела под старухой, и дед Щукарь тотчас же насторожился. Он не успел закончить свое внушение, как со старухой его мгновенно произошла удивительная перемена: она бодро вскочила с кровати, подбоченилась, исполненная негодования и решимости. Недавно расслабленный голос ее приобрел почти металлическое звучание, когда она, лихо сбив на сторону помятый головной платок, заговорила:

— А ты что же, старый пенек, хотел, чтобы я тебя щами с мясом кормила? Или, может, блинцов с каймаком тебе забажалось? Откуда я всего этого наберу, ежели у тебя в кладовке ничего нету, окромя мышей, да и те с голоду дохнут! И до каких пор ты будешь меня разными неподобными словами паскудить? Какая я тебе астролябия да пробация? Научил тебя Макарка Нагульнов разные непотребные книжки читать, а ты, дурак, и рад? Я — честная жена и честно прожила с тобой, сопля неубитая, весь свой бабий век, а ты меня под старость не знаешь как назвать?!

Дело принимало неожиданный и зловещий для Щукаря оборот, потому он и решил несколько отступить в глубь кухни и, проворно пятясь, примирительно сказал:

— Ну, будет, будет тебе, старая! И вовсе это не ругательные слова, а по-ученому вроде ласковые. Это все едино: что душенька моя, что астролябия... По-простому сказать — «милушка ты моя», а по-книжному выходит «апробация». Истинный бог, не брешу, так в толстой книжке,

какую мне Макарушка читать подсудобил, и написано, своими глазами читал, а ты чер-те чего подумала. Вот что означает твоя полная ликвидация неграмотности! Учиться надо, вот как я учусь, тогда и ты любое слово сможешь из себя выкинуть, не хуже меня, факт!

Такова была сила убедительности в голосе Щукаря, что старуха остыла, но, все еще пытливо всматриваясь в мужа, вздохнула:

— Поздно мне учиться, да и ни к чему. Оно и тебе бы, старый хорь, на своем языке надо гутарить, а то и так над тобой, как над истым дурачком, народ смеется.

— Со смеха люди бывают,— заносчиво сказал дед Щукарь, но спорить дальше не стал.

В небольшую миску с кислым молоком он долго и тщательно крошил кусок черствого хлеба, ел медленно, истово, а сам посматривал в окно, думал: «А на какого лешего мне спешить в станицу? Это когда человек затеется помирать и надо его причащать да соборовать — тогда надо поспешать. А Шпортной — землемер, а не поп, и Давыдов помирать вовсе не собирается, с какого же пятерика я буду горячку пороть? На тот свет все успеем, у смерти в очереди пока ишо никто не стоял... Так что зараз я выеду из хутора, сверну в какую-нибудь балочку, чтобы меня ни один черт не видал, и отосплюсь, сколь мне понадобится, а жеребцы тем часом травки пощипают. К вечеру я прибуду в бригаду Дубцова, Куприяновна непременно меня ужином покормит, ну и холодком, ночушкой, приеду в станицу. А ежли, не дай бог, Давыдов об этом прознает — я ему так-таки напрямик и выложу: «Изничтожьте вашего треклятого козла Трофима — тогда и я в дороге спать не буду. Всею ночь он возле меня джигитует по сену, какой же тогда могет быть у человека сон? Одно расстройство!»

Повеселевший от приятной перспективы побывать в гостях у Дубцова, Щукарь заулыбался, но старуха и тут ухитрилась испортить ему настроение:

— И чего ты жуешь, как параличный? Послали тебя, так ты не копайся, как жук в навозе, а езжай поскорее. Да глупые книжные слова из головы выкинь и мне их сроду не говори, а то походит по твоей спине рогач, так и знай, старый дурак!

— Любая палка об двух концах,— невнятно пробормотал дед Щукарь.

Но, приметив гневные морщинки на лице своей владычицы, наскоро дохлебал молоко, попрощался:

— Ты уж лежи, милушка, не вставай без толку, хворай себе на доброе здоровье, а я поехал.

— С богом! — не очень-то ласково напутствовала его старуха и повернулась спиной.

* * *

Километров шесть от хутора до отножины Червленой балки дед Щукарь ехал шагом, сладко дремал, изредка клевал носом и, окончательно разморенный полуденным зноем, один раз за малым не свалился с линейки. «Этак недолго и на бровях пройтиться»,— опасливо подумал Щукарь, сворачивая в балку.

В теклине Червленой балки по пояс стояла пряно благоухающая нескошенная трава. Откуда-то с верховьев балки по глинистому ложу ее струился родниковый ручеек. Вода в нем была прозрачна и до того холодна, что даже жеребцы пили ее маленькими и редкими глотками, осторожно цедя сквозь зубы. Возле ручья стояла густая прохлада, и высоко поднявшееся солнце было не в силах прогреть ее насквозь. «Благодать-то какая!» — прошептал Щукарь, распрягая жеребцов. Он стреножил их, пустил на попас, а сам расстелил в тени тернового куста старенький зипунишко, лег на спину и, глядя в обесцвеченное жарою, бледно-голубое небо такими же, как и небо, бесцветно-голубыми старческими глазками, предался житейским мечтаниям:

«Из этакой роскошности меня до вечера и шилом не выковыряешь. Отосплюсь всласть, погрею на солнышке свои древние косточки, а потом — к Дубцову на́ гости, кашку хлебать. Скажу, что не успел дома позавтракать, и непременнейше меня покормят, уж это я как в воду гляжу! А почему, собственно говоря, в бригаде обязательно должны есть пустую кашу или какую-нибудь паршивую затирку ложками по котлу гонять? Не таковский он парень, этот Дубцов, чтобы на покосе говеть. Такая рябая шельма, небось, и дня без мясца не проживет. Он овцу где-нибудь в чужом гурте украдет, а косарей накормит!.. А неплохо бы к обеду кусок баранинки, этак фунта на четыре, смолотить! Особливо — жареной, с жирком, или, на худой конец, яишни с салом, только вволю... Вареники со сметаной — тоже святая еда, лучше любого причастия, особливо когда их, милушек моих, положат тебе в тарелку побольше, да ишо раз побольше, этак горкой, да опосля нежно потрясут

эту тарелку, чтобы сметана до дна прошла, чтобы каждый вареник в ней с ног до головы обвалялся. А ишо милее, когда тебе не в тарелку будут эти варенички класть, а в какую-нибудь глубокую посудину, чтобы было где ложке разгуляться!»

Дед Щукарь никогда не отличался чревоугодием, он просто был голоден. За свою долгую и безрадостную жизнь он редко ел досыта и только во сне объедался разными вкусными, на его взгляд, кушаньями. То снилось ему, будто ест он вареную баранью требушку, то — сворачивает трубкой и, обмакнув в каймак, отправляет в рот огромный ноздреватый блин, то — спеша и обжигаясь, без устали хлебает он наваристую лапшу с гусиными потрохами... Да мало ли что ни снилось ему длинными, как у всякого голодного, ночами, но просыпался он после таких снов неизменно грустным, иногда даже злым, говорил про себя: «Приснится же такая скоромина ни к селу ни к городу! Одна надсмешка, а не жизня: во сне, изволь радоваться, такую лапшу наворачиваешь, что ешь не уешься, а въяве — старуха тюрю тебе под нос сует, будь она трижды, анафема, проклята, эта тюря!»

После таких снов дед Щукарь до завтрака потихоньку облизывал сухие губы, а во время скудного завтрака горестно вздыхал и вяло орудовал щербатой ложкой, рассеянно вылавливая в миске кусочки картофеля.

Лежа под кустом, Щукарь еще долго думал о том, что может быть в бригаде подано на обед, а потом некстати вспомнил, как он наелся на поминках по матери Якова Лукича, и, окончательно растравив себя воспоминаниями о съеденной пище, вдруг снова ощутил такой острый приступ голода, что дремоту с него как рукой сняло и он остервенело плюнул, вытер бороденку и стал ощупывать ввалившийся живот, а потом вслух заговорил:

— Кусочек хлеба и кружка кислого молока — да разве же это еда для настоящего мужчины-призводителя? Одна воздушность, а не еда! Час назад живот у меня был тугой, как цыганский бубен, а зараз? А зараз он к хребтине прирос. Господи боже ты мой! И всею-то жизню об куске хлеба насучного думаешь, о том, чем бы черево набить, а жизня протекает, как вода скрозь пальцев, и не приметишь, как она к концу подберется... Давно ли проезжал я по этой Червленой балке! Тогда терны цвели во всю ивановскую, белой кипенью вся балка взялась! Дунет тогда, бывало, ветер, и белый духовитый цвет летит по балке, кружится,

как снег в сильную метель. Вся дорога внизу была укрытая белым, и пахло лучше любой бабьей помады, а зараз почернел этот вешний цвет, исчезнул, сгинул окончательно и неповоротно! Вот так и моя никудышняя жизня под старость взялась чернотой, и вскорости уже придется бедному Щукарю стоптанные копыта откидывать на сторону́, тут уж ни хрена не поделаешь...

На этом философски-лирические размышления деда Щукаря закончились. Жалость к самому себе обуяла Щукаря, он немного всплакнул, высморкался, вытер рукавом рубахи покрасневшие глаза и стал дремать. От печальных дум его всегда тянуло на сон.

Засыпая и даже в этом состоянии оставаясь верным своему характеру, он сладостно заулыбался, блаженно щуря глаза, подумал сквозь сон: «Непременно будет у Дубцова в бригаде свежая баранина на обед, чует мое сердце! Ну, четыре фунта за присест я, конечно, не уберу, это я малость погорячился и примахнул лишку, а три фунта или, скажем, три с половиной — с маху и без единой передышки! Была бы эта баранинка на столе, а там уж Щукарь, небось, не промахнется и мимо рта не пронесет, будьте спокойные!»

Часам к трем жара достигла предела. Сухой, горячий ветер, поднявшись с востока, нес в Червленую балку раскаленный воздух, и от недавней прохлады вскоре не осталось там и следа. А тут еще солнце, перемещаясь на запад, словно бы преследовало Щукаря: он спал, лежа на животе, уткнувшись лицом в свернутый зипунишко, и как только солнечные лучи начинали нащупывать, а затем и ощутимо покалывать сквозь дырявую рубашку его худую спину,— он в полусне слегка перемещался в тень; но через несколько минут докучливое солнце снова начинало нещадно жечь стариковскую спину, и Щукарю снова приходилось ползти на животе в сторону. За три часа, не просыпаясь, он по-пластунски околесил половину небольшого куста. Под конец, измученный жарою, опухший, насквозь мокрый от пота, Щукарь проснулся, сел, из-под ладони взглянул на солнце и негодующе подумал: «Вот божий глаз, прости меня, господи, и под кустом от него не схоронишься! Заставил-таки, как зайца, крутиться вокруг куста целых полдня! Да разве же это сон? Это не сон, а чистое наказание! Надо бы под линейкой ложиться, да этот божий глаз и там бы меня сыскал, черта рытого от него в голой степи схоронишься!»

Кряхтя и вздыхая, он неторопливо снял донельзя изношенные чирики, засучил штаны и долго рассматривал свои высохшие ноги, критически улыбаясь и в то же время горестно покачивая головой. Потом направился к ручью, чтобы умыться, охладить разгоряченное лицо студеной водой.

С этого момента и стала разматываться цепь горестных приключений в его жизни...

Едва он, пробираясь по мелкой осоке к чистинке на средине ручья, высоко поднимая ноги, ступил два шага, как вдруг почувствовал, что придавил подошвой левой ноги что-то шевелящееся, скользкое и холодное, и тотчас же ощутил легкий укол повыше щиколотки. Дед Щукарь проворно выхватил левую ногу из воды и остался стоять на правой, как журавль среди болота. Но когда он увидел, что слева от него зашелестела осока и по ней быстро побежал извилистый след, лицо его стало зеленым, под цвет осоки, а глаза начали медленно выбираться из орбит...

И откуда только взялась у старика резвость! К нему будто бы вернулась давно ушедшая молодость: в два прыжка он был уже на берегу и, только усевшись на глинистый бугорок, стал внимательно рассматривать две крохотные красные точки на ноге, время от времени поглядывая испуганными глазами на злополучный ручей.

Постепенно, когда прошел первый испуг, к нему возвратилась способность мышления, и он тихо прошептал:

— Ну вот, слава богу, и начинается... Вот они что означают, эти проклятые приметы! Говорил же этому моему дуролому Давыдову, что не надо нынче рисковать и ехать в станицу, так нет, загорелось ему, вынь да положь, а поезжай. Вот я и доездился. Он часто говорит: «Я - рабочий класс». И с чего этот рабочий класс такой напористый? Ежли он затеется что сделать,— будьте спокойные, он с тебя живой не слезет, а своего добьется! Добился, сукин сын, а зараз что я должен делать?

И тут деда Щукаря вдруг осенило: «Надо зараз же высосать кровь из ранки! Укусила меня не иначе вредная гадюка, ишь как она полохнула по осоке! Порядочная змея или, скажем, ужака, она полозит не спеша, степенно, а эта подлючина пошла, как молонья, аж завиляла. То-то же она испужалась меня! Но тут вопрос — кто кого дюжей испужался: я ее или она меня?»

Решать этот сложный вопрос было некогда, время не ждало, и дед, нимало не медля, согнулся, сидя, в три поги-

бели, но как ни старался, а дотянуться губами до ранки не смог. Тогда он, придерживая руками пятку и ступню, с таким отчаянным усердием рванул ногу на себя, что в щиколотке что-то резко щелкнуло, и от неистовой боли старик запрокинулся на спину. Минут пять он лежал не шевелясь. Придя в себя, тихо пошевеливая пальцами левой ноги, Щукарь в полном недоумении стал размышлять: «С укуса началось, а теперича продолжается... Первый раз в жизни вижу, чтобы человек по доброй воле сам себе мог ногу вывихнуть. Кому хошь расскажи про такую оказию — не поверят, скажут: «Опять брешет Щукарь!» Вот тебе и приметы. Куда они взыгрывают... Ах, язви его, этого Давыдова! Говорил же ему добром, как человеку. А зараз что я должен делать? Как я буду жеребцов запрягать?»

Однако медлить больше было нельзя. Щукарь тихонько поднялся, осторожно попробовал ступить на левую ногу. К его великой радости, боль оказалась не столь уже сильной, и хотя с трудом, но передвигаться он мог. Раскрошив на ладони маленький кусочек глины, он смешал его со слюной, тщательно замазал ранку и только что, прихрамывая и бережно ступая на поврежденную ногу, пошел к жеребцам, как вдруг увидел на противоположной стороне ручья, метрах в четырех от себя, такое, от чего глаза его загорелись и губы затряслись в неудержимой ярости: на той стороне, свернувшись клубком, сладко дремал на сугреве небольшой уж. В том, что это был именно уж, не могло быть никаких сомнений: на голове его мирно светились оранжево-желтые «очки»...

И тут дед Щукарь просто взбесился. Никогда еще речь его не была столь патетически взволнованной и негодующей. Выставив вперед больную ногу и торжественно протянув руку, он дрожащим голосом заговорил:

— Выползок проклятый! Холоднокровная сволочь! Чума в желтых очках! И это ты, вредная насекомая, мог меня, то есть мужчину-призводителя, так до смерти напужать?! А я-то сдуру подумал, что ты это не ты, а порядочная гадюка! А что ты есть такое, ежли разобраться в этом вопросе? Пакость ползучая, тьфу, и больше ничего! Наступить на тебя ногой ишо раз и растереть в дым и прах, и больше ничего не остается. Ежли бы я через тебя, аспида, ногу себе не свихнул, я бы так и сотворил с тобой, поимей это в виду.

Щукарь перевел дыхание, проглотил слюну. Уж, приподняв точеную мраморно-черную головку, казалось, вни-

мательно слушал впервые обращенную к нему речь. Отдохнув немного, Щукарь продолжал:

— Вылупил свои бесстыжие глаза и не моргаешь, нечистый дух?! Ты думаешь, что тебе это так и обойдется? Нет, милый мой, зараз ты от меня получишь все, что тебе на твой нынешний трудодень причитается! Подумаешь, адаптер какой нашелся! Да я с тобой разделаюсь так, что одни анфилады от тебя останутся, факт!

Дед Щукарь опустил обличающе гневный взор и среди мелкой гальки, принесенной вешней водою откуда-то с верховьев Червленой балки, усмотрел крупный обкатанный камень-голыш. Забыв про больную ногу, он смело шагнул вперед. Острая боль прострелила щиколотку, и дед свалился на бок, ругаясь самыми непотребными словами, но все же не выпуская камня из руки.

Пока он, кряхтя и стоная, поднялся на ноги,— уж исчез. Его как не было. Он будто сквозь землю провалился! Щукарь выронил камень, недоумевающе развел руками:

— Скажи на милость, напасть какая-то, да только и делов. Ну, куда он, анчихрист, мог деваться? Не иначе — опять же в воду мигнул. Уж оно как не повезет, так не повезет. Так думаю, что на этом дело не кончится... Не надо бы мне, старому дураку, в разговоры с ним ввязываться, надо было молчаком брать каменюку и бить его с первого раза же в голову, непременно в голову, иначе эту гаду не убьешь, а со второго раза я мог и промахнуться, факт. Но зараз кого же бить, ежли он сгинул, нечистый дух? Вот в чем вопрос!

Еще некоторое время дед Щукарь стоял возле ручья, почесывая затылок, а потом безнадежно махнул рукой и похромал запрягать жеребцов. Пока он не отошел от ручья на порядочное расстояние, он все еще оглядывался, всего лишь несколько раз и так просто, на всякий случай...

...Степь под ветром могуче и мерно дышала во всю свою широченную грудь пьянящим и всегда немного грустным ароматом скошенной травы, от дубовых перелесков, мимо которых бежала дорога, тянуло прохладой, мертвым, но бодрящим запахом сопревшей дубовой листвы, а вот прошлогодние листья ясеня почему-то пахли молодостью, весной и, быть может, немножко — фиалками. От этого смешения разнородных запахов обычному человеку всегда почему-то становится не очень весело, как-то не по себе, особенно тогда, когда он остается сам с собой наедине... Но не таков был дед Щукарь. Удобно устроив больную ногу,

положив ее на свернутый зипун, а правую беспечно свесив с линейки, он уже широко улыбался беззубым ртом, довольно щурил обесцвеченные временем глазки, а крохотный, облупленный и красный носик его так и ходил ходуном, жадно ловя родные запахи родной степи.

А почему ему было и не радоваться жизни? Боль в ноге стала понемногу утихать, туча, принесенная ветром откуда-то с далекого востока, надолго закрыла солнце, и по равнине, по буграм, по курганам и балкам поплыла густая сиреневая тень, дышать стало легче, а впереди как-никак ожидал его обильный ужин... Нет, как хотите, но деду Щукарю жилось пока не так уж плохо!

На гребне бугра, как только вдали завиднелись полевая будка и стан второй бригады, Щукарь остановил лениво трусивших жеребцов, слез с линейки. Тупая, ноющая боль в щиколотке все еще держалась, но стоять на обеих ногах он мог более или менее твердо, и старик решился: «Я им покажу, что не водовоз едет, а как-никак кучер правления колхоза. Раз вожу товарища Давыдова, Макарушку и другое важное начальство, то и проехаться надо так, чтобы людям издаля завидно было!»

Чертыхаясь и жалобно стоная, отпрукивая почуявших ночлег жеребцов, старик стал на линейке во весь рост, широко расставил ноги, туго натянул вожжи и молодецки гикнул. Жеребцы с места пошли машистой рысью. Под изволок они все больше набирали резвости, и вскоре от встречного ветра неподпоясанная рубаха Щукаря вздулась на спине пузырем, а он все попрашивал у жеребцов скорости и, морщась от боли в ноге, весело помахивал кнутом, кричал тонким голоском: «Родненькие мои, не теряй форсу!»

Первым его увидел Агафон Дубцов, находившийся возле стана.

— Какой-то черт по-тавричански правит, стоя. Приглядись-ка, Прянишников, кто это к нам жалует?

С незавершенного прикладка сена Прянишников весело прокричал:

— Агитбригада едет: дедушка Щукарь.

— К делу,— довольно улыбаясь, сказал Дубцов.— А то мы тут уж прокисли от скуки. Вечерять старик будет с нами, и такой уговор, братцы: в ночь его никуда не пущать...

А сам уже вытащил из-под будки свой мешок, деловито порывшись в нем, сунул в карман початую четвертинку водки.

## ГЛАВА XIX

Опорожнив вторую миску жидкой пшенной каши, лишь слегка сдобренной салом, дед Щукарь пришел в состояние полного довольства и легкой сонливости. Благодарно глядя на щедрую стряпуху, сказал:

— Спасибочка всем вам за угощение и водку, а тебе, Куприяновна, низкий поклон. Ежли хочешь знать, так ты ничуть даже не баба, а сундук с золотом, факт. С твоим уменьем варить кашу тебе бы не вахлакам стряпать, а самому Михал Иванычу Калинину. Голову отсеки мне, а через год на твоих грудях уже висела бы какая-нибудь медаль за отличное усердие, а может, какой-нибудь шеврон на рукав он тебе пожаловал бы, ей-богу, не брешу, факт. Уж я-то до тонкостев знаю, что́ есть главное в жизни...

— А что? — с живостью спросил сидевший рядом Дубцов.— Что, дедушка, главное, по твоему разумению?

— Жратва! Фактически говорю, что только жратва, и больше ничего главнее нету.

— Ошибаешься ты, дедушка,— печально сказал Дубцов, кося цыганскими глазами на остальных слушателей и сохраняя самый серьезный вид.— Жестоко ты ошибаешься, а все потому, что умишко у тебя на старости годов стал такой же жидкий, как вот эта каша, какую ты хлебал. Разжижели твои мозги, потому ты и ошибаешься...

Дед Щукарь снисходительно улыбнулся:

— Пока неизвестно, у кого мозга круче замешана: у тебя или у меня. А по-твоему, что́ есть главное в жизни?

— Любовь,— скорее выдохнул, чем проговорил, Дубцов и так мечтательно закатил глаза под лоб, что, глядя на его смуглое рябое лицо, первая не выдержала Куприяновна.

Она фыркнула громко, как лошадь, почуявшая дождь, и, вся сотрясаясь от смеха, закрыла рукавом кофточки побагровевшее лицо.

— Ха! Любовь! — Щукарь презрительно улыбнулся.— Да что она стоит, твоя любовь, без хорошего харча? Тьфу, и больше ничего! Не покорми тебя с недельку, так от тебя не то что Куприяновна, но и родная жена откажется.

— Это как сказать,— упорствовал Дубцов.

— Тут и говорить нечего. Я все дочиста наперед знаю,— отрезал дед Щукарь и назидательно поднял указательный палец.— Вот я вам зараз расскажу одну оказию,

и все придет в ясность, и никаких споров больше не понадобится.

Редко приходилось встречать деду Щукарю более внимательных слушателей. Около тридцати человек сидело вокруг костра, и все боялись проронить хоть одно Щукарево слово. Так, по крайней мере, казалось ему. Да и что было спросить со старика? На собраниях ему никогда не давали слова; Давыдов во время поездок был молчалив, все что-то обдумывал про себя; старуха Щукаря даже смолоду не отличалась разговорчивостью. С кем же было отвести душу бедному старику? Потому-то он теперь, найдя благосклонных слушателей, будучи после ужина в отличнейшем расположении духа, и решил наговориться вволю. Он уселся поудобнее, сложил ноги калачиком, разгладил ладонью бороденку и только что раскрыл рот, чтобы начать неспешное повествование, как его опередил Дубцов — с нарочитой строгостью сказал:

— Ты рассказывай, дед, только без брехни! У нас в бригаде обычай такой: пороть брехунов вожжами.

Дед Щукарь тяжело вздохнул, погладил ладонью левую ногу.

— Ты меня, Агафоша, не пужай. Я нынче и так был до смерти выпужанный. Ну, так вот как оно, дело, было. Весной призывает меня Давыдов и говорит: «Бери, дедушка, два мешка овса у кладовщика, себе выписывай харчишек и дуй на жеребцах прямым ходом в конец Сухого лога. Там наши кобылки пасутся, и ты туда в аккурат явишься со своими женихами. Пасет табун глухой Василий Бабкин. Разобьете табун на два косяка, с одним будет Василий, с другим — ты. Только за призводителей ты будешь в ответе, ты их подкармывать овсецом будешь». А я, признаться, не знал, что такое призводитель, слова такого не слыхал. Вот тебе и возникший вопрос. Жеребец — знаю, кобыла — знаю, само собою знаю, что за штука мерин. Я и спрашиваю: «А что такое — призводитель?» Он ответствует: «Кто, дескать, призводит потомство, тот и есть призводитель». Спрашиваю дальше: «А бугая тоже можно называть призводителем?» Он поморщился и говорит: «Само собою». Я ишо дальше спрашиваю: «А мы с тобой тоже призводители?» Он засмеялся и говорит: «Тут, дед, каждый из нас сам за себя отвечает». Одним словом, получается так: будь ты хоть воробей, хоть какая-нибудь скотиняка, хоть человек, но ежли ты мужеского пола,— ты и есть самый настоящий, без подмесу, призводитель. «Очень приятно»,— думаю про

себя. Опять же вопрос. «А кто хлеб призводит, это как, призводитель он или кто такой?» — спрашиваю у него. А он вздохнул и говорит: «Отсталый ты человек, дедушка». Я ему и говорю на это: «Скорее всего ты отсталый, Семушка, потому что я на сорок лет раньше тебя родился, а ты тут приотстал». На этом вопрос мы и порешили.

Свистящим шепотом Куприяновна спросила:

— Выходит, что и ты, дедуня, производитель?

— А кто же я, по-твоему? — с гордостью ответил Щукарь.

— О господи! — простонала Куприяновна и больше ничего не могла сказать, потому что зарылась лицом в передник, и в тишине слышался только ее сдавленный хрип.

— Ты, дед, не обращай на нее внимания, ты гни свою линию,— ласково сказал Кондрат Майданников и отвернулся от костра.

— Я на этих баб всею жизню не обращаю никакого внимания, а обращал бы — может, я бы до таких древних годов ни хрена не дожил,— уверенно ответил Щукарь.

И продолжал:

— Ну, хорошо, прибыл я к табуну, гляжу вокруг себя, и глаза не нарадуются! Кругом такой ажиотаж, что век бы оттуда не уезжал! Лазоревые цветки по степи, травка молодая, кобылки пасутся, солнышко пригревает,— одним словом, полный тебе ажиотаж!

— А что это такое за слово ты сказал? — поинтересовался Бесхлебнов.

— Ажиотаж-то? Ну, это когда кругом тебя красота. «Жи» означает: живи, радуйся на белый свет, ни печали тебе, ни воздыханий. Это — ученое слово,— с непоколебимой уверенностью ответил Щукарь.

— А откуда ты их нахватался, этих слов? — продолжал допытываться любознательный Бесхлебнов.

— У Макарушки Нагульнова. Мы же с ним огромадные приятели, ну вот он по почам английский язык изучивает, а я при нем нахожусь. Дал он мне толстую, как Куприяновна, книжку, называется она — словарь. Не букварь, по каким детишки учатся, а словарь для пожилых. Дал и говорит: «Учись, дед, на старости годов пригодится». Вот я и учусь помаленьку. Только ты меня не перебивай, Акимушка, а то я в один момент с мысли собьюсь. Я вам потом расскажу про этот словарь. Так вот, прибыл я к месту назначения со своими призводителями, только ничего толку не вышло, ни из моих призводителей, ни из ажиотажа...

Скажу вам, добрые люди: кто этого Ваську глухого близко не знает, тот на своем веку лишних десять лет проживет.

Это, то есть, такой пень, что Демид Молчун, ежли сравнять их, самый разговорчивый человек у нас в Гремячем Логу. Что я из-за его молчания муки в степи принял — несть числа! Не с кобылами же мне разговаривать? А Васька молчит сутками напролет, только жрет с хрустом, остальное время либо молчаком спит, либо лежит под ватолой, как гнилая колода, и то же самое молчит. Редко-редко глазами похлопает и опять молчит. Вот какой вопрос он мне задал, вовсе не разрешимый. Одним словом, прожил я там трое суток, как на кладбище, в гостях у покойников, и уже начал сам с собою разговаривать. Э-э-э, думаю, так дело не пойдет! Так недолго и умом тронуться такому компанейскому человеку, как я.

Уж на что я терпеть ненавижу, когда мой Макарушка Нагульнов на годовые праздники, то есть на Первое мая и на Седьмое ноября, начнет длинные речи про мировую революцию запузыривать и всякие непонятные слова из себя выкидывать, а и того бы я в тот момент сутки напролет слушал бы, как соловья в саду или кочетиное пение в полуночный час. А что вы думаете, гражданы, об этом кочетином пении? Это, братцы мои, не хуже, чем в церкви, когда поют «со святыми упокой» или ишо какую-нибудь трогательную хреновину...

— Ты нам про любовь без харчей рассказывай, а не про то, как кочета поют,— нетерпеливо прервал рассказчика учетчик бригады.

— Вы, гражданы, не волнуйтесь, дойдет дело и до разных и тому подобных любвей, это не вопрос. Так вот, про этого Ваську глухого. Было бы полбеды, ежли бы он только в молчанку играл, а он к тому же ишо такой обжористый оказался, что никакого сладу с ним не было. Наварим каши или галушков из пресного теста, и что же получается? Я — раз ложкой зачерпну из чугунка, а он — пять раз. Орудует своей огромадной ложкой, как дышло на паровозе: туда-сюда, туда-сюда, из чугунка в рот, из рота в чугунок, я — глядь, а каши уже на самом донышке. Встаю голодный, а он раздуется, как бычий пузырь, ляжет кверху пузом и тогда зачнет икать на всю степь. Часа два поикает, нечистая сила, и переходит на храп. А храпит, проклятый сын, так, что даже кобылы, какие поблизости от нашего шалаша, пужаются и бегут куда глаза глядят. Спит до ночи, спит не хуже, чем сурок зимой.

Вот какая горькая была там моя жизня. И голодный, как кобель бездомный, и от скуки поговорить, ну, разу не с кем... На второй день подсел я к Ваське, сложил руки трубой и шумлю ему в самое ухо и во всю мочь: «Ты с чего глухой сделался, с войны или с золотухи в детских годах?» А он мне ишо резче шумит: «С войны! Красные в девятнадцатом году из четырехдюймовой пушки с бронепоезда положили возле меня снаряд. Коня подо мной убило, а я с той поры оказался сконтуженный и начисто оглох». Я дальше у него спрашиваю: «А с чего ты, Василий, жрешь так, как, скажи, ты вовсе без памяти? Это у тебя тоже от контузии?» А он мне в ответ: «Тучки находят — хорошо. Дождя зараз край как надо!» Вот и поговори с таким балдахином...

— Ты когда про любовь зачнешь рассказывать? — нетерпеливо спросил Дубцов.

Щукарь досадливо поморщился:

— Далась вам эта любовь, будь она трижды проклята! Я этой самой любови всею жизню избегал, ежли бы покойный мой папаша не принудил — я бы и не женился вовек, а зараз, изволь радоваться, рассуждай про нее. Тоже вопрос нашли... А ежли хотите знать, вот что получилось тогда из любви без харчей...

Прибыл я к месту назначения, разбили табун на два косяка, а женихи мои на кобылок и не глядят, только травку стригут зубами безо всякой устали... Круглый ноль внимания на своих невест! Вот это, думаю, дело! Вот это я влип в срамоту со своими призводителями. Я и овса даю им в полную меру, а они, один черт, и не поглядывают на кобылок.

День не глядят и второй — тоже. Мне уже возле этих бедных кобылок ходить неловко, иду мимо и отворачиваюсь от стыда, не могу им в глаза глядеть, да и баста! Сроду никогда не краснел, а тут краснеть научился: как только подхожу к косяку, чтобы гнать его на водопой к пруду, и вот тебе, пожалуйста, начинаю краснеть, как девка...

Господи боже мой, сколько я за трое суток стыда принял со своими призводителями — несть числа! Вопрос оказался вовсе не разрешимый. На третий день на моих глазах делается такая картина: молоденькая кобыленка заигрывает с моим призводителем,— я его Цветком кличу,— с гнедым, у какого прозвездь во лбу и левая задняя нога в белом чулке. И вот она вокруг него вьюном вьется, и так и сяк поворачивается, и зубами его лёгочко похватывает, и вся-

кую любовь к нему вытворяет, а он ей положит голову на спину, глаза зажмурит и этак жалостно вздыхает... Вот вам и Цветок, хуже и не бывает. А я весь от злости трясусь, соображаю: что же обо мне наши кобылки думают? Небось, скажут: «Привел, старый черт, каких-то вахлаков», — а может, и кое-что похуже скажут...

И потеряла бедная кобылка всякое терпение, повернулась к моему Цветку задом да как даст ему со всей силой обеими задними ногами по боку, у него аж внутре что-то екнуло. А тут и я подбег к нему, сам плачу горькими слезьми, а сам кнутом его охаживаю по спиняке, шумлю: «Ежли ты зовешься призводителем, так нечего и себя и меня на старости годов срамотить!»

Он же, милый мой страдалец, отбег сажен десять, остановился и так жалостно заиржал, что меня прямо за сердце схватило, и тут уже я заплакал от жалости к нему. Подошел без кнута, глажу его по храпу, а он и мне на плечо голову положил и вздыхает...

Взял я его за гриву, веду к шалашу, а сам говорю: «Поедем, мой Цветок, домой, нечего нам тут без толку околачиваться и лишнюю срамоту на себя принимать...» С тем запрег их и направился в хутор. А Васька глухой иржет: «Приезжай, дед, через год, поживем в степи, кашки с тобой похлебаем. К тому времени и жеребцы твои, ежли не подохнут, в себя придут».

Прибыл я в хутор, доложил обо всем Давыдову, он и за голову схватился, орет на меня: «Ты за ними плохо ухаживал!» Но я ему отпел на это: «Не я плохо ухаживал, а вы дюже хорошо ездили. То ты, ваша милость, то Макарушка, то Андрей Размётнов. Жеребцы из хомутов не вылазили, а овса у твоего Якова Лукича и на коленях не выпросишь. И кто это на жеребцах ездит? Раз они призводители, то должны только корм жрать и не работать, иначе вопрос будет вовсе не разрешимый». Да спасибо — из станицы прислали двух призводителей, вы же помните про это, и вопрос с кобылками само собою решился. Вот что она означает, любовь без положенного корма. Понятно вам, глупые вы люди? И смеяться тут нечего, раз завелся очень даже сурьезный разговор.

Оглядев своих слушателей торжествующим взглядом, дед Щукарь продолжал:

— И что вы понимаете в жизни, ежли вы, как жуки в навозе, все время копаетесь в земле? А я-то, по крайней мере, каждую неделю, то один раз, то чаще, бываю в стани-

це. Вот ты, Куприяновна, слыхала хучь разок, как говорит радио?

— Откуда же я его слыхала бы, ежли я в станице была десять лет назад.

— То-то и оно! А я каждый раз слушаю его сколько влезет. Но и поганая же это штука, доложу вам! — Щукарь покрутил головой и тихо засмеялся.— Аккурат против райкома на столбе висит черная труба, и боже ж мой, как она орет! Волос дыбом, и по спине даже в жару мелкие мурашки бегают! Распрягаю я своих цветков возле этой трубы, поначалу слушаю с приятностью про колхозы, про рабочий класс и про разное другое и протчее, а потом хучь голову в торбу с овсом хорони: из Москвы как рявкнет кто-то жеребячьим басом: «Налей ишо немного, давай выпьем, ей-богу»,— и, не поверите, добрые люди, до того мне захочется выпить, что никакого сладу с собой нету! Я, грешник, как в станицу мне командироваться, потихоньку у своей старухи яичков стяну десяток или сколько удастся и, прибывши в станицу, сразу же на базар. Продам их и сразу же в столовую. Клюну там водочки под разные песни из трубы, тогда я могу моего товарища Давыдова хучь сутки ждать. А ежли яичков мне спереть дома не удастся, потому что старуха моя научилась за мной следить перед отъездом, то я иду в райком и прошу потихонечку моего товарища Давыдова: «Семушка, жаль моя, пожертвуй мне на четвертинку, а то мне скучно ждать тебя без дела». И он, ласковая душа, сроду мне не откажет, и я опять же сразу — в столовую и опять — клюну маленько и либо сплю в приятности на солнышке, либо попрошу кого-нибудь приглядеть за моими призводителями, а сам командируюсь по станице справлять какие-нибудь свои неразрешимые дела.

— А какие у тебя могут быть дела в станице? спросил Аким Бесхлебнов.

Дед Щукарь вздохнул:

— Да мало ли делов бывает у хозяина? То бутылку керосина купишь, то серников коробки две-три. Или скажем, так: вот вы про ученые слова мои спрашивали, про словарь, а там пропечатано так: одно слово ученое пропечатано ядреными буквами, их я могу одолевать и без очков, а супротив него мелкими буковками прояснение, то есть что это слово обозначает. Ну, многие слова я и без всяких прояснений понимаю. К придмеру, что означает: «монополия»? Ясное дело — кабак. «Адаптер» — означает: пустиковый человек, вообче сволочь, и больше ничего. «Акв

рель» — это хорошая девка, так я соображаю, а «бордюр» — вовсе даже наоборот, это не что иное, как гулящая баба, «антресоли» крутить — это и есть самая твоя любовь, Агафон, на какой ты умом малость тронулся, и так и дале. И все-таки понадобились мне очки. Прибываем в станицу с Давыдовым, и затеялся я очки покупать. Деньги мне на это великое дело старуха отпустила.

Захожу в одну больницу, а там оказалась вовсе не больница, а родительский дом; в одной комнате бабы кряхтят и плачут на разные голоса, в другой — мелкие детишки мяукают, как маленькие котятки. Тут, думаю, очков я не получу, не туда я вплюхался. Иду в другую больницу, а там сидят двое на крыльце, в шашки сражаются. Я поздоровался с ними, спрашиваю: «Где тут можно очки купить?» Они заиржали в две глотки, один из них и говорит: «Тут тебе, дедушка, такие очки вставят, что глаза на лоб вылезут, тут венерическая больница, и ты сматывай отсюда поскорее, а то тебя начнут силой лечить».

Я, конечно, испужался до смерти и рыском от этой больницы, подай бог ноги. А они, проклятые дураки, следом за мной вышли из калитки, один свистит во всю мочь, а другой орет на всю улицу: «Беги шибче, старый греховодник, а то зараз догонят!» Эх, тут я пошел, как хороший рысак! Чем, думаю, черт не шутит, пока бог спит, могут и догнать сдуру, а там оправдывайся перед этими докторами, как хочешь.

Пока добег до аптеки — сердце зашлось. Но и в аптеке очков не оказалось. Езжай, говорят, дедушка в Миллерово или в Ростов, очки только глазной доктор может тебе прописать. Нет, думаю про себя: на какого шиша я поеду туда?.. Так и читаю словарь по догадке, вопрос с очками тоже оказался вовсе не разрешимый.

А сколько в станице разных пришествиев со мной случалось — несть числа!

— Ты, дедушка, рассказывай все по порядку, а то ты, как воробей, сигаешь с ветки на ветку, и не поймешь, где у тебя начало, а где конец,— попросил Дубцов.

— Я по порядку и рассказываю, главное дело — ты не перебивай меня. Ежли ишо раз перебьешь — я окончательно собьюсь с мысли, а тогда понесу такое, что вы всем скопом не разберетесь в моем рассказе. Так вот, иду я както по станице, а навстречу мне идет молодая и красивая, как козочка, девка, одетая по-городскому, с сумочкой в руке. Идет на высоких каблуках, только выстукивает

ими: «цок-цок, цок-цок», будто коза копытцами. А я под старость такой жадный стал до всего нового, что прямо страсть! Я, братцы, и на велосипеде пробовал кататься. Едет на этой машине какой-то паренек, я и говорю ему: «Внучек милый, дозволь мне на твоей машинке малость прокатиться». Он с радостью согласился, помог мне на своей ехалке угнездиться, поддерживает меня, а я ногами изо всей силы кручу, стараюсь во всю ивановскую. Потом прошу его: «Не держи ты меня, за ради бога, я сам хочу проехаться». И только он меня отпустил, как руль у меня из рук подвихнулся и я сверзился прямо под акацию. Сколько я себе колючек с акации во все места, куда надо и куда не надо, навтыкал — несть числа! Потом неделю их выковыривал, да ишо и штаны порвал об какой-то пенек.

— Ты, дед, давай про девку, а не про свои штаны, строго прервал его Дубцов.— Ну подумай сам, на черта нам твои штаны нужны?

— Вот и опять же ты меня перебиваешь,— грустно отвечал ему дед Щукарь. Но все же решился продолжать: — Стало быть, идет эта размилая козочка, ручкой помахивает, как солдатик, а я, грешник, думаю: как бы мне с ней хучь самую малость под ручку пройтиться? В жизни я ни с кем под ручку не ходил, а в станице часто видал, как молодые таким манером ходят: то он ее под руку тянет, то она его. А спрошу я вас, гражданы, где бы я мог такое удовольствие получить? В хуторе у нас так ходить не положено, засмеют, а иначе где?

И тут возникший вопрос: как с этой красавицей пройтиться? И вдарился я на хитрость: согнулся колесом, стонаю на всю улицу. Она подбегает, спрашивает: «Что с вами, дедушка?» Говорю ей: «Захворал я, милушка, до больницы никак не дойду, колотье в спину вступило...» Она и говорит: «Я вас доведу, обопритесь на меня». А я беру ее со всей смелостью под руку, так мы с ней и командируемся. Очень даже приятно. Только доходим мы до раймагазина, и начинаю я помалу распрямляться, и, пока она не опомнилась, я ее с ходу чмокнул в щеку и рыском побег в магазин, хотя делать мне там было вовсе нечего. У нее глазенки засверкали, шумит мне вдогон: «Вы, дедушка, фулюган и притворщик!» А я приостановился и говорю: «Милушка моя, от нужды и не такое ишо учинишь! Поимей в виду, что я сроду ни с одной раскрасавицей под руку не ходил, а мне уже помирать вскорости придется». Сам правлюсь в магазин, думаю — чего доброго, она ишо милиционера покли-

чет. Но она засмеялась и пошла своим путем, только каблучки поцокивают. А я пока на рысях вскочил в магазин и дух не переведу. Продавец спрашивает: «Ты не с пожара, дед?» Задыхаюсь вчистую, но говорю ему: «Ишо хуже. Дай-ка мне коробочку спичек».

Дед Щукарь еще долго продолжал бы свое нескончаемое повествование, но усталые после рабочего дня слушатели стали расходиться. Тщетно старик умолял их выслушать хоть еще несколько рассказов,— возле угасшего костра вскоре не осталось ни одного человека.

Донельзя огорченный и обиженный, Щукарь побрел к яслям, улегся в них, натянув зипунишко и зябко ежась. В полночь на землю пала роса. Дрожа от озноба, Щукарь проснулся. «Пойду к казакам в будку, а то тут выдрогнешь, как щенок на морозе»,— порешил он.

Цепь злоключений продолжала медленно, но неотвратимо разматываться... Еще с весенней пахоты памятуя о том, что казаки спали в будке, а женщины снаружи, спросонок не соображая того, что за два месяца кое-что могло измениться, Щукарь тихонько вполз на четвереньках в будку, снял чирики, улегся с краю. Тотчас же уснул, согретый жилым теплом, а через некоторое время проснулся оттого, что почувствовал удушье. Нащупав у себя на груди чью-то голую ногу, с превеликой досадой подумал: «Ведь вот как безобразно спит пакостник! Закидывает ногу так, будто верхом на коня садится».

Но каков же был его ужас, когда он, желая сбросить с себя живую тяжесть, вдруг обнаружил, что это вовсе не мужская нога, а оголенная рука Куприяновны, а рядом со своей щекой услышал ее могучее дыхание. В будке спали одни женщины...

Потрясенный Щукарь несколько минут лежал, не шевелясь, обливаясь от волнения потом, а затем схватил чирики и, как нашкодивший кот, тихонько выполз из будки и, прихрамывая, затрусил к линейке. Никогда еще не запрягал он своих жеребцов с таким невиданным проворством! Нещадно погоняя жеребцов кнутом, он пустил их с места крупной рысью, все время оглядываясь на будку, зловеще темневшую на фоне рассветного неба.

«Хорошо, что вовремя я проснулся. А ежели бы припоздал и бабы увидали, что я сплю рядом с Куприяновной, а она, проклятая дочь, обнимает меня своей ручищей?.. Сохрани, святая богородица, и помилуй! Надо мной смеялись бы до самой моей смерти и даже после нее!»

Наступал стремительный летний рассвет. Будка скрылась из глаз Щукаря. Но за бугром его ждало новое потрясение: случайно глянув на ноги, он обнаружил на правой ноге женский почти новый чирик, с кокетливым кожаным бантиком и фасонистой строчкой. Судя по размерам, чирик мог принадлежать только Куприяновне...

Похолодев от страха, Щукарь взмолился всевышнему: «Господи милостивец, и за что ты так меня наказуешь?! Значит, в потемках я перепутал чирики. А как мне к старухе являться? На одной ноге своя обувка, на другой бабья, вот неразрешимый вопрос!»

Но вопрос оказался разрешимым: Щукарь круто повернул жеребцов по дороге к хутору, по справедливости решив, что являться в станицу ни босым, ни в разной обуви ему невозможно. «Черт с ним, с землемером, обойдутся и без него. Везде Советская власть, везде колхозы, и какая разница, ежли один колхоз оттяпает у другого малость травокосу?» — уныло рассуждал он по дороге к Гремячему Логу.

Километрах в двух от хутора, там, где близко к дороге подходит крутой яр, он принял еще одно и не менее отважное решение — снял с ног чирики, воровато глянул по сторонам и бросил чирики в яр, прошептав напоследок:

— Не погибать же из-за вас, будь вы прокляты!

Повеселевший, довольный тем, что так отлично избавился от изобличающих его улик, Щукарь даже заухмылялся, представив, как будет поражена Куприяновна, обнаружив утром загадочное исчезновение своего чирика.

Но слишком рано он развеселился: дома ожидали его два последних, самых страшных и сокрушительных удара...

Еще на подъезде к своему двору он увидел толпившихся, чем-то взволнованных женщин. «Уж не преставилась ли моя старуха?» — с тревогой подумал Щукарь. Но когда он, молча расталкивая чему-то улыбавшихся женщин, вошел в кухню и торопливо осмотрелся, у него подкосились ноги, и, творя крестное знамение, он с трудом прошептал: «Что это такое?»

Его заплаканная старуха качала завернутого в тряпье ребенка, а тот заливался судорожным плачем...

— Что же это такое за оказия? — уже громче прошептал потрясенный Щукарь.

И, яростно сверкая опухшими глазами, старуха крикнула:

— Дитя твоего подкинули, вот что это такое! Грамотей проклятущий! Читай вон бумажку на столе!

У Щукаря все больше темнело в глазах, однако он кое-как прочитал каракули, выведенные на листке оберточной бумаги:

«Как вы, дедушка, являетесь папашей этого дитеночка, вы его и кормите и воспитывайте».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К вечеру окончательно охрипшему от волнения и крика Щукарю почти удалось убедить старуху в его полной непричастности к рождению ребенка, но именно в этот момент на пороге кухни появился восьмилетний мальчишка, сын Любишкина. Шмыгая носом, он сказал:

— Дедуня, я нынче пас овец и видал, как вы уронили в яр чирики. Я нашел их, принес вам. Возьмите,— и он протянул Щукарю злополучные чирики...

Что было потом, «покрыто неизвестным мраком», как говаривал некогда сапожник Локатеев, крепко друживший со Щукарем. Известно лишь одно, что дед Щукарь неделю ходил с перевязанной щекой и запухшим глазом, а когда его, не без улыбок, спрашивали, почему у него перевязана щека,— он, отворачиваясь, говорил, что у него болит один-единственный уцелевший во рту зуб и так болит, что даже разговаривать невозможно...

## ГЛАВА XX

Рано утром Андрей Размётнов пришел в сельсовет, чтобы подписать и отправить с коннонарочным в райисполком сводку о ходе сенокоса и подготовке к хлебоуборочной кампании. Не успел он просмотреть сведения по бригадам, как в дверь кто-то резко постучался.

— Входи! — не отрываясь от бумаг, крикнул Размётнов.

В комнату вошли два незнакомых человека и сразу как бы заполнили ее. Один из них, одетый в новенькое прорезиненное пальто, коренастый и плотный, с ничем не примечательным, гладко выбритым и круглым лицом, улыбаясь, подошел к столу, протянул Размётнову каменно-твердую руку:

— Заготовитель Шахтинского отдела рабочего снабжения Бойко Поликарп Петрович, а это — мой помощник, по

фамилии Хижняк.— И небрежно, через плечо указал большим пальцем на своего спутника, стоявшего возле двери.

По виду тот явно смахивал на гуртоправа или скупщика скота: замызганный брезентовый плащ с капюшоном, сапоги яловой кожи с широкими голенищами, приплюснутая серая кепка и нарядный, с двумя кожаными махрами кнут в руках — все безмолвно свидетельствовало о его профессии. Но странно не соответствовало внешнему виду лицо Хижняка: пытливо-умные глаза, ироническая складка в углах тонких губ, манера поднимать левую бровь, словно прислушиваясь к чему-то, некая интеллигентность во всем облике — все внушительно говорило для наблюдательного глаза о том, что человек этот далек от заготовок скота и нужд сельского хозяйства. Это обстоятельство и отметил мельком про себя Размётнов. Впрочем, он только бегло взглянул в лицо Хижняка и сейчас же перевел взгляд на его непомерно широкие плечи, невольно улыбаясь, подумал: «Ну и заготовитель пошел: разбойнички, как на подбор... Им бы не заготовками заниматься, а где-нибудь под мостом стоять ночушкой да советским купцам деревянными иглами воротники пристрачивать...» С трудом сохраняя серьезность, спросил:

— По какому делу ко мне?

— Покупаем у колхозников скот личного пользования. Берем крупный и мелкий рогатый скот, а также свиней, птицей пока не интересуемся. Может быть, зимой — тогда другое дело, а пока птицу не берем. Цены кооперативные, с надбавкой на упитанность животного. Сами понимаете, товарищ председатель, что шахтерский труд — тяжелый труд, и нам надо своих рабочих-шахтеров кормить как положено и не меньше.

— Документы.— Размётнов легонько постучал ладонью по столу.

Оба заготовителя положили на стол командировочные удостоверения. Все было в полном порядке: штампы, подписи, печати, но Размётнов долго и придирчиво рассматривал предъявленные ему документы и не видел того, как Бойко повернулся к своему помощнику, подмигнул ему и оба сразу улыбнулись и тотчас же погасили улыбки.

— Думаете, липа? — уже в открытую улыбаясь, спросил Бойко, не ожидая приглашения, свободно присаживаясь на стоявший возле окна стул.

— Нет, не думаю, что бумажки ваши липовые... А поче

му вы именно в наш колхоз приехали? — Размётнов не принял шутливого тона, он вел разговор всерьез.

— Почему именно к вам? Да мы не только к вам, не один ваш колхоз думаем посетить. Мы уже побывали в шести соседних колхозах, купили с полсотни голов скота, в том числе три пары старых, выбракованных быков, телятишек, не годных к дойке коров, овечек и штук тридцать свинок...

— Тридцать семь,— поправил своего начальника стоявший в двери плечистый заготовитель.

— Совершенно верно, тридцать семь свиней приобрели, и по сходной цене. От вас двинемся дальше по хуторам.

— Расчет на месте? — поинтересовался Размётнов.

— Немедленно! Правда, больших денег мы с собой не возим: знаете, товарищ Размётнов, время неспокойное, долго ли до греха... Так мы на этот случай запаслись аккредитивом.

Размётнов, откинувшись на спинку стула, расхохотался:

— Неужели боитесь, что деньжонки отнимут? Да вы сами у любого можете карманы опорожнить и хозяина из одежки вытряхнуть!

Бойко сдержанно улыбался. На розовых щеках его, словно у женщины, играли ямочки. Хижняк сохранял полное равнодушие, рассеянно поглядывал в окно. Только теперь, когда он повернулся лицом к окну, Размётнов увидел на левой щеке его длинный и глубокий шрам, тянувшийся от подбородка до мочки уха.

— С войны примету на щеке носишь? — спросил Размётнов.

Хижняк живо повернулся к нему, скупо улыбнулся:

— Какое там — с войны, позже заработал...

— То-то я и гляжу — не похоже, что от сабельного удара. Жена царапнула?

— Нет, она у меня смирная. Это — по пьянке, ножом полоснул один приятель...

— Парень ты видный из себя, я и подумал, что жена поскоблила, а ежли не она, то, видать, по бабьей части досталось, из-за любушки? — продолжал Размётнов бесхитростные вопросы, посмеиваясь и разглаживая усы.

— А ты догадлив, председатель...— Хижняк насмешливо улыбнулся.

— Мне по должности полагается быть догадливым... И шрам у тебя не от ножа, а от шашки, мне это знакомое

дело, и сам ты, гляжу я, такой же заготовитель, как я архиерей... И морда у тебя не та, не из простых, да и руки не те: они за бычьи рога, видать, сроду не держались, благородные ручки... Хотя и крупноватые, а с белизной... Ты бы их хоть на солнце поджарил, чтобы потемнели, да в навозе вымазал, тогда бы и я поверил, что ты заготовитель. А то, что ты с кнутом похаживаешь,— это дело пустое, кнутом ты мне очки не вотрешь!

— А ты догадлив, председатель,— повторил Хижняк, но уже без улыбки.— Только догадлив ты с одного бока: шрам у меня действительно от сабельного удара, только неохота было в этом признаваться. Служил когда-то в белых, там и получил эту отметину. Кому охота вспоминать такое? А что касается рук, то ведь я не погонщик скота, а закупщик, мое дело — червонцы отсчитывать, а не телятам хвосты крутить. Тебя смущает мой вид, товарищ Размётнов? Так ведь я заготовителем работаю недавно. До этого работал агрономом, но за пьянку был снят с работы, и вот пришлось менять специальность... Понятно теперь, товарищ председатель? Вынудил ты меня на откровенность, вот и пришлось перед тобой исповедоваться...

— Исповедь твоя мне нужна, как собаке пятая нога. Пущай тебя в ГПУ исповедуют и причащают, а меня это не касается,— сказал Размётнов. Не меняя положения, он крикнул: — Марья! Пойди сюда!

Из смежной комнаты несмело вышла девушка — дежурная сельсовета.

— Сбегай-ка за Нагульновым. Скажи, чтобы на одной ноге был в Совете, мол, дело срочное есть,— приказал Размётнов и внимательно посмотрел сначала на Хижняка, потом на Бойко.

Хижняк недоумевающе и обиженно пожал необъятными плечами, сел на лавку, отвернулся, а Бойко, трясясь, как студень, от сдерживаемого смеха, наконец-то прокричал высоким тенорком:

— Вот это — бдительность! Вот это я люблю! Попался, товарищ Хижняк? Попался, как кур во щи!

Он хлопал себя ладонями по жирным коленям, гнулся пополам и смеялся с такой непосредственной искренностью, что Размётнов посмотрел на него, не скрывая удивления.

— А ты, толстый, чему смеешься? Глядите, как бы вам обоим плакать в станице не пришлось! Как хотите, хотите обижайтесь, хотите — нет, а в район я вас отправлю для

выяснения ваших личностей. Что-то вы мне подозрительные показываетесь, товарищи заготовители.

Вытирая проступившие на глазах слезы и все еще кривя от смеха полные губы, Бойко спросил:

— А документы? Ты же проверил их и признал подлинными?!

— Документы документами, а вывеска вывеской,— угрюмо ответил Размётнов и стал не спеша свертывать папироску.

Вскоре подошел Макар Нагульнов. Не здороваясь, он кивком головы указал на заготовителей, спросил у Размётнова:

— Что за люди?

— А ты сам у них спроси.

Нагульнов поговорил с заготовителями, посмотрел их удостоверения, спросил, обращаясь к Размётнову:

— Ну так в чем дело? Чего ты меня звал? Приехали люди заготовлять скот и пущай себе заготовляют.

Размётнов вскипел, но сказал достаточно сдержанно:

— Нет, заготовлять они не будут, пока я не проверю их личности. Мне эти субчики не нравятся, вот в чем дело! Зараз же отправлю их в станицу, проверят их, а потом пущай заготовляют.

Тогда Бойко тихо сказал:

— Товарищ Размётнов, скажи своей рассыльной, чтобы она вышла из дома. Есть разговор.

— А какие у нас с тобой могут быть секреты?

— Делай, что тебе сказано,— все так же тихо, но уже в тоне приказа сказал Бойко.

И Размётнов подчинился. Когда они остались одни во всем доме, Бойко достал из внутреннего кармана пиджака маленькую красненькую книжечку, подавая ее Размётнову, улыбнулся:

— Читай, глазастый черт! Раз уже маскарад наш не удался — карты на стол. Дело вот в чем, товарищи: оба мы сотрудники краевого управления ОГПУ и приехали к вам для того, чтобы разыскать одного человека — опасного политического врага, заговорщика и ярого контрреволюционера. Чтобы не привлекать к себе внимания, мы и превратились в заготовителей. Так нам проще работать: мы ходим по дворам, разговариваем с народом и надеемся, что рано или поздно, но на след этого контрика мы нападем.

— Так почему же, товарищ Глухов, вы сразу не сказали

мне, кто вы такие? Не было бы никакого недоразумения, воскликнул Размётнов.

— Условия конспирации, дорогой Размётнов! Тебе скажи, Давыдову и Нагульнову скажи, а через неделю весь Гремячий Лог будет знать, кто мы такие. Вы, ради бога, не обижайтесь, тут дело не в том, что мы вам не доверяем, но, к сожалению, иногда так бывает, а рисковать операцией, имеющей для нас весьма важное значение, мы не имеем права,— снисходительно пояснил Бойко-Глухов, пряча в карман красную книжечку, после того как с ней ознакомился и Нагульнов.

— Можно узнать, кого вы разыскиваете? — спросил Нагульнов.

Бойко-Глухов молча порылся в объемистом бумажнике, бережно положил на свою пухлую ладонь фотографию, по размерам такую, какие обычно употребляются для паспортов.

Размётнов и Нагульнов наклонились над столом. С маленького квадратика бумаги на них смотрел пожилой, добродушно улыбающийся мужчина с прямыми плечами и бычьей шеей. Но так не вязалась его наигранно-добродушная улыбка с волчьим складом лба, с глубоко посаженными, угрюмыми глазами и тяжелым, квадратным подбородком, что Нагульнов только усмехнулся, а Размётнов, покачивая головой, проговорил:

— Да-а-а, дядя не из веселых...

— Вот этого «дядю» мы и разыскиваем,— раздумчиво проговорил Бойко-Глухов, так же бережно заворачивая фотографию в лист белой, потертой по краям бумаги, пряча ее в бумажник.— Фамилия его Половцев, звать — Александр Анисимович. Бывший есаул белой армии, каратель, участник казни отряда Подтелкова и Кривошлыкова. Последнее время учительствовал, скрываясь под чужой фамилией, потом жил в своей станице. Сейчас — на нелегальном положении. Один из активных участников готовящегося восстания против Советской власти. По нашим агентурным сведениям, скрывается где-то в вашем районе. Вот и все, что можно сказать об этом фрукте. Можете сообщить о нашем разговоре Давыдову, а больше никому ни слова! Я надеюсь на вас, товарищи. А теперь — до свидания. Встречаться с нами не надо, без нужды, разумеется, а если что-либо у вас найдется интересное для нас — вызовите меня в сельсовет днем, только днем, во избежание всяких на мой счет подозрений со стороны жителей хутора. И по-

следнее: будьте осторожны! По ночам лучше вообще вам не передвигаться. На террористический акт Половцев не пойдет, не захочет себя выявлять, но осторожность не помешает. Вообще по ночам вам лучше не передвигаться, а если уже идти, то не одному. Оружие всегда держите при себе, хотя вы, очевидно, и так с ним не расстаетесь. Во всяком случае, я слышал, как ты, товарищ Размётнов, разговаривая с Хижняком, раза два крутнул в кармане брюк барабан нагана — не так ли?

Размётнов сощурил глаза и отвернулся, будто и не слышал вопроса. На выручку ему пришел Нагульнов.

— После того как по мне стреляли, мы и сготовились к обороне.

Тонко улыбаясь, Бойко-Глухов сказал:

— Не только к обороне, но, кажется, и к нападению... Кстати, убитый тобою, товарищ Нагульнов, Тимофей Дамасков, по прозвищу Рваный, одно время был связан с организацией Половцева, а члены его организации есть и в вашем хуторе,— как бы вскользь упомянул всеведущий «заготовитель».— Но потом по неизвестным причинам отошел от нее. Стрелял он в тебя не по приказу Половцева, скорее всего им руководили мотивы личного порядка...

Нагульнов утвердительно качнул головой, и Бойко-Глухов, словно читая лекцию, размеренно и спокойно продолжал:

— О том, что Тимофей Дамасков по каким-то причинам откололся от группы Половцева и стал попросту бандюгой-одиночкой, свидетельствует и тот факт, что он не передал единомышленникам Половцева станковый пулемет, хранившийся со времен гражданской войны в сарае у Дамасковых и впоследствии найденный Давыдовым. Но не в этом дело. Скажу несколько слов о нашем задании: мы должны захватить одного Половцева, и обязательно живьем. Пока он нам нужен только живой. Рядовых членов его группировки обезвредим потом. Должен добавить к этому, что Половцев — только звено в большой цепи, но звено не из маловажных. Потому-то операция по розыску и аресту его и поручена нам, а не работникам районного отделения... Чтобы у вас, товарищи, не осталось обиды на меня, скажу: о том, что мы находимся на территории вашего района, знает только один начальник вашего районного отделения ОГПУ. Даже Нестеренко не знает. Он — секретарь райкома, и в конце концов какое ему дело до каких-то мелких заготовителей скота? Пусть руководит партийной работой

в своем районе, а мы будем заниматься своими делами... И надо сказать, что в колхозах, в которых побывали до приезда к вам, мы благополучно сходили за тех, за кого себя выдаем, и только ты, Размётнов, заподозрил Хижняка, а заодно и меня в том, что мы не настоящие заготовители. Что ж, это делает честь твоей наблюдательности. Хотя так или иначе, а мне пришлось бы через пару дней открыться вам, кто мы такие на самом деле, и вот почему: профессиональное чутье мне подсказывает, что Половцев болтается где-то у вас в хуторе... Постараемся найти его сослуживцев по войне с Германией и по гражданской войне. Нам известно, в каких частях служил господин Половцев, и вероятнее всего, что он прибился к кому-либо из односумов. Вот вкратце и все. Перед отъездом мы еще увидимся, а пока — до свидания!

Уже стоя возле порога, Бойко-Глухов взглянул на Нагульнова:

— Судьбой своей супруги не интересуешься?

У Макара выступили на скулах малиновые пятна и потемнели глаза. Покашливая, он негромко спросил:

— Вы знаете, где она?

— Знаю.

— Ну?

— В городе Шахты.

— Что она там делает? У нее же там никого нет — ни сродственников, ни знакомых.

— Работает твоя супруга.

— В какой же должности? — невесело усмехнулся Макар.

— Работает на шахте откатчицей. Сотрудники наших органов помогли ей найти работу. Но она, разумеется, и не подозревает о том, кто ей помог трудоустроиться... И надо сказать, что работает очень хорошо, даже, я сказал бы, отлично! Ведет себя скромно, никаких новых знакомств не заводит, и никто из старых знакомых пока ее не навещает.

— А кто бы мог ее навещать? — тихо спросил Нагульнов.

Внешне он казался совершенно спокойным, только веко левого глаза мелко дрожало.

— Ну мало ли кто... Хотя бы знакомые Тимофея. Или ты это совершенно исключаешь? Однако мне кажется, что женщина пересмотрела свою жизнь, одумалась, и ты, товарищ Нагульнов, о ней не беспокойся.

— А с чего ты взял, что я о ней беспокоюсь? — еще

тише спросил Нагульнов и встал из-за стола, немного клонясь вперед, опираясь о край стола длинными ладонями.

Лицо его мертвенно побелело, под скулами заходили крутые желваки. Подбирая слова, он медленнее чем обычно заговорил:

— Ты, товарищ краснобай, приехал дело делать? Так ты ступай и делай его, а меня утешать нечего, я в твоих утешениях не нуждаюсь! Не нуждаемся мы и в твоих опасках: ходить ли нам днем или ночью — это наше дело. Проживем как-нибудь и без дурацких наставлений и без чужих нянек! Понятно тебе? Ну и дуй отсюдова. А то ты дюже разговорился, наизнанку выворачиваешься, тоже мне — чекист называешься, а я уже и не пойму: то ли ты действительно ответственный работник краевого ОГПУ, то ли на самом деле скупщик скота, уговариватель, а по-нашему — шибай...

Молчаливый Хижняк не без злорадства смотрел на своего несколько смущенного начальника, а Нагульнов вышел из-за стола, поправил пояс на гимнастерке и пошел к выходу — как всегда, подтянутый и прямой, пожалуй, даже немного щеголяющий своей военной выправкой.

После его ухода в комнате с минуту стояла неловкая тишина.

— Пожалуй, не надо было говорить ему о жене,— сказал Бойко-Глухов, почесывая ногтем мизинца переносицу.— Он, как видно, все еще переживает ее уход...

— Да, не надо бы,— согласился Размётнов.— Макар у нас — парень щетинистый и не дюже долюбливает, когда в грязных сапогах лезут к нему в чистую душу...

— Ну ничего, обойдется,— примиряюще сказал Хижняк, берясь за дверную скобу.

Чтобы как-то сгладить неловкость, Размётнов спросил:

— Товарищ Глухов, объясни мне: а как же с покупкой скота? На самом деле вы его покупаете или только ходите по дворам, приценяетесь?

Бойко-Глухов повеселел от столь наивного вопроса, и опять на тугих щеках его заиграли ямочки:

— Сразу видно настоящего хозяина! И скот на самом деле покупаем, и деньги сполна платим. А за наши покупки ты не беспокойся: скот гоном отправим в Шахты, а убоинку шахтеры съедят за милую душу. Съедят и спасибо нам не скажут, потому что не будут знать, какое высокое учрежде-

ние заготовляло им скот выше средней упитанности. Такие-то дела, браток!

Проводив гостей, Размётнов еще долго сидел за столом, широко расставив локти, подпирая кулаками скулы. Ему не давала покоя одна мысль: «Кто же из наших хуторных мог примкнуть к этому проклятому офицеришке?» По памяти он перебрал всех взрослых казаков в Гремячем Логу, и ни на одного из них не пало у него настоящего подозрения...

Размётнов встал из-за стола, чтобы немного размяться, раза три прошелся от двери до окна и вдруг остановился посреди комнаты, словно наткнувшись на невидимое препятствие, с тревогой подумал: «Разбередил этот толстяк Макарову душу. И на черта надо ему было говорить про Лушку! А что, ежели Макар затоскует и махнет в Шахты проведать ее? Сумной он это время ходит, виду не подаст, но похоже, что по ночам выпивает втихаря и в одиночку...»

Несколько дней Размётнов жил в тревожном ожидании: что предпримет Макар? И когда в субботу вечером в присутствии Давыдова Нагульнов сказал, что думает с ведома райкома съездить в станицу Мартыновскую — посмотреть, как работает одна из первых организованных на Дону МТС,— Размётнов внутренне ахнул: «Пропал Макар! Это он к Лушке направится! Куда же девалась его мужчинская гордость?..»

## ГЛАВА XXI

Еще с весны, когда даже на северной стороне около плетней стал оседать, истекая прозрачной влагой, последний снег, пара диких голубей-сизарей прилюбила размётновское подворье. Они долго кружились над хатой, с каждым кругом снижаясь все больше, а потом опустились возле погреба до самой земли и, легко, невесомо взмыв, сели на крышу хаты. Долго сидели, настороженно поводя головками во все стороны, осматриваясь, привыкая к новому месту; потом голубь с щеголеватой брезгливостью, высоко поднимая малинового цвета лапки, прошелся по грязному мелу, насыпанному вокруг трубы, вобрал и слегка откинул назад голову и, блистая тусклой радугой оперения на вздувшемся зобу, неуверенно заворковал. А голубка скользнула вниз, на лету два раза звучно хлопнула крыльями и, описав полукруг, села на отставший от стены наличник окна раз-

мётновской горницы. Что же иное могло означать двукратное хлопанье крыльями, как не приглашение своему дружечке следовать за ней?

В полдень Разметнов пришел домой пообедать и через дверцу калитки увидел возле порога хаты голубей. Голубка, торопливо семеня нарядными ножками, бежала по краю лужицы с талой водой, что-то поклевывая на бегу, голубь преследовал ее короткими перебежками, затем так же накоротке останавливался, кружился, кланялся, почти касаясь земли носиком и низко опущенным зобом, яростно ворковал и снова пускался в преследование, веером распустив хвост, пластаясь и припадая к непросохшей, холодной и по-зимнему неуютной земле. Он упорно держался слева, стараясь оттеснить голубку от лужицы.

Размётнов, осторожно ступая, прошел в двух шагах от них, но голуби и не подумали взлететь, они только слегка посторонились. Уже стоя возле порога хаты, Размётнов с горячей мальчишеской радостью решил: «Это не гости, это хозяева прилетели!» — И с горькой улыбкой то ли прошептал, то ли подумал: — «На мое позднее счастье поселятся, не иначе...»

Полную пригоршню пшеницы набрал он в кладовке, рассыпал против окна.

С утра Размётнов был хмур и зол: неладно выходило с подготовкой к севу, с очисткой семян; в этот день Давыдова вызвали в станицу; Нагульнов верхом уехал в поле, чтобы лично присмотреть земли, подоспевшие к севу, и Размётнов к полудню уже успел насмерть переругаться с двумя бригадирами и кладовщиком. А вот когда дома сел за стол и, позабыв про стынущие в миске щи, стал наблюдать за голубями,— как-то просветлело его опаленное вешними ветрами лицо, но тяжелее стало на сердце...

С грустноватой улыбкой смотрел он затуманенными глазами, как жадно клюет пшеницу красивая маленькая голубка, а статный голубь все кружит и кружит возле нее, кружит с безустальным упорством, не склюнув ни единой зернинки.

Вот так же лет двадцать назад кружил и он, Андрей, тогда молодой и статный, как голубь, парень возле своей милушки. А потом — женитьба, действительная служба, война... С какой же страшной и обидной поспешностью пролетела жизнь! Вспоминая жену и сына, Размётнов с грустью думал: «Редко я видал вас живых, мои родимые, редко проведываю и теперь...»

Голубю было не до еды в этот сияющий апрельским солнцем день. Не до еды было и Андрею Размётнову. Уже не затуманенными, а мутными от слез, невидящими глазами смотрел он в окно и не голубей, не весеннюю ласковую просинь видел за оконным переплетом, а вставал перед его мысленным взором скорбный облик той, которую один раз на своем веку любил он, кажется, больше самой жизни, да так и недолюбил, с которой разлучила его черная смерть двенадцать лет назад, наверное, вот в такой же блистающий весною день...

Размётнов жевал хлеб, низко опустив над миской голову: не хотел, чтобы мать видела его слезы, медленно катившиеся по щекам, солившие и без того пересоленные щи. Два раза брал он ложку, и оба раза она падала на стол, выскальзывая из его странно обессилевшей, крупно дрожавшей руки.

Бывает же в нашей жизни и так, что не только людское, но и короткое птичье счастье вызывает у иного человека с пораненной душой не зависть, не снисходительную усмешку, а тяжкие, исполненные неизбывной горечи и муки воспоминания... Размётнов решительно поднялся из-за стола, повернувшись к матери спиной, надел ватник, скомкал в руках папаху.

— Спаси Христос, маманя, что-то мне зараз обедать не дюже охота.

— Щи не хочешь, так, может, каши с кислым молоком положить?

— Нет, не хочу, не надо.

— Аль горе у тебя какое? — осторожно спросила мать.

— Какое там горе, никакого горя нету. Было, да быльем поросло.

— С мальства ты какой-то скрытный, Андрюшка... Сроду матери ничего не скажешь, сроду не пожалишься... Сердце-то, видать, у тебя с косточкой в середке...

— Сама родила, маманя, и виноватить некого. Какого пустила на свет, такой и есть, тут уж ничего не поделаешь.

— Ну и бог с тобой,— обиженно поджимая блеклые губы, сказала старуха.

Выйдя за калитку, Размётнов свернул не направо, по пути к сельсовету, а налево, в степь. Размашистым, но неспешным шагом шел он напрямик, бездорожьем, к другому Гремячему Логу, где исстари в мирной тесноте поселились одни мертвые. Кладбище было разгорожено. В эти трудные годы не в почете у живых были покойники... Ста-

рые, почерневшие от времени кресты покосились, некоторые из них лежали на земле то ничком, то навзничь. Ни одна могила не была убрана, и ветер с востока печально качал на глинистых холмиках прошлогодний бурьян, бережно шевелил, будто тонкими женскими пальцами перебирал, пряди пожухлой, бесцветной полыни. Смешанный запах тлена, сопревшей травы, оттаявшего чернозема устойчиво держался над могилами.

На любом кладбище в любое время года всегда грустно живому, но особая, пронзительная и острая грусть безотлучно живет там только ранней весною и поздней осенью.

По пробитой телятами тропинке Размётнов прошел на север за кладбищенскую черту, где прежде хоронили самоубийц, остановился у знакомой, с обвалившимися краями могилы, снял папаху с седой, низко склоненной головы. Одни жаворонки нарушали задумчивую тишину над этим забытым людьми клочком земли.

Зачем Андрей пришел сюда в этот вешний день, осиянный ярким солнцем, до краев наполненный просыпающейся жизнью? Чтобы, сцепив куцые сильные пальцы и стиснув зубы, смотреть прищуренными глазами за туманную кромку горизонта, словно пытаясь в дымчатом мареве разглядеть свою незабытую молодость, свое недолгое счастье? А быть может, и так. Ведь мертвое, но дорогое сердцу прошлое всегда хорошо просматривается либо с кладбища, либо из немых потемок бессонной ночи...

* * *

С того дня Размётнов взял поселившуюся у него пару голубей под свою неусыпную опеку. Два раза в день он разбрасывал под окном по пригоршне пшеницы и стоял на страже, отгоняя нахальных кур, до тех пор, пока голуби не насыщались. Утрами, спозаранку он подолгу сидел на порожке амбара, курил, молча наблюдал, как новые жильцы таскали за наличник окна солому, тонкие ветки, с плетней хлопья линялой бычьей шерсти. Вскоре грубой поделки гнездо было готово, и Размётнов вздохнул с облегчением: «Прижились! Теперь уже не улетят».

Через две недели голубка не слетела к корму. «Выводить села. Пошло дело на прибыль в хозяйстве»,— улыбнулся Размётнов.

С появлением голубей у него заметно прибавилось забот: надо было вовремя сыпать им корм, менять в миске

воду, так как лужа возле порога вскоре пересохла, а помимо этого, крайняя необходимость заставляла нести караульную службу по охране жалких в своей беззащитности голубей.

Однажды, возвращаясь с поля, уже на подходе к дому Размётнов увидел, как старая кошка — любимица его матери,— всем телом припадая к соломе, ползла по крыше хаты, а затем легко соскочила на полуоткрытую ставню, вертя хвостом, изготовилась к прыжку. Голубка сидела на гнезде неподвижно, спиною к кошке и, как видно, не чувствовала опасности. Всего каких-нибудь сорок сантиметров отделяли ее от гибели.

Размётнов бежал на носках, рывком вытащив из кармана наган, сдерживая дыхание и не сводя с кошки сузившихся глаз. И когда та чуть попятилась, судорожно перебирая передними лапами,— резко щелкнул выстрел, слегка качнулась ставня. Голубка взлетела, а кошка головою вниз мешковато свалилась на завалинку, наискось прошитая пулей.

На выстрел выбежала из хаты Андреева мать.

— Где у нас железная лопата, маманя? — как ни в чем не бывало деловито осведомился Размётнов.

Он держал убитую кошку за хвост и брезгливо морщился.

Старуха всплеснула руками, запричитала, заголосила, выкрикивая:

— Душегуб проклятый! Ничего-то живого тебе не жалко! Вам с Макаркой что человека убить, что кошку — все едино! Наломали руки, проклятые вояки, без убивства вам, как без табаку, и жизня тошная!

— Но-но, без паники! — сурово прервал ее сын.— С кошками теперича прощайся на веки вечные! А нас с Макаром не трогай. Мы с ним становимся очень даже щекотливые, когда нас по-разному обзывают. Мы вот именно из жалости без промаху бьем разную пакость — хоть об двух, хоть об четырех ногах,— какая другим жизни не дает. Понятно вам, маманя? Ну и ступайте в хату. Волнуйтесь в помещении, а на базу волноваться и обругивать меня я — как председатель сельсовета — вам категорически воспрощаю.

Неделю мать не разговаривала с сыном, а тому молчание матери было только на руку: за неделю он перестрелял всех соседских котов и кошек и надолго обезопасил своих голубей. Как-то, зайдя в сельсовет, Давыдов спросил:

— Что у тебя за стрельба в окрестностях? Что ни день, то слышу выстрелы из нагана. Спрашивается: зачем ты народ смущаешь? Надо пристрелять оружие — иди в степь, там и бухай, а так неудобно, Андрей, факт!

— Кошек потихоньку извожу,— мрачно ответил Разметнов.— Понимаешь, житья от них, проклятых, нету!

Давыдов изумленно поднял выгоревшие на солнце брови:

— Каких кошек?

— Всяких. И рябых, и черных, и полосатых. Какая на глаза попадется, такая и моя.

У Давыдова задрожала верхняя губа — первый признак того, что он изо всех сил борется с подступающим взрывом неудержимого хохота. Зная это, Разметнов нахмурился, предупреждающе и испуганно вытянул руку.

— Ты погоди смеяться, матросик! Ты сначала разузнай, в чем дело.

— А в чем? — страдальчески морщась и чуть не плача от смеха, спросил Давыдов.— Наверное, недовыполнение плана по линии Заготживсырья? Медленно идет сдача шкурок пушного зверя, и ты... и ты включился? Ох, Андрей! Ой, не могу... признавайся же скорей, не то я умру тут же, за столом у тебя...

Давыдов уронил голову на руки, на спине его ходуном заходили широкие лопатки. И тут Разметнов вскочил, будто осою ужаленный, выкрикнул:

— Дура! Дура городская! Голуби у меня выводят, скоро голубятки проклюнутся, а ты — «Заготживсырье, в пушной план включился»... Да на черта мне вся эта лавочка — шерсть, копыта — нужна? Голуби у меня поселились на жительство, вот я их и оберегаю, как надо. Вот теперича ты и смеись, сколько твоей душеньке влезет.

Готовый к новым насмешкам, Разметнов не ожидал того впечатления, какое произвели на Давыдова его слова, а тот наспех вытер мокрые от слез глаза, с живостью спросил:

— Какие голуби? Откуда они у тебя?

— Какие голуби, какие кошки, откуда они... Чума тебя знает, Сема, к чему ты нынче разные дурацкие вопросы задаешь мне? — возмутился Разметнов.— Ну, обыкновенные голуби, об двух ногах, об двух крылах и каждый — при одной голове, а с другого конца у каждого по хвосту, у обоих одежа из пера, а обувки никакой не имеют, по бедности и зимой ходят босые. Хватит с тебя?

— Я не про то, а спрашиваю, породистые они или нет.

В детстве я сам водил голубей, факт. Потому-то мне и интересно знать, какой породы голуби: вертуны или дутыши, а может быть, монахи или чайки. И где ты их достал?

Теперь уже улыбался Размётнов, разглаживая усы:

— С чужого гумна прилетели, стало быть, порода их называется гуменники, а ввиду того что явились без приглашениев, могут они прозываться и так — скажем, «приблудыши» или «чужбинники», потому что на моих кормах живут, а сами себе на пропитание ничего не добывают... Одним словом, можно приписать их к любой породе, какая тебе больше по душе.

— Какой они окраски? — уже серьезно допытывался Давыдов.

— Обыкновенной, голубиной.

— То есть?

— Как спелая слива, когда ее ишо не трогали руками, с подсинькой, с дымком.

— А-а-а, сизари,— разочарованно протянул Давыдов. И тотчас же оживленно потер руки.— Хотя и сизари бывают, братец ты мой, такие, что я те дам! Надо посмотреть. Очень интересно, факт!

— Заходи, поглядишь, гостем будешь!

Через несколько дней после этого разговора Размётнова на улице остановила гурьба ребятишек. Самый смелый из них, держась на почтительном расстоянии, спросил писклявеньким голосишком:

— Дяденька Андрей, это вы заготовляете кошков?

— Что-о-о?! — Размётнов угрожающе двинулся на ребят.

Те, словно воробьи, брызнули во все стороны, но через минуту снова сбились в плотную кучку.

— Это кто вам говорил про кошек? — еле сдерживая негодование, настойчиво вопрошал Размётнов.

Но ребята молчали, потупив головы, и, как один, изредка переглядываясь, чертили босыми ногами узоры на первой в этом году холодной дорожной пыли.

Наконец отважился тот же мальчишка, который первым задал вопрос. Втягивая голову в щупленькие плечи, он пропищал:

— Маменька говорила, что вы кошков убиваете из оружия.

— Ну, убиваю, но не заготовляю же! Это, брат ты мой, разное дело.

— Она и сказала: «Бьет их наш председатель, как,

скажи, на заготовку. Пущай бы и нашего кота убил, а то он гулюшков разоряет».

— Это, сынок, вовсе другое дело! — воскликнул Размётнов, заметно оживившись.— Так, значит, кот ваш разоряет голубей. Ты чей, парень? И как тебя звать?

— Папанька мой Чебаков Ерофей Василич, а меня зовут Тимошка.

— Ну, веди меня, Тимофейчик, к себе домой. Зараз мы твоему коту наведем решку, тем более что маменька твоя сама этого желает.

Благородное начинание, предпринятое во имя спасения чебаковских голубей, не принесло Размётнову ни успеха, ни дополнительной славы. Скорее даже наоборот... Сопровождаемый щебечущей на разные голоса стаей ребятишек, Размётнов не спеша шел к двору Ерофея Чебакова, совсем не предполагая того, что там ожидает его крупная неприятность. Едва он показался из-за угла переулка, осторожно шаркая подошвами сапог и все время опасаясь, как бы не наступить на чью-нибудь босую ножонку вертевшихся вокруг него провожатых, как на крыльцо чебаковского дома вышла старуха, мать Ерофея.

Рослая, дородная, величественная с виду старуха стояла на крыльце, грозно хмурясь и прижимая к груди огромного, разъевшегося на вольных харчах рыжего кота.

— Здорово, бабка! — из уважения к возрасту старой хозяйки любезно приветствовал ее Размётнов и слегка коснулся пальцами руки серой папахи.

— Слава богу. Чего пожаловал, хуторской атаман? Хвались,— басом отвечала ему старуха.

— Да вот насчет кота пришел. Ребята говорят, будто он голубей разоряет. Давай-ка его сюда, я ему зараз же трибунал устрою. Так ему, злодею, и запишем: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

— Это по какому же такому праву? Закон такой вышел от Советской власти, чтобы котов сничтожать?

Размётнов улыбнулся:

— А на шута тебе закон сдался? Раз кот разбойничает, раз он бандит и разоритель разных пташек — к высшей мере его, вот и весь разговор! К бандитам у нас один закон: «руководствуясь революционным правосознанием»,— и баста! Ну, тут нечего долго волынку тянуть, давай-ка, бабка, твоего кота, я с ним коротенько потолкую.

— А мышей у нас в амбаре кто будет ловить? Может, ты наймешься к нам на эту должность?

— У меня своя должность имеется, а вот ты и займись от безделья мышками, заместо того чтобы без толку богу молиться да спину гнуть возле икон.

— Молод ты мне указывать! — загремела старуха.— И как это наши казаки могли такого паршивца в председатели выбрать! Да ты знаешь, что со мной в старое время ни один хуторской атаман не мог сговорить и справиться?! А тебя-то я со своего база выставлю так, что ты только на проулке опомнишься!

На зычный голос старухи из-под амбара выскочил пегий щенок, залился звонким, режущим уши лаем. Размётнов, стоя возле крыльца, спокойно свертывал папиросу. Судя по размерам ее, он не собирался вскоре очистить занятую им позицию. Длиною в добрую четверть и толщиною с указательный палец папироса предназначалась для обстоятельного разговора. Но не так сложилось дело...

Спокойно и рассудительно Размётнов заговорил:

— Правда твоя, бабка! С дурна ума выбрали меня казаки председателем. Недаром же говорится, что «казак — у него ум назад». Да и я-то согласился на этакую муку не от большого разума... Но ты не горюй: вскорости я откажусь от председательской должности.

— Давно бы пора!

— Вот и я говорю, что пора, а пока, бабка, прощайся со своим котом и передавай его в мои председательские руки.

— Ты и так всех кошек в хуторе перестрелял; скоро мышей столько разведется в хуторе, что тебе же первому они ночью ногти обгрызут.

— Ни за что! — решительно возразил Размётнов.— У меня ногти такие твердые, что даже твой кобелишка об них зубы поломает. А кота все-таки давай, некогда мне с тобой торговаться. Перекрести его и давай мне по-хорошему, из полы в полу.

Из узловатых, коричневых пальцев правой руки старуха сложила внушительную дулю, а левой так самозабвенно прижала кота к груди, что тот рявкнул дурным голосом и стал царапаться и бешено фыркать. Стеной стоявшие позади Размётнова ребятишки злорадно захихикали. Симпатии их были явно на стороне Размётнова. Но они сразу же, словно по команде, стихли, как только старуха, успокоив разволновавшегося кота, закричала:

— Уходи отсюда зараз же, нечистый дух, басурманин проклятый! Уходи добром, а то ты от меня заработаешь лиха!

Размётнов заклеивал папиросу, медленно и старательно водя кончиком языка по краю шероховатой газетной бумаги, а сам исподлобья лукаво посматривал на воинственную старуху, да к тому же еще и развязно улыбался. Нечего греха таить, почему-то большое удовольствие, даже наслаждение доставляли ему словесные стычки со всеми хуторскими старухами, за исключением матери. Несмотря на возраст, еще бродило в нем молодое казачье озорство, диковинно сохранившаяся грубоватая веселинка. И на этот раз он остался верен недоброй своей привычке — закурив и затянувшись два раза подряд, приветливо, даже как бы обрадованно сказал:

— До чего ж голосок у тебя хорош, бабка Игнатьевна! Век бы слушал и не наслушался! Не ел, не пил бы, а только заставлял бы тебя с утра до вечера покрикивать... Ничего не скажешь, голос хоть куда! Басовитый, раскатистый, ну прямо как у старого станичного дьякона или как у нашего колхозного жеребца по кличке Цветок... С нынешнего дня я тебя так и буду прозывать: уже не «бабка Игнатьевна», а «бабка Цветок». Давай с тобой договоримся так: понадобится народ скликать на собрание, и ты рявкнешь на плацу во всю глотку, а мы тебе от колхоза за это по два трудодня...

Размётнов не успел закончить фразу: освирепевшая старуха, схватив кота за загривок, по-мужски размахнулась. Размётнов испуганно шарахнулся в сторону, а кот, широко распластав все четыре лапы, вращая зелеными глазами и утробно мяукая, пролетел мимо него, пружинисто приземлился и, распушив по-лисьи огромный хвост, со всех ног бросился к огороду. За ним с истерическим визгом, болтая ушами, устремился щенок, а за щенком, издавая дикие вопли, кинулись ребята... Кота через плетень будто ветром перенесло, щенок, будучи не в состоянии преодолеть столь чудовищное препятствие, на всех махах пошел в обход, к издавна знакомому перелазу; зато ребята, дружно вскочив на ветхий плетень, сразу же с хряпом обрушили его.

Кот мелькал по огуречным грядкам, по гнездам с помидорами и капустой рыжей молнией, а Размётнов, преисполненный восторга, приседал, хлопал ладонями по коленям, орал:

— Держи его! Уйдет! Лови, я его знаю!..

Каково же было удивление Размётнова, когда, взглянув случайно на крыльцо, он увидел, что бабка Игнатьевна, придерживая руками бурно колышущуюся тяжелую грудь,

неудержимо смеется. Она долго терла кончиками головного платка глаза и, все еще не отсмеявшись, глуховато сказала:

— Андрюшка Размётнов! За потраву хоть ты, хоть твой сельсовет — мне все одно заплатите! Вот к вечеру подсчитаю, что повытоптали твои бандиты, каких ты с собой привел, а потом раскошеливайся!

Андрей подошел к крыльцу, глянул снизу вверх на старуху просящими глазами:

— Бабушка, хоть из своего председательского жалованья, хоть осенью с нашего огорода — расплата будет произведена полностью! А за это дай мне голубятков, каких твой кот разорил. У меня скоро своих пара выведется, да пара, каких ты мне пожалуешь, вот я и при хозяйстве буду.

— Да забери ты их, ради Христа, хоть всех. Доходу-то от них, только кур моих голодят и объедают.

Повернувшись к огороду, Размётнов крикнул:

— Ребята, отбой!

А десять минут спустя он уже шел домой, но не переулками, а низом, возле речки, чтобы не привлекать к себе внимания досужих гремяченских женщин... С севера дул свежий, прямо-таки холодный ветер. Размётнов посадил в папаху пару теплых, с тяжелыми зобами голубят, папаху прикрыл полою ватника, а сам воровски поглядывал по сторонам, смущенно улыбался, и ветер, холодный ветер с севера, шевелил его поседевший чуб.

## ГЛАВА XXII

За два дня до собрания гремяченской партячейки к Нагульнову на квартиру пришли шесть колхозниц. Было раннее утро, и женщины постеснялись толпой идти в хату. Они чинно расселись на ступеньках крыльца, на завалинке, и тогда жена Кондрата Майданникова, поправив на голове чистый, густо подсиненный платок, спросила:

— Мне, что ль, идти к нему, бабоньки?

— Иди ты, коль сама назвалась,— за всех ответила сидевшая на нижней ступеньке жена Агафона Дубцова.

Макар брился в своей комнатке, изогнувшись дугой, неловко сидя перед крохотным осколком зеркала, кое-как прилаженным к цветочному горшку. Старая, тупая бритва с треском, похожим на электрические разряды, счищала со смуглых щек Макара черную жесткую щетину, а сам он страдальчески морщился, кряхтел, иногда глухо рычал,

изредка вытирая рукавом исподней рубахи выступавшие на глазах слезы. Он умудрился несколько раз порезаться, и жидкая мыльная пена на его щеках и шее была уже не белой, а неровно розовой. Отраженное в тусклом зеркальце лицо Макара выражало попеременно разные чувства: то тупую покорность судьбе, то сдержанную муку, то свирепое ожесточение; иногда отчаянной решимостью оно напоминало лицо самоубийцы, надумавшего во что бы то ни стало покончить жизнь при помощи бритвы.

Жена Майданникова, войдя в горницу, тихо поздоровалась. Макар живо повернул к ней нахмуренное, перекосившееся от боли и окровавленное лицо, и бедная женщина испуганно охнула, попятилась к порогу:

— Ой, родимец тебя забери! Да что уж ты это так окровенился? Ты бы хоть пошел умылся, а то льет из тебя, как из резаного кабана!

— Не пужайся, чертова дура, садись,— ласково улыбаясь, приветствовал ее Макар.— Бритва тупая, потому и порезался. Давно бы выкинуть ее надо, да жалко, привык мучиться с проклятой. Она со мной две войны прошла, пятнадцать лет красоту мне наводила. Как же я могу с ней расстаться? Да ты садись, я зараз управлюсь.

— Тупая, говоришь, бритва? — не зная, что сказать, переспросила Майданникова, несмело садясь на лавку и стараясь не смотреть на Макара.

— До ужасти! Хоть конец...— Макар поперхнулся словом, два раза кашлянул, скороговоркой закончил: — Хоть глаза завязывай и скоблись наизусть! Да ты, собственно, чего явилась ни свет ни заря? Что у тебя там стряслось? Уж не паралик ли Кондрата разбил?

— Нет, он здоровый. Да я не одна пришла, нас шестеро баб к твоей милости.

— С какой нуждой?

— Послезавтра ты будешь наших мужей в свою партию принимать, так вот мы хотели к этому дню школу в порядок произвесть.

— Сами додумались или мужья подсказали?

— Да у нас, что же, своего ума нехватка? Мелко ты нас крошишь, товарищ Нагульнов!

— Ну что ж, ежли сами догадались — доброе дело!

— Помазать и побелить снутри и снаружи хотим.

— Вовсе хорошее дело! Одобряю целиком и полностью, только поимейте в виду, что трудодни за эту работу начислять не будем. Это — дело общественное.

— Какие же трудодни, ежели мы своей охотой беремся? Только ты скажи бригадиру, чтобы он нас на другую работу не выгонял. Нас шестеро душ, запиши нас на бумажку.

— Бригадиру скажу, а писать тут нечего, и без вас бюрократизму и разной писанины хватает.

Майданникова встала, помолчав немного, взглянула сбоку на Макара, тихо улыбнулась:

— А мой-то не хуже тебя чудак, ажник почуднее будет... Люди говорят, что он на полях зараз каждый божий день броется, а домой придет — рубахи примеряет... У него их всего на счет три штуки, и вот он мудрует, то одну наденет, то другую, не знает, в какой ему в воскресенье в партию вступать лучше... Я уж смешком говорю ему: «Ты — как девка перед свадьбой». А он злится страшно! Злится, а виду не подает, только иной раз, когда я над ним зачну подсмеиваться, он сразу глаза сделает узкими, и я уже знаю, что зараз он ругнется черными словами, и я скоренько ухожу, не хочу его вовсе расстраивать...

Макар усмехнулся, подобрел глазами.

— Твоему мужу, милушка, это дело важнее, чем девке замуж выйти. Свадьба — плевое дело! Перевенчали и домой помчали, как говорится, и дело с концом, а партия — это, девка, такая музыка... одним словом, такая музыка... Хотя ты ни черта ничего не поймешь! Ты в партейных рассуждениях и понятиях будешь плавать, как таракан во щах, чего же я с тобой буду без толку гутарить, воду в ступе толочь? Одним словом, партия — это великое дело, и это мое последнее слово. Ясно тебе?

— Ясно, Макарушка, только ты скажи, чтобы нам глины привезли возов десять.

— Скажу.

— И мелу на побелку стен.

— Скажу.

— И пару лошаденок с ребятишками, глину месить.

— Может, тебе ишо десяток штукатуров из Ростова представить? — с ехидцей вопросил Макар, далеко отводя бритву, поворачиваясь к Майданниковой, как волк, всем корпусом.

— Штукатурить сами будем, а лошадей дашь, иначе не управимся к воскресенью.

Макар вздохнул:

— Умеете вы, бабы, на шею добрым людям верхи садиться... Ну да ладно, дадим и лошадей, все представим

в ваше распоряжение, только уходи ты, ради бога! Я через тебя дополнительно два раза порезался! Мне с тобой ишо две минуты поговорить, и на мне живого места не останется. Ясно?

В мужественном голосе Макара было столько жалобной просительности, что Майданникова быстро повернулась, сказала: «Ну, прощай!» и вышла. А через секунду снова приоткрыла дверь.

— Ты извини меня, Макар...

— Чего ишо надо? — В голосе Макара звучала уже неприкрытая досада.

— Забыла сказать тебе спасибочко.

Дверь звучно захлопнулась. Макар вздрогнул и еще раз глубоко запустил бритву под кожу.

— Тебе, то есть вам, спасибо, чертова дуреха, а мне не за что! — крикнул он вдогонку и долго беззвучно смеялся.

И вот этот пустяк так развеселил всегда сурового Макара, что он до вечера улыбался про себя, как только вспоминал о визите Кондратовой жены, о ее не вовремя сказанном «спасибочко».

* * *

Дни стояли на редкость погожие, солнечные и безветренные. В субботу к вечеру школа сияла снаружи безукоризненной побелкой стен, а внутри чисто вымытые и натертые битым кирпичом полы были так девственно чисты, что всем, кто входил в школу, поневоле хотелось передвигаться на цыпочках.

Открытое партийное собрание было назначено на шесть часов вечера, но уже с четырех в школе собралось более полутораста человек, и сразу же во всех классах, несмотря на то что окна и двери были открыты настежь, горько и крепко запахло самосадом, мужским, спиртовой крепости пóтом и запахом дешевой помады и такого же мыла — от сбившихся в кучу разнаряженных девок и баб.

Впервые в Гремячем Логу проводилось открытое партсобрание по приему в партию новых членов, да еще своих хуторян, а потому к шести часам весь Гремячий Лог, за исключением детей и лежачих больных, был либо в школе, либо возле нее. В степи, на полевых станах не осталось ни одной души, все явились в хутор, и даже хуторской пастух дед Агей бросил стадо на попечение подпаска, пришел

в школу приодетый, с тщательно расчесанной бородой и в старинных, сильно поношенных сапогах с дутыми голенищами. Так необычен был вид его, обутого, старательно наряженного, без кнута и холщовой сумки на боку, что многие пожилые казаки не узнавали его с первого взгляда и здоровались, как с незнакомым пришельцем.

Ровно в шесть часов Макар Нагульнов встал из-за стола, покрытого красной сатиновой скатертью, оглядел густые ряды колхозников, тесно сидевших за партами и стоявших в проходах. Глухой шум голосов и чей-то визгливый женский смех в самом последнем ряду не стихали. Тогда Макар высоко поднял руку:

— А ну, уймитесь трошки, которые самые горластые, и особенно бабы! Прошу соблюдать всевозможную тишину и считаю открытое партийное собрание гремяческой ячейки ВКП(б) открытым. Слово имеет товарищ Нагульнов, то есть я самый. На повестке дня у нас один вопрос: о приеме в партию новых наших членов. Поступило к нам несколько штук заявлений, и в их числе — заявление от нашего хуторца Кондрата Майданникова, какого вы все знаете как облупленного. Но порядок и устав партии требуют его обсуждения. Прошу всех, как партейных, так и прочих беспартейных товарищей и граждан высказаться по существу Кондрата, кто и как вздумает, кто — «за», а кто, может быть, и «против». Противное высказывание называется отводом. «Даю, мол, отвод товарищу Майданникову»,— а тогда уже выкладывай факты, почему Майданников недостоин быть в партии. Нам нужны порочные факты, только такие мы можем принимать в рассуждение, а рассусоливать вокруг да около и трепаться насчет человека без фактов — дело дохлое. Такой трепотни мы и в расчет не будем брать. Но спервоначалу я зачитаю маленькое заявленьице Кондрата Майданникова, потом он расскажет про свою автобиографию, то есть про описание своей прошедшей, текущей и будущей жизни, а потом уже валяйте вы, кто и во что горазд, в смысле товарища нашего Майданникова. Задача ясная? Ясная. Стало быть, действую, то есть зачитываю заявление.

Нагульнов прочитал заявление, разгладил листок бумаги на столе и положил на него свою длинную, тяжелую ладонь. Многих бессонных ночей и мучительных раздумий стоил Кондрату этот листок, вырванный из ученической тетради... И теперь Кондрат, изредка взглядывая то на сидевших за столом коммунистов, то на своих соседей по

парте необычным для него, робким взглядом, волновался так, что на лбу у него выступили крупные капли пота и лицо казалось словно бы обрызганным дождем.

В нескольких словах он рассказал о своей жизни, мучительно подыскивая слова, надолго умолкая, хмурясь и одновременно улыбаясь вымученной, жалкой улыбкой. Любишкин не выдержал, громко сказал:

— И чего ты своей житухи стесняешься? Чего мнешься, как конь на привязи? Житуха у тебя хорошая, шпарь смелее, Кондрат!

— Я все сказал,— тихо ответил Майданников, садясь и зябко поводя плечами.

У него было такое ощущение, будто вышел он раздетый из парно-теплой хаты на мороз...

После недолгого молчания поднялся Давыдов. Он коротко, но горячо говорил о Майданникове, увлекающем своим трудом остальных колхозников, привел его в пример другим, под конец убежденно заявил:

— Вполне достоин быть в рядах нашей партии, факт!

Еще несколько выступавших говорили о Майданникове тепло и доброжелательно. Их не раз прерывали одобрительными криками:

— Правильно!

— Хорош хозяин!

— Оберегает колхозный интерес.

— Этот общественную копейку не уронит, а ежели уронит одну — подымет две.

— Про него плохого не сбрешешь, не поверят!

Много лестных слов выслушал о себе бледный от волнения Кондрат, и казалось бы, что мнение о нем собравшихся единодушно. Но тут неожиданно не встал, а взвился дед Щукарь и начал:

— Дорогие гражданы и старухи! Даю полный отлуп Кондрату! Я не такой, как другие, по мне дружба — дружбой, а табачок — врозь. Вот какой я есть человек! Так уж тут разрисовали Кондрата, что не человек он, а святой угодник! А спрошу я вас, гражданы: какой из него может образоваться святой, ежели он такой же грешный, как и мы, остальные прочие?

— Ты путаешь, дед, как и завсегда! Мы же не в рай его принимаем, а в партию,— пока еще подобру поправил старика Нагульнов.

Но не таков был дед Щукарь, чтобы одной репликой можно было смирить его или привести в смущение. Он

повернулся к Нагульнову, зло сверкая одним глазом — другой был завязан красным, давно не стиранным платком.

— Ох, и силен ты, Макарушка, на добрых людей жать! Тебе бы только на маслобойке работать заместо прессы, из подсолнушка масло выдавливать... Ну, что ты мне рот зажимаешь и слова не даешь сказать? Я же не про тебя говорю, не тебе отлуп делаю? Ну и помолчи, потому что партия указывает — изо всех силов разводить критику и самокритику. А что есть самокритика? По-русски сказать – это самочинная критика. А что это обозначает? А это обозначает то, что должон ты щипать человека, как и за какое место вздумаешь, но чтобы непременно до болятки! Щипай его, сукиного сына, так, чтобы он соленым потом взмок от головы до пяток! Вот что обозначает слово самокритика, я так понимаю.

— Стой, дед! — решительно прервал его Нагульнов.— Ты не искажай слова, как тебе вздумается! Самокритика — это означает самого себя критиковать, вот что это такое. На колхозном собрании будешь ты выступать, вот тогда ты и щипай самого себя, как тебе вздумается и за какое угодно место, а пока уймись и сиди смирно.

— Нет, это ты уймись и критику мою мне обратно в рот не запихивай! — разгорячась, закричал фальцетом дед Щукарь.— Больно уж ты умен, Макарушка! С какого же это пятерика я сам на себя буду всякую всячину переть? И чего ради я сам на себя буду наговаривать? Дураки при Советской власти перевелись!.. Старые перевелись, а сколько новых народилось — не счесть! Их и при Советской власти не сеют, а они сами, как житопадалица, родятся во всю ивановскую, никакого удержу на этот урожай нету! Взять хотя бы тебя, Макарушка...

— Ты меня не касайся, тут не обо мне речь,— строго сказал Нагульнов.— Ты говори по существу, про Кондрата Майданникова, а ежели тебе сказать нечего, заткнись и сиди тихо, как все порядочные люди.

— Значит, ты порядочный, а я нет? — грустно спросил дед Щукарь.

Тут кто-то из сидевших в задних рядах пробасил:

— Ты бы, порядочный дед, рассказал про себя, с кем ты на старости годов дитя прижил и почему у тебя один глаз видит, а другой синяком заплыл? А то ты на других кукарекаешь, как кочет с плетня, а про себя молчишь, хитрый черт!

По школе прокатился гулкий смех и сразу, как только

встал Давыдов, стих. Лицо Давыдова было хмуро, голос звучал негодующе, когда он заговорил:

— Здесь, товарищи, не веселый спектакль, а партийное собрание, факт! Кому угодно веселиться, пусть идут на посиделки. Вы будете говорить по существу вопроса, дедушка, или вам желательно балагурить и дальше?

Давыдов впервые обращался к Щукарю с такой убийственной вежливостью, и, наверное, от этого дед Щукарь взбеленился окончательно. Он подпрыгнул, стоя за партой, как молодой петух перед боем, даже бороденка его затряслась от ярости:

— Это кто же балагурит? Я или этот полоумный, какой сзади сидит и задает мне дурацкие вопросы? И что это за такое открытое собрание, когда человеку слово открыто нельзя сказать? Да я что вам? Лишенный права голоса или как? Я говорю по существу Кондрата, что даю ему отлуп. Таких нам в партию не нужно, вот и весь мой разговор!

— Почему, дедушка? — давясь от смеха, спросил Размётнов.

— Потому, как он неудостоенный быть в партии. И чего ты смеешься, белоглазый? Пуговицу, что ли, на полу нашел и смеешься, рад до смерти, в хозяйстве, мол, и пуговица пригодится? А ежели тебе не понятно, почему Кондрат неудостоенный для партии, я тебе категорически поясню, и тогда ты перестанешь ухмыляться, как мерин — на овес глядючи... Другим вы мастера указывать, а сами какие? Ты, председатель сельсовета, важная личность, с тебя и старые и малые должны придмер брать, а ты как ведешь себя? Дуешься на собрании от дурацкого смеха и синеешь, как индюк! Какой ты председатель и какой может быть смех, ежели тут Кондратова судьба на весах качается? Вот и возьми себе в голову: кто из нас сурьезнее, ты или я? Жалко, парень, что Макарушка мне запрет сделал вставлять в разговор разные иностранные слова, какие я у него в словаре наизусть выучил, а то бы я так покрыл тебя этими словами, что ты и вовек не разобрался бы, что и к чему я говорю! А против Кондрата в партии я потому, что он мелкий собственник и больше вы из него ничего не выжмете, хучь под прессу его кладите! Макуха, какая жмыхом называется по-ученому, из него выйдет, а коммунист — ни за что на свете!

— Почему же, отец, из меня коммуниста не выйдет? — спросил Кондрат дрожащим от обиды голосом.

Дед Щукарь ехидно сощурил глаз:

— Будто ты сам не знаешь?

— Не знаю, и ты объясни толком и мне и другим гражданам — через чего я недостойный? Только говори одну гольную правду, безо всяких твоих сочинениев.

— А я когда-нибудь брехал? Или, к придмеру, всякие разные сочинения сочинял? — Щукарь вздохнул на всю школу, горестно покачал головой.— Напролет, как есть, всю свою жизню я одну правду-матку в глаза добрым людям режу, через это самое, Кондратушка, я кое-кому и есть на этом свете неугодный алимент. Твой покойный родитель, бывалоча, говорил: «Уж ежели Щукарь брешет, кто тогда и правду говорит!» Вот он как высоко меня подымал, покойничек! Жалко, что помер, а то он и зараз бы свои слова подтвердил, царство ему небесное!

Щукарь перекрестился, хотел было уронить слезу, но почему-то раздумал.

— Ты поясняй всчет меня, родитель тут ни при чем. В чем ты меня именно урекаешь? — настойчиво потребовал Майданников.

Сдержанный шумок неодобрения, судя по отдельным возгласам, явно относившийся к Щукарю, нимало не смутил его. Как опытный пчеловод, привычно внимающий гулу потревоженной большой пчелиной семьи, Щукарь и тут сохранил выдержку и полное спокойствие. Плавно, умиротворяюще поводя руками, он сказал:

— Сей минут все, как есть, проясню. И вы, граждане и дорогие старухи, свой шум оставьте при себе, меня вы все равно не собьете с моего протекания мысли. Тут насчет меня зараз был сзади такой змеиный шип: дескать, «коту делать нечего, так он...» — и так далее и тому подобная пакость была сзади меня сказанная шепотом. Только я знаю, чей это ужачиный шепот. Это, дорогие граждане и старушки, Агафон Дубцов шипит на меня, как лютый змей из треисподней! Это он хочет мне пороки забить, чтобы я сбился с мысли и про него ничего не сказал. Но такой милости он от меня не дождется, не на таковского напал! Агафон тоже норовит в партию пролезть, как ужака в погреб, чтобы молока напиться, но я ему отлуп нынче дам похлеще, чем Кондрату, я и про него знаю кое-что такое, что все вы ахнете, когда узнаете, а может кое-кого и омороком шибнет.

Нагульнов постучал карандашом по пустому стакану, сердито сказал:

— Старик, ты уже сбился со своей путаной мысли,

кончай! Ты один все время на собрании занимаешь, надо же и совесть знать!

— Опять ты, Макарушка, глотку мне затыкаешь? — плачущим голосом возопил дед Щукарь.— Ежели ты секлетарь ячейки, значит, ты можешь меня зажимать? Ну, уж это дудки! В партейном уставе нету такой графы, чтобы старикам запретно было говорить, это я точно знаю! И как у тебя язык поворачивается говорить про меня, будто я бессовестный? Ты бы свою Лушку совестил, пока она подолом от тебя не замахала в неизвестные края, а мне даже старуха моя сроду не говорила, что я бесстыжий. Обидел ты меня, Макарушка, до смерти!

Щукарь все же уронил заветную слезу, вытер глаз рукавом рубахи, однако продолжал с прежним накалом:

— Но я такой человек, что кому хошь не смолчу, и на закрытом партейном собрании я доберусь и до тебя, Макарушка, да так, что ты из-под меня не вывернешься, не на таковского ты напал! Я отчаянный, когда разойдусь, уж кому-кому, а тебе бы это надо знать и разуметь, ить мы же с тобой темные друзья, весь хутор про это знает. И давние мы друзья, так что ты окончательно берегись меня и моей критики и самокритики! Я никому спуску не даю, поимейте это в виду все, кто хочет партию загрязнять!

Перекосив левую бровь, Нагульнов повернулся к Давыдову, шепнул:

— Вывести его? Сорвет собрание! И как ты не догадался командировать его куда-нибудь на нынешний день! Попала деду шлея под хвост, зараз ему удержу не будет...

Но Давыдов левой рукой заслонял лицо газетой, а правой вытирал слезы. Он не мог от смеха слова сказать и только отрицательно качал головой. Нагульнов, обуреваемый великой досадой, пожал плечами, снова вперил гневный взор в деда Щукаря. А тот как ни в чем не бывало продолжал, торопясь и захлебываясь:

— Раз у нас открытое собрание, то должон ты, Кондратушка, то же самое открыто сказать: когда ты вступил в колхоз и вел сдавать в колхоз свою пару быков, кричал ты по ним слезьми или нет?

— Вопрос, к делу не относящий! — крикнул Демка Ушаков.

— Пустой вопрос! Чего ты тут яишную скорлупу перебираешь? — поддержал его Устин Рыкалин.

— Нет, не пустой, не яишный вопрос, а я дело спраши-

ваю! И вы, доброхоты, заткните глотки! — стараясь перекричать их, багровея от натуги, заорал дед Щукарь.

Выждав тишины, уже тихо и вкрадчиво, он заговорил:

— Может, ты не помнишь, Кондратушка, а я помню, что гнал ты утром быков на обчественный баз, а у самого глаза были по кулаку и красные, как у крола или, скажем, как у старого кобеля спросонок. Вот ты и ответствуй, как попу на духу: было такое дело?

Майданников встал, смущенно одернул рубаху, коротко посмотрел на деда Щукаря затуманенными глазами, но ответил со сдержанной твердостью:

— Было такое дело. Не потаюсь, всплакнул. Жалко было расставаться. Мне эти быки не от родителя в наследство достались, а нажил их сам, своим горбом. Они мне не легко достались, эти быки! Это дело прошлое, отец. А что тут для партии вредного от моих прошедших слез?

— Как это — что вредного? — возмутился Щукарь.— Да ты куда со своими быками шел? Ты, милок, в социлизм шел, вот куда ты с ними направлялся! А после социлизма что у нас будет? А будет у нас полный коммунизм, вот что будет, это я тебе прямо скажу! Я у Макарушки Нагульнова, можно сказать, вывелся на дому, все вы предсидящие тут знаете, что мы с ним огромадные друзья, и я у него разных знаниев зачерпываю, сколько в пригоршни влезет: по ночам то разные толстые книжки, сурьезные, без картинок, прочитываю, то словарь читаю, ученые слова норовлю запомнить, но тут старость моя, язви ее в душу, подводит! Память стала — как штаны с порватыми карманами, что ни положи — наскрозь проскакивает, да и шабаш! А уж ежели какая-нибудь тонкая брошюрка мне попадется, эта из рук не вырвется! Все как есть упомню! Вот я какой бываю, когда разойдусь на разное и тому подобное чтение! Много я разных брошюров прочитал и до точности знаю и могу спорить с кем угодно, хучь до третьих кочетов, что после социлизма припожалует к нам коммунизм, категорически вам заявляю! Тут-то меня и одолевает сомнительность, Кондратушка... В социлизм ты входил, слезьми умываючись, а в коммунизм как же ты заявишься? Не иначе как по колено в слезах прибредешь, уж это как бог свят! Так оно и будет с тобой, я как в воду гляжу! А спрошу я вас, граждане и дорогие старушки, на кой ляд он нужен в партии, такой слезокап?

Дед весело хихикнул и прикрыл ладонью беззубый рот.

— Терпеть ненавижу я разных сурьезных людей, а в

партии и вовсе! Ну, на кой хрен они там нужны, такие мрачности? Тоску наводить на добрых людей, партейный устав своим видом искажать и портить? В таком разе спрошу я вас: почему вы Демида Молчуна в партию не берете? Вот уж кто бы смертной скуки в ваши ряды нагнал! Сурьезнее человека я в жизни не видывал! А по-моему, в партию надо принимать людей веселых, живительных, таких, как я, а то набирают туда одних сурьезных, толмачей каких-то, а что от них толку? Вот взять хоть бы Макарушку. Он с восемнадцатого года как выпрямился, будто железный аршин проглотил, так и до нынче ходит сурьезный, прямой, важный, как журавль на болоте. Ни шутки от него не послышить, ни веселого словца, одна гольная скука в штанах, а не человек!

— Дед, не касайся ты меня и не переходи на мою личность, а то я приму меры,— строго предупредил Нагульнов.

Но старик, блаженно улыбаясь и будучи не в силах побороть ораторский зуд, горячо продолжал:

— А я тебя вовсе и не касаюсь, и даже ни вот столечко! И тот же Кондрат, возьмите его за рупь двадцать, так на карандаше верхи и ездит: все-то он записывает да подсчитывает, как будто без него некому записывать. В Москве, небось, умными людями давным-давно все начисто записано и переписано, и нечего ему самому себе голову морочить! Его дело быкам хвосты крутить, а он дуриком прется туда же, куда и шибко грамотные люди в Москве... А по-моему, граждане и дорогие мои старушки, делает он все это от великой несознательности ума. Нету пока ишо у нашего Кондрата политической развитости, а раз нету развитости, не достиг ее, то и сиди дома, развивайся помаленьку, не спеша, и в партию пока не лезь. Пущай он хучь лопнет от обиды, этот Кондрат, но я категорически против него и даю ему полный отлуп!

И тут вдруг Давыдов услышал из соседнего класса высокий, дрожащий голосок Вари Харламовой. Давно не видел он девушку, давненько не слышал ее милого грудного голоса...

— Разрешите мне сказать?

— Выходи сюда, чтобы все тебя видали,— предложил Нагульнов.

Смело пробиваясь сквозь плотно сбитую толпу, к столу подошла Варюха-горюха, легким касанием загорелых рук поправила волосы на затылке.

Давыдов смотрел на нее с тихим изумлением, улыбался и не верил своим глазам. За несколько месяцев Варюха неузнаваемо изменилась: нет, уже не угловатый подросток, а статная девушка, с горделивым посадом головы, с тяжелым узлом волос, прихваченных голубой косынкой, стояла, повернувшись к столу президиума вполоборота, выжидала тишины и смотрела куда-то поверх голов тесно сидевших людей, щуря молодые красивые глаза, будто вглядываясь куда-то в дальнюю степную даль. «Как же здорово она похорошела с весны!» — думал Давыдов.

Глаза Варюхи возбужденно блестели, блестело и мокрое от пота, розовое, не знавшее ни пудры, ни помады лицо. Но тут под многими устремленными на нее взглядами мужество изменило ей; крупные руки судорожно скомкали кружевной платочек, лицо заполыхало густым румянцем, и грудной голосок задрожал от волнения, когда она, обращаясь к Щукарю, заговорила:

— Неправда ваша, дедуня! Плохо вы говорите про товарища Майданникова Кондрата Христофорыча, и никто вам тут не поверит, что он недостойный быть в партии! Я с весны работала с ним на пахоте, и он пахал лучше всех и больше всех! Он всю силу покладает на колхозной работе, а вы против него идете... Вы старый человек, а рассуждаете, как несмысленое дите!

— Всыпь ему перцу, Варька! А то он гремит, как балабон на шее у телка, и доброго слова от других за ним не услышишь,— сочным басом, не напрягая голоса, сказал Павел Любишкин.

— Варька правильно гутарит. У Кондрата трудодней больше всех в колхозе. Работящий он казак! — вставил старик Бесхлебнов.

А кто-то из сеней крикнул простуженным тенорком:

— Ежели таких, как Кондрат, не принимать в партию, тогда пишите в нее дедушку Щукаря! При нем колхоз сразу в гору прянет...

Но дед Щукарь только снисходительно посмеивался в свалявшуюся, давным-давно не чесанную бороденку и стоял за партой, как врытый, даже не поворачиваясь на голоса выступавших. А когда снова наступила тишина, он спокойно сказал:

— Варьке и быть-то тут вовсе не полагается, как она несовершенних лет. Ей где-нибудь под сараем в куклы играть надо, а она, сорока, явилась сюда таких мудрых стариков, как я, уму-разуму учить. Потеха, а не жизня

пошла! Яйца курицу начали учить... И другие хороши: один про трудодни рассуждает — мол, у Кондрата их на арбу не покладешь... А спрошу я вас: при чем тут трудодни? Это тоже от жадности, мелкие собственники завсегда жадные, ежели хотите знать, про это дело Макарушка мне не один раз толковал. И ишо один глупой выискался — дескать, возьмите Щукаря в партию, и колхоз сразу воспрянет... И смеяться тут вовсе ни к чему, одни тронутые умом могут смеяться и разные подобные хаханьки устраивать. Грамотный я? Вполне! Читаю что хочешь и свободно расписываюсь. Разделяю устав партии? Очень даже разделяю! С программой согласный? Согласный и ничего супротив нее не имею. От социлизма до коммунизма могу не токмо шагом, но даже намётом мчаться, конечно, по моим стариковским возможностям, не дюже спешно, чтобы не задвохнуться. И я бы давно уже в партии процветал и, гляди, уже ходил бы с портфелью под мышкой, но, дорогие граждане и дорогие старушки, скажу, как перед господом богом, пока ишо неудостоенный и я в нашей партии... А почему, спрошу я вас? Да потому, что леригия меня заела, будь она трижды проклята! Чуть чего где-нибудь над головой, в высоте, резко гром вдарит, а я уже шепотком говорю: «Господи, помилуй меня, грешного!» — и тут же сотворяю крестное знамение, молюсь и Исусу Христу, и деве Марии, и богородице-дева радуйся, и всем, как есть, святителям, какие под горячую руку попадутся, подряд молюсь, и даже на прицыпочки приседаю от такого неприятного грома...

Под впечатлением собственного рассказа дед Щукарь хотел было и тут перекреститься, даже донес руку до лба, но вовремя одумался и, почесав лоб, смущенно захихикал.

— Да ить оно как сказать... Страх в глазах, вот и соображаешь про себя: «А черт его знает, что он, этот Илья-пророк, надумает! Возьмет и, потехи ради, саданет тебя молоньей в лысину, вот и ложись, Щукарь, откидывай копыта на сторону». А мне это вовсе ни к чему! Я ишо до коммунизма хочу дотопать, до сладкой жизни добраться, потому-то иной раз, когда нужда припрет, и молюсь, и попу мелочишку, не больше двугривенного серебреника, суну, чтобы бога лишний раз не гневить. Ты думаешь, что так надежнее дело будет, а там черт его знает, как это овчинка вывернется, мездрой или шерстью... Ты мечтаешь, что поп за тебя, дурака, молиться будет о здравии, а попу, ежели разобраться, ты нужен, как мертвому гулящая баба, или, по ученому сказать, бордюр, это одно и то же. Он, проклятый

поп, норовит за твои деньги водки напиться, а не богу молиться... Вот я вам и проясняю: куда же я со своей анафемской леригией в партию полезу? И ее, милушку, искажать, и самого себя, и программу? Нет уж, ослобоните меня от такого греха! Мне это вовсе ни к чему, категорически заявляю!

— Дед, опять ты вильнул в сторону! — крикнул Размётнов.— Сворачивай на дорогу, не путляйся по обочинам!

В ответ Щукарь предостерегающе поднял руку:

— Я зараз кончаю, Андрюшенька. Ты только не сбивай меня своими глупыми возгласами, а то я вовсе ни к какому краю не прибьюсь. Ты сиди и спокойночко слушай умные речи, запоминай их, они тебе в жизни сгодятся. Я сроду мимо не скажу, у меня этого не бывает, а вы с Макарушкой по очереди возглашаете на меня, как дьякона с клироса, и, само собой, я нехотяючи сбиваюсь с протекания моих мыслей. Так вот я и говорю: до коммунизма я все едино хучь и беспартейный, а дойду — и не так, как этот мокрый от слез Кондрат, а с приплясом, с веселинкой, потому что я — чистый пролетарий, а не мелкий собственник, это я вам прямо скажу! А пролетарьяту, я в одном месте прочитывал, нечего терять, окромя цепей. Никаких цепей у меня, конечно, нету, окромя старой цепки, какой когда-то кобеля привязывал, это когда я ишо в богачестве проживал, но есть старуха, а это, братцы мои, похуже всяких цепей и каторжанских колодок... Но я и старуху вовсе не собираюсь терять, пущай живет при мне, бог с ней, но ежли она будет препятствовать мне и становиться поперек моего прямого путя к коммунизму, то я мимо нее так мигну, что она и ахнуть не успеет! Уж в этом вы будьте спокойные! Я страсть какой отчаянный, когда разойдусь, и тут мне на дороге не становись никто! Либо насмерть стопчу, либо так шарахну мимо, что и моргнуть никто не успеет!

— Дед, кончай, лишаю тебя слова! — решительно заявил Нагульнов, пристукивая ладонью по столу.

— Зараз кончаю, Макарушка! Не стучи дюже, а то ладошку отобьешь. Так вот я и говорю: раз уж вы все за Кондрата, то и я не супротивничаю, бог с вами, принимайте его в нашу партию. Парень он уважительный и работящий, я всегда говорил это самое. Да ежели правильно рассудить, разобрать все по косточкам, то Кондрату беспременно надо быть в нашей партии, это я вам категорически заявляю. Одним словом, Кондратушка вполне удостоенный быть партейным. Вот и весь мой сказ!

— Начал за упокой, а кончил за здравие? — спросил Размётнов.

Но за общим хохотом слов его почти никто не расслышал.

Донельзя довольный своим выступлением, дед Щукарь устало опустился на скамью, вытер рукавом потную лысину, спросил у сидевшего рядом с ним Антипа Грача:

— Здорово я... это самое... критикнул?

— Ты, дед, поступай в артисты,— вместо ответа шепотом посоветовал Антип.

Щукарь недоверчиво покосился на соседа, но, не заметив запрятанной в его смоляной бороде улыбки, спросил:

— Это с какой же стати я туда полезу?

— Деньгу будешь гресть лопатой — да не простой лопатой, а грабаркой! Делов-то там — на кнут да махнуть! Забавляй людей веселыми рассказами, бреши побольше, чуди подюжей, вот она и вся твоя работенка, она и не пыльная, а денежная.

Дед Щукарь заметно оживился, заерзал на скамье, заулыбался:

— Да милый ты мой Антипушка! Ты поимей в виду, что Щукарь нигде не пропадет! Уж он слово мимо не пустит, а непременно влепит в точку, не таковский он, чтобы мимо пулять! А что ты думаешь? На худой конец, когда старость меня окончательно прищучит, могу и в артисты податься. Я на эти разные-подобные прохождения и смолоду был ужасно лихой, а зараз и вовсе! Мне это пара пустяков.

Старик задумчиво пожевал беззубым ртом, помолчал, что-то прикидывая в уме, потом спросил:

— А не слыхал ты случаем, сколько там все-таки платят, в артистах? Сдельно или как? Словом, какое там жалованье идет на личность? Лопатой и копейки гресть можно, но мне они вовсе ни к чему, хотя и копейка деньгой считается у скупого человека.

— От выходки и от развязки платят: как будешь себя на народе держать,— заговорщицки прошептал Антип.— Чем ты развязней и суетней будешь, тем больше тебе жалованья припадет. Они, брат, только и знают, что жрут, да пьют, да по разным городам разъезжают. Легкая у них жизня, птичья, можно сказать.

— Пойдем, Антипушка, на баз, покурим,— предложил Щукарь, сразу утративший к собранию всякий интерес.

Они вышли из класса, с трудом пробираясь сквозь густую толпу народа. Присели возле плетня на согретую солнцем землю, закурили.

— А что, Антипушка, доводилось тебе когда-нибудь видать этих самих артистов?

— Сколько хошь. Когда на действительной служил в городе Гродно, нагляделся на них вдоволь.

— Ну, и как они?

— Обыкновенно.

— Сытые из себя?

— Как кормленые борова!

Щукарь вздохнул:

— Значит, харч у них зиму и лето не переводится?

— По завязку!

— А куда же надо ехать, чтобы к ним прибиться?

— Не иначе в Ростов, ближе их не водится.

— Не так-то и далеко... Что же ты мне раньше про этот легкий заработок не подсказал? Я, может, уже давным-давно там на должность устроился бы? Ты же знаешь, что я на легкий труд, хотя бы на артиста, ужасный способный, а тяжело работать в хлеборобстве не могу из-за моей грызной болезни. Лишил ты меня скоромного куска! Тупая мотыга ты, а не человек! — в великой досаде проговорил Щукарь.

— Да ведь как-то разговора об этом не заходило,— оправдывался Антип.

— Надо бы тебе давно наставить меня на ум, и, гляди, я давно бы уже в артистах прохлаждался. А как только к старухе на побывку приезжал бы, так тебе — бац на стол — пол-литра водки за добрый совет! И я сытый, и ты пьяный, вот он и был бы порядочек... Эх, Антип, Антип!.. Програчевали мы с тобой выгодное дело! Нынче же мне надо посоветоваться со старухой, а там, может, в зиму я и тронусь на заработки. Давыдов меня отпустит, а лишние деньжонки мне в хозяйстве сгодятся: коровку приобрету, овечек подкуплю с десяток, поросеночка, вот оно дело-то и завеселеет...— без удержу размечтался вслух дед Щукарь и, поощряемый сочувственным молчанием Антипа, продолжал: — А жеребцы, признаться, мне надоскучили, да и зимняя езда не по мне. Трухлявый я стал, зябкий на мороз, словом — обнищал здоровьишком. Час посидишь в санях, и от холоду внутре кишка к кишке примерзает. А ить так недолго и заворот кишок получить, ежели там от мороза все слипнется, или воспаление нервного седалища,

как у покойного Харитона было. А мне это вовсе ни к чему! Мне ишо много делов предстоит, и до коммунизма я хучь пополам разорвусь, а дотянусь!

Антипу надоело забавляться с доверчивым по-детски стариком, и он решил положить конец шутке:

— Ты, дед, дюже подумай, допрежь чем записываться в артисты...

— Тут и думать нечего,— самонадеянно заявил дед Щукарь.— Раз там даровая деньга идет, к зиме и я там буду. Эка трудность — добрых людей веселить и рассказывать им разные разности!

— Иной раз не захочешь любых денег...

— Это почему же такое? — насторожился Щукарь.

— Бьют их, этих артистов...

— Бью-у-ут? Кто же их бьет?

— Народ бьет, какой за билеты деньги платит.

— А за что бьют?

— Ну, не угодит артист каким-нибудь словом, не придется народу на вкус или побаска его покажется скучной, вот и бьют.

— И... это самое... здорово бьют или так, просто шутейно, стращают?

— Какой там черт шутейно! Бьют иной раз так, что с представления сразу везут его, беднягу, в больницу, а иной раз и на кладбище. На моих глазах в старое время одному артисту в цирке ухо откусили и заднюю ногу пяткой наперед вывернули. Так и пошел домой, разнесчастный человек...

— Постой, погоди! Как это — заднюю ногу? Да он, что же, об четырех ногах был, что ли?

— Там всякие бывают. Там всяких для потехи держат. Но я тут ошибку понес, я хотел сказать: левую, переднюю, словом, левую ногу вывернули напрочь, так и пошел он задом наперед, и не поймешь, в какую сторону он шагает. То-то и орал, горемыка! На весь город слышно было! Гудел, как паровоз, у меня ажник волос на голове в дыбки подымался!

Щукарь долго, испытующе глядел в серьезное и даже помрачневшее, очевидно от неприятных воспоминаний, лицо Антипа, под конец уверовал в подлинность сказанного и негодующе спросил:

— А где же полиция была, язви ее в душу?! Чего же она глядела на такое пришествие?

— Полиция сама участвовала в битье. Я сам видал, как

полицейский в левой руке свисток держит, свистит в него, а правой артиста по шее ссланивает.

— Это, Антипушка, при царе так могло быть, а при Советской власти милиции драться не положено.

— Обыкновенных граждан милиция, конечно, не трогает, а артистов все равно бьет, ей это разрешается. Так заведено спокон веков, тут уж ничего не поделаешь.

Дед Щукарь подозрительно сощурил глаз:

— Брешешь ты, чертов Грач! Что-то я тебе веры никак не даю... Ну, откуда ты можешь знать, что и зараз артистам выволочку делают? В городах ты тридцать лет не был, дальше хутора и носа не кажешь, откуда ты все могешь знать?

— У меня же родной племянник в Новочеркасском живет, он и сообщает в письмах про городскую жизню,— заверил Антип.

— Разве что племянник...— снова заколебался дед Щукарь и тяжело завздыхал, посумрачнел лицом.— Вот какая заковычка, Антипушка... Оказывается, рысковая это штука, артистом быть... И на самом деле — ежели там до смертоубивства доходит народ, то это мне вовсе ни к чему. К едрене-фене с такой веселой жизней!

— Вот я тебя, на всякий случай, и упреждаю. Ты сначала посоветуйся со старухой, а тогда уже и устраивайся.

— Старуха тут ни при чем,— сухо ответил дед Щукарь.— Не ей же в случае чего будут бока мять. Чего же я с ней буду советоваться?

— Тогда решай сам.— Антип поднялся с земли, затоптал цигарку.

— Мне спешить некуда, до зимы ишо далеко, да, признаться, и жеребцов бросать жалко, и старуха одна заскучает... Нет, Антипушка, пущай, видно, артисты эти без меня обходятся. Будь они прокляты, эти легкие заработки! Да и не такие уж они легкие, ежели всурьез подумать. Ежели тебя каждый день будут молотить чем попади, а милиция, вместо того чтобы заступиться, сама будет кулаки на тебе пробовать,— покорнейше благодарю! Кушайте эти вареники сами! Меня сызмальства кто только не забижал! И гуси, и бугаи, и кобели, и чего только со мной не случалось. Даже до того дошло, что дитя подкинули. Это как, по-твоему, приятность? Да чтобы меня на старости лет в артистах убили или какой-нибудь телесный член мне вывернули наоборот,— покорнейше благодарю! Не желаю,

и все тут! Пойдем, Антипушка, лучше на собрание, там дело надежное, веселое, а артисты пущай сами про себя думают. Они, видать, все молодые, черти, здоровые. Их почем зря лупят, а они, небось, от этого только толстеют. А мое дело стариковское. Даром, что там харч богатый, а ежели меня как следует отдубасить разика два, то я и душу богу отдам. На черта же мне этот скоромный кусок нужен в таком разе? Эти дураки, какие бедных артистов бьют, у меня его из глотки живьем вынут. Не желаю быть в артистах, и больше ты меня не сманивай туда, черный дьявол, и не расстраивай окончательно и бесповоротно! Ты вот только что рассказал походя, как артисту ухо откусил какой-то безумный дурак, и как ему ногу вывернули, и как его били, а у меня уже и уши болят, и ноги ломит, и все кости ноют, будто меня самого били, кусали за уши и волочили, как хотели... Я на эти зверские рассказы ужасный нервный, все одно как контуженный. Так что ты иди заради бога, пока один на собрание, а я трошки отдохну тут, успокою себя, настрою свои нервы, а тогда и пойду Дубцову отлуп давать. А зараз я не могу, Антипушка, выступать, у меня мелкая зыбь по спине идет и в коленях какое-то дрожание, какая-то трясучка, чума ее забери, встать твердо на ноги не позволяет...

Щукарь начал свертывать новую папироску. И на самом деле руки его дрожали, со свернутого желобком клочка газетной бумаги сыпался крупно покрошенный табак-самосад, лицо слезливо морщилось. Антип с притворной жалостью поглядел на старика:

— Не знал я, дедушка, что ты такой чувствительной души, а то бы я тебе не рассказывал про горькую жизню артистов... Нет, дедок, негож ты в артисты! Сиди на печке и не гоняйся за длинным рублем. Да и старуху тебе оставлять надолго негоже, пожалеть ее старость надо...

— То-то она возликует, когда скажу ей, что из-за нее я отказался ехать в артисты! Благодарностев мне от нее будет — несть конца!

Дед Щукарь умильно улыбался, покачивал головой, предвкушая то удовольствие, какое получил сам и доставит своей старухе, сообщив ей столь приятную новость. Но над ним уже нависала гроза...

Не знал старик о том, что верный его друг, Макар Нагульнов, полчаса назад снарядил одного из парней к Щукаревой старухе со строгим наказом — немедленно явиться в школу и под любым предлогом увести старика домой.

— А легка на поминке твоя старая! — улыбаясь уже в открытую, сказал Антип Грач и довольно крякнул.

Дед Щукарь поднял голову. Словно мокрой губкой кто-то стер с его лица блаженную улыбку! Прямо на него шла старуха, нахмуренная, решительная, исполненная начальственной строгости.

— Язви ее...— растерянно прошептал дед Щукарь.— Откуда же она, окаянная, взялась? То лежала хворая, головы не подымала, а то вот тебе, сама собой жалует. И за какой чумой ее несет нелегкая?

— Пошли домой, дед,— голосом, не терпящим возражений, приказала старуха своему благоверному.

Дед Щукарь, сидя на земле, словно околдованный, смотрел на нее снизу вверх, смотрел, как кролик на удава.

— Собрание ишо не кончилось, милушка, и мне выступать надо. Наше хуторское начальство усердно просило меня выступить,— наконец-то тихо проговорил он и тут же икнул.

— Обойдутся без тебя. Пошли! Дома дела есть.

Старуха была почти на голову выше мужа и вдвое тяжелее его. Она властно взяла старика за руку, одним движением легко поставила его на ноги. Дед Щукарь пришел в себя, гневно топнул ногой:

— А вот и не пойду! Не имеешь никакого права лишать меня голоса! Это тебе не старый режим!

Не говоря больше ни слова, старуха повернулась, крупно зашагала к дому, и, влекомый ею, изредка упираясь, семенил рядом дед Щукарь. Весь вид его безмолвно говорил о слепой покорности судьбе.

Вслед ему смотрел и беззвучно смеялся Антип Грач. Но, уже поднимаясь по ступенькам крыльца, он подумал: «А ведь, не дай бог, подомрет старик, скучно без него в хуторе станет!»

## ГЛАВА XXIII

Как только в школе не стало деда Щукаря, собрание приняло совсем иной характер: по-деловому, не прерываемые внезапными взрывами смеха, зазвучали выступления колхозников, обсуждавших кандидатуру Дубцова, а после того как неожиданно для всех выступил кузнец Ипполит Шалый, на собрании на несколько минут впервые установилась словно бы предгрозовая тишина...

Уже все кандидатуры подавших заявления о вступлении в партию были всесторонне обсуждены; уже все трое открытым голосованием были единогласно приняты кандидатами в члены партии с шестимесячным испытательным стажем, когда слова попросил старик Шалый. Он поднялся с парты, стоявшей вплотную к окну, прислонился широкой спиной к оконной притолоке, спросил:

— Можно мне задать один вопросик нашему завхозу Якову Лукичу?

— Задавай хоть два,— разрешил сразу весело насторожившийся Макар Нагульнов.

Яков Лукич нехотя повернулся к Шалому. На лице у него застыло напряженное, ожидающее выражение.

— Вот люди вступают в партию, хотят не возле нее жить, а в ней самой, вместе с ней делить и горе и радость,— приглушенным басом заговорил Шалый, не сводя выпуклых черных глаз с Якова Лукича.— А почему ты, Лукич, не подаешь в партию? Хочу я у тебя крепко спросить: почему ты отстаиваешься в сторонке? Или тебя вовсе не касается, что партия как рыба об лед бьется, тянет нас к лучшей жизни? А ты — что? А ты от жарких делов норовишь в холодке отсидеться, ждешь, когда тебе кусок добудут, разжуют и в рот положат, так, что ли? Как это так у тебя получается? Интересно у тебя получается и очень даже наглядно для народа... Для всего хутора наглядно, ежели хочешь знать!

— Я себе сам кусок зарабатываю и у тебя ишо не просил,— живо отозвался Островнов.

Но Шалый властно повел рукой, будто отстраняя этот никчемный довод, сказал:

— Хлеб себе на пропитание можно добывать по-разному: надень сумку через плечо, иди христарадничать, и то с голоду не помрешь. Но не об этом я держу речь, и ты, Лукич, не вертись, как уж под вилами, ты понимаешь, об чем я говорю! Раньше, в единоличной жизни, ты на работу был злой, по-волчьему, без упуска, хватался за любое дело, лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь сшибить, а зараз ты работаешь спустя рукава, как все одно для отвода глаз... Ну, не об этом речь, ишо не пришла пора отчитываться тебе перед миром за свою легкую работу и кривую жизню, подойдет время — отчитаешься! А зараз скажи: почему ты в партию не подаешь?

— Не такой уж я грамотный, чтобы в партии состоять,— тихо ответил Островнов, так тихо, что, кроме си-

девших рядом с ним, никто в школе не расслышал, что́ он сказал.

Сзади кто-то требовательно крикнул:

— Громче гутарь! Не слыхать, что́ ты там под нос себе бормочешь! Повтори, что́ сказал!

Яков Лукич долго молчал, будто и не слышал обращенной к нему просьбы. В наступившей выжидательной тишине слышно было, как разноголосо, но дружно квакают лягушки на темной и сонной речке, как где-то далеко, наверное на старой ветряной мельнице, стоявшей за хутором, тоскует сыч да трещат за окнами, в зеленых зарослях акаций, ночные свиристелки.

Молчать и дольше было неудобно, и Островнов значительно громче повторил:

— Не дюже грамотный я для партии.

— Завхозом быть — грамотный, а в партии — нет? — снова спросил Шалый.

— Там хозяйство, а тут политика. Ежели ты в этой разнице не разбираешься, то я разбираюсь,— уже отчетливо и звучно сказал оправившийся от неожиданности Яков Лукич.

Но Шалый не унимался, с усмешкой проговорил:

— А наши коммунисты и хозяйством и политикой занимаются, и — понимаешь ты, какое диковинное дело,— ведь выходит у них! Одно другому вроде бы и не помеха. Что-то крутишь ты, Лукич, не то гутаришь... Правду хочешь околесить, вот и крутишь!

— Нечего мне крутить и ни к чему,— глухо отозвался Островнов.

— Нет, крутишь! Из-за каких-то своих потаенных думок не желаешь ты подавать в партию... А может, я ошибку несу, так ты меня поправь, поправь меня!

Собрание длилось уже больше четырех часов. В школе, несмотря на вечернюю прохладу, было нестерпимо душно. Тускло светили в коридоре и классах несколько настольных ламп, но от них, казалось, было еще душнее. Однако мокрые от пота люди сидели, не шевелясь, молча и напряженно следя за неожиданно вспыхнувшим словесным поединком между старым кузнецом и Островновым, чувствуя, что за всем этим кроется что-то недосказанное, тяжелое, темное...

— А какие у меня могут быть скрытые думки? Раз ты все на свете наскрозь видишь, так ты и скажи,— предложил Островнов, снова обретая утраченное было

спокойствие и уже переходя от обороны к наступлению.

— Ты сам, Лукич, возьми и скажи про себя. С какой стати и чего ради я буду за тебя гутарить?

— Нечего мне с тобой говорить!

— А ты не со мной, ты с народом... с народом поговори!

— Окромя тебя, никто с меня ничего не спрашивает.

— Хватит с тебя и меня одного. Стало быть, не хочешь говорить? Ну ничего, подождем, не нынче, так завтра все одно заговоришь!

— Да чего ты ко мне привязался, Ипполит? Ты сам-то почему не вступаешь в партию? Ты за себя скажи, а меня нечего исповедовать, ты не поп!

— А кто тебе сказал, что я не вступаю в партию? — не меняя положения, медленно, подчеркнуто растягивая слова, спросил Шалый.

— Не состоишь в партии — значит, не вступаешь.

И тут Шалый, крякнув, оттолкнулся плечом от оконной притолоки, перед ним дружно расступились хуторяне, и он развалисто, не спеша, зашагал к столу президиума, на ходу говоря:

— Раньше не вступал — это да, а зараз вступлю. Ежели ты, Яков Лукич, не вступаешь, стало быть, мне надо вступать. А вот ежели бы ты нынче подал заявление, то я бы воздержался. Нам с тобой в одной партии не жить! Разных партий мы с тобой люди...

Островнов промолчал, как-то неопределенно улыбаясь, а Шалый подошел к столу, встретил сияющий, признательный взгляд Давыдова и, протягивая заявление, кое-как нацарапанное на восьмушке листа старой, пожелтевшей бумаги, сказал:

— А вот поручателей-то у меня и нету. Как-то надо вылазить из такого положения... Кто из вас, ребятки, за меня поручится? А ну-ка, пишите.

Но Давыдов уже писал рекомендацию — размашисто и торопливо. Потом ручку взял у него Нагульнов.

Единогласно был принят кандидатом в члены партии и Ипполит Шалый. После голосования ему, встав с мест, начали аплодировать коммунисты гремяченской ячейки, а за ними поднялись и все присутствовавшие на собрании, редко, неумело, гулко хлопая мозолистыми, натруженными ладонями.

Шалый стоял, растроганно моргая. Он как бы заново оглядывал повлажневшими глазами издавна знакомые ли-

ца хуторян. Но когда Размётнов шепнул ему на ухо: «Ты бы, дядя Ипполит, сказал народу что-нибудь этакое, чувствительное...» — старик упрямо мотнул головой.

— Нечего на ветер слова кидать! Да и нету у меня в загашнике таких слов... Видишь, как хлопают? Стало быть, им и так все понятно, без моих лишних слов.

Но разительная перемена во внешнем облике произошла за эти минуты не с кем-либо из вновь принятых в партию, а с самим секретарем партячейки Нагульновым. Таким Давыдов еще никогда не видел его: Макар широко и открыто улыбался. Поднявшись за столом во весь рост, он немножко нервически оправлял гимнастерку, бесцельно касался пальцами пряжки солдатского ремня, переступал с ноги на ногу, а самое главное — улыбался, показывая густые, мелкие зубы. Всегда плотно сжатые губы его, дрогнув в уголках, вдруг расползались в какой-то по-детски трогательной улыбке, и так необычна была она на аскетически суровом лице Макара, что первый не выдержал Устин Рыкалин. Это он в величайшем изумлении воскликнул:

— Гляньте, люди добрые, Макар-то наш похоже что улыбается! Первый раз в жизни вижу такую диковину!..

И Нагульнов, не пряча улыбки, отозвался:

— Нашелся один! Приметил! А чего бы мне и не улыбаться? Приятно на душе, вот и улыбаюсь. Не куплено. А и кто мне воспретит? Дорогие граждане, хуторцы, считаю открытое партийное собрание закрытым. Повестка собрания вся вычерпана.

Еще как-то более подобравшись, распрямив и без того крутые плечи, он шагнул из-за стола, сказал позвучневшим голосом:

— Прошу — как секретарь ячейки — подойти ко мне дорогих товарищей, принятых в нашу великую Коммунистическую партию. Хочу вас поздравить с великой честью! — И, уже сжав губы и став обычным Макаром, негромко, но по-командирски повелительно бросил: — Ко мне!

Первым подошел Кондрат Майданников. Сидевшим сзади было видно, что мокрая от пота рубаха его сплошь прилипла к спине от лопаток до поясницы. «Жалкий мой, как, скажи, он десятину выкосил!» — сочувственно прошамкала одна из старух, а кто-то тихо засмеялся: «Погрели Кондрата неплохо!»

Клоня голову, Нагульнов взял прямо протянутую руку Кондрата в свои увлажнившиеся от волнения длинные

ладони, сжал ее в полную силу, торжественно сказал слегка дрогнувшим голосом:

— Товарищ! Браток! Поздравляю! Надеемся, все мы, коммунисты, надеемся, что будешь примерным большевиком. Да иначе с тобой и быть не может!

А когда последним, медвежковато шагая, подошел Ипполит Шалый и, сдержанно посмеиваясь, смущенный всеобщим вниманием, издали протянул черную, раздавленную работой, огромную руку,— Нагульнов шагнул ему навстречу, крепко обнял широкие сутулые плечи старого кузнеца:

— Ну вот, дядя Ипполит, как здорово оно вышло! Поздравляю всем сердцем! И остальные наши ребята-коммунисты поздравляют. Живи, не хворай и стучи молотом ишо лет сто на пользу Советской власти и нашего колхоза. Живи долго, старик, вот что я тебе скажу! От твоего долгожительства, кроме приятности, для людей ничего не будет, это я тебе верно говорю!

Неловко теснясь и толкаясь, четверо принятых в партию обменялись рукопожатиями со всеми остальными коммунистами, и народ уже столпился у выходной двери, оживленно переговариваясь, но Давыдов крикнул:

— Граждане, одну минутку! Разрешите сказать несколько слов.

— Давай, председатель, только покороче, а то мы начисто подушимся! Жарища-то и духота тут, как в доброй бане! — со смешком предупредил кто-то из толпы.

Колхозники снова стали рассаживаться, занимая прежние места. Несколько минут в школе стоял сдержанный гомон, затем все стихло.

— Граждане колхозники и особенно колхозницы! Сегодня, как никогда, собрались все до одного члены нашего колхоза...— начал было Давыдов, но тут его прервал Демка Ушаков, крикнув из коридора:

— Ты, Давыдов, начинаешь, как дед Щукарь! Энтот говорил: «Дорогие гражданы и старушки!» — и ты вроде него: от этой же печки зачинаешь пляс.

— Они со Щукарем один у одного обучаются: Щукарь нет-нет да и ввернет давыдовское словцо «факт», а Давыдов скоро будет говорить: «Дорогие гражданы и миленькие старушки!» — добавил старик Обнизов.

И тут в школе грянул такой добродушнейший, но громовой хохот, что в лампах заметались язычки пламени, а одна из них даже потухла. Смеялся и Давыдов, по при-

вычке прикрывая щербатый рот широкой ладонью. Один Нагульнов возмущенно крикнул:

— Да что ж это такое?! Никакой сурьезности нету на этом собрании! Куда вы ее подевали? Или она у вас вместо с потом вся вышла?!

Но этим выкриком он словно масла в огонь подлил, и хохот вспыхнул и покатился по всем классам, по коридору с новой силой. Макар безнадежно махнул рукой, со скучающим видом повернулся лицом к окну.

Все же нелегко ему давалось это показное безразличие, судя по тому как перекатывались под скулами его крутые желваки и подергивалась левая бровь!

Но через минуту, когда все стихло, он вскочил со стула, будто осою ужаленный,— потому что из задних рядов снова зазвучал громкий, дребезжащий голосок деда Щукаря:

— А спрошу я вас, дорогие гражданы и старушки, почему я так возглашал?

Старик не успел окончить фразу, а хохот громыхнул, как орудийный выстрел, погасив еще две лампы. В полутьме кто-то нечаянно разбил ламповое стекло, крепко выругался; какая-то женщина осуждающе сказала:

— А ну, зануздайся! Рад, что темно и тебя не видать, так ты и ругаешься, дурак?

Смех понемногу стих, и в сумеречном свете снова послышался дребезжащий и негодующий голосок деда Щукаря:

— Один дурак в потемках ругается почем зря, а другие неизвестно для чего смеются... Потеха, а не жизня пошла! Хучь не ходи на собрания! Я проясню вам, по какой-такой причине я возглашал: «Дорогие гражданы и старушки!» А по такой причине, что старушки — дело верное и надежное. Любая старушка все едино, как Госбанк, живет без мошенства и без подвоха. От них никакой пакости я не жду в моей престарелой жизни, а вот молодых бабенок и девок я даже вовсе зрить не могу! А почему, спрошу я вас? Да потому, что дитя мне подкинула не какая-нибудь уважительная старушка, не старушкино это дело, и кишка тонка у любой самой резвой старухи дитя на божий свет произвесть! А какая-нибудь молодая подлючина раздобрилась под мою голову и самовольно причислила меня к лику отцов. Вот потому я разных и тому подобных молодых юбошниц и терпеть ненавижу и ни на одну из них даже глазом повесть нисколько не желаю после такого пришествия! Меня дурнит, как с перепоя, ежли я нечаянно

загляжусь на какую-нибудь красивую бабенку. Вот до чего они, треклятые, меня довели!.. Как же я им после такого пришествия с дитем буду возглашать — дескать, «дорогие мои бабочки и девицы непорочные», и всякую тому подобную нежность преподносить им, как на блюде? Да ни за что на свете!

Не выдержав, Нагульнов высоко взметнул брови, изумленно спросил:

— Откуда ты взялся, дед? Тебя же твоя старуха увела домой, и как ты мог опять тут очутиться?

— Ну и что, как увела? — заносчиво ответил Щукарь.— Тебе-то какое до этого дело? Это наше дело, семейное, а не партейное. Ясно тебе?

— Ничего не ясно. Раз увела, значит по делу увела, и ты должен быть дома.

— Был, да весь сплыл, Макарушка! И никому я ничего не должен, ни тебе, ни собственной старухе, ну вас к анчихристу, отвяжитесь вы от меня за-ради бога!

— Как же это ты, дедушка, ухитрился из дому удрать? — всеми силами сдерживая смех, спросил Давыдов.

Последнее время он положительно не мог сохранять подобающую ему серьезность в присутствии Щукаря, даже взглянуть на него не мог без улыбки, и теперь ждал ответа, щуря глаза и заранее прикрывая рот ладонью. Недаром Нагульнов, оставаясь с ним с глазу на глаз, с нескрываемой досадой говорил: «И что это с тобой, Семен, делается? Смешливый ты стал, как девка, какую щекочут, и на мужчину вовсе стал не похожий!»

Воодушевленный вопросом Давыдова, Щукарь рванулся вперед, яростно работая локтями, расталкивая столпившихся в проходе хуторян, изо всех сил пробиваясь к столу президиума.

Нагульнов крикнул ему:

— Дед! Ну, что ты по головам ходишь? Говори с места, разрешаем, только покороче!

Остановившись на полпути, дед Щукарь запальчиво прокричал в ответ:

— Ты свою бабушку поучи, откуда ей говорить, а я свое место знаю! Ты, Макарушка, завсегда на трибун лезешь, либо из презюдиума рассуждаешь и несешь оттуда всякую околесицу, а почему же я должен с людьми разговаривать откуда-то из темного заду? Ни одного личика я оттуда не вижу, одни затылки, спины и все прочее, чем добрые люди на лавки садятся. С кем же я, по-твоему, должен разговари-

вать и кому возглашать? Затылкам, спинам и разному тому подобному? Иди ты сам сюда, взад, отсюда и держи свои речи, а я хочу людям в глаза глядеть, когда разговариваю! Задача ясная? Ну и молчи помаленьку, не сбивай меня с мысли. А то ты повадился загодя сбивать меня. Я и рот не успею открыть, а ты уже, как из пращи, запускиваешь в меня разные возгласы. Нет, братец ты мой, так дело у нас с тобой не пойдет!

Уже стоя против стола и одним глазом глядя на Макара в упор, Щукарь спросил:

— Ты когда-нибудь в жизни видал, Макарушка, чтобы баба отрывала мужчину от дела по вострой нужде? Ответствуй по совести!

— Редко, но случалось: скажем, в случае пожара или ишо какой беды. Ты только собрание не затягивай, старик, дай высказаться Давыдову, а после собрания пойдем ко мне и будем с тобой гутарить хоть до рассвета.

Нагульнов, непреклонный Нагульнов, явно шел на уступки, лишь бы как-то умаслить деда Щукаря и не дать ему возможности по-пустому задерживать собравшихся, но достиг неожиданного эффекта — дед Щукарь всхлипнул, вытер рукавом заслезившийся глаз, сквозь непритворные слезы заговорил:

— По мне, все едино, у тебя ночевать или возле жеребцов, но только домой мне нынче объявляться никак нельзя, потому что предстоит мне от моей старухи такая турецкая баталия, что я могу у себя на пороге и копыта к чертовой матери откинуть, и очень даже просто!

Дед Щукарь повернулся сморщенным, как печеное яблоко, личиком к Давыдову, продолжал внезапно окрепшим голосом:

— Вот ты, жаль моя, Семушка, вопрошаешь, как то есть я дома был и из дома сплыл. А ты думаешь — это простое дело? Должен я собранию в один секунд, не затягивая дела, прояснить насчет моей зловредной старухи, потому что должен я от народа восчувствие себе иметь, а не сыщу я того восчувствия — тогда ложись, Щукарь, на сырую землю и помирай с господом богом к едреной матушке! Вот какой петрушкой складывается моя гробовая жизня!.. Стало быть, с час назад приходит сюда моя зазноба, а я сижу с Антипушкой Грачом на дворе, табачок с ним покуриваем и рассуждаем про артистов и насчет нашей протекающей жизни. Приходит она, треклятая, берет меня за руку и волокет за собой, как сытый конь перевернутую

вверх зубьями борону. Легочко волокет, не кряхнет даже и не охнет от натуги, хотя я и упирался обеими ногами изо всех силов.

Да ежели хотите знать, то на моей старухе пахать можно и груженые воза возить, а меня ей утянуть куда хошь — раз плюнуть, до того она сильная, проклятая! Сильная до ужасти, как ломовая лошадюка, истинный бог не брешу! Уж кому-кому, а мне про ее силищу известно до тонкостев, на своем горбу пробовал...

И вот она меня и тянет и волокет следом за собой, а что поделаешь? Сила солому ломит. Поспешаю за ней, а сам спрашиваю: «За какой нуждой ты меня от собрания отрываешь, как новорожденного дитя от материнских грудей? Ить мне же там дело предстоит!» А она говорит: «Пойдем, старый, у нас ставня на одном окошке сорвалась с петли, навесь ее как следует, а то, не дай бог, подует ночью ветер и расколотит нам окошко». Это как вам, номер? Вот тебе, думаю, и раз! «Да что же,— говорю ей,— завтра дня не будет, чтобы ставню навесить? Не иначе ты ополоумела, старая кочерыжка!» А она говорит: «Я хвораю, и мне одной лежать в хворости скучно, не слиняешь, ежели посидишь возле меня». Вот тебе и два! Я ответствую ей на это: «Позови какую-нибудь старуху, она и посидит с тобой, пока я на собрание вернусь и Агафоше Дубцову отлуп дам». А она говорит: «Желаю только с тобой скуку делить, и никакая старуха мне не нужна». Вот тебе и три, то есть три пакости в ответ!

Это как, можно добровольно переносить такое смывание над человеком или надо было сразу экуироваться от такой непролазной дурости? Я так и сделал, то есть самовольно экуировался. Вошли в хату, а я, недолго думая, шмыг — в сенцы, оттуда — на крыльцо и поспешно накинул цепку на дверной пробой, а сам на рысях сюда, в школу! Окошечки у нас в хате маленькие, узенькие, а старуха моя, вы же знаете, тушистая, огромадная. Ей ни за что в окно не пролезть, застрянет, как кормлёная свинья в дыроватом плетне, это дело уже пробованное, застревала она там, и не раз. Вот она и сидит теперича дома, сидит, миленькая, как черт в старое время, ишо до революции, в рукомойнике сидел, а из хаты выйти не может! Кому охота — пущай идет, высвобождает ее из плену, а мне являться ей на глаза никак нельзя, я дня на два подамся к кому-нибудь во временные жильцы, пока старуха моя не остынет трошки, пока ее гнев на меня не потухнет. Я не глупóй, чтобы рысковать

своей судьбой, и мне вовсе ни к чему ее разные и тому подобные баталии. Решит она меня жизни вгорячах, а потом что? А потом прокурор напишет, что, мол, на Шипке все спокойно, и дело с концом! Нет, покорнейше благодарю, кушайте эти оладьи сами! Умный человек все это дело и без прояснений поймет, а дураку проясняй не проясняй — все едино он так дураком и проживет до гробовой доски!

— Ты кончил, дед? — спокойно спросил Размётнов.

— С вами нехотя кончишь. Агафону отлуп дать я опоздал, все одно вы его приняли в нашу партию, да может, этак оно и к лучшему, может, я даже с вами и согласный. Про старуху все как есть прояснил и по глазам вашим вижу, что все вы тут предсидящие ко мне дюже восчувствие имеете. А больше мне ничего и не надо! Поговорил я с вами в свое удовольствие, не все же мне с одними жеребцами разговаривать, верно говорю? У вас понятия хучь на самую малость, но все-таки больше, чем у моих жеребцов...

— Садись, старик, а то ты опять заговариваться начинаешь,— приказал Нагульнов.

Вопреки ожиданиям присутствовавших, Щукарь молча пошел на свое место, не вступая в обычные пререкания, но зато улыбался с таким необычайным самодовольством и так победоносно сверкал одним глазом, что всякому с непреложной ясностью долженствовало видеть: идет он не побежденным, а победителем. Его провожали дружественными улыбками. Все же гремяченцы относились к нему очень тепло.

И только один Агафон Дубцов не преминул испортить деду счастливое настроение. Когда Щукарь, исполненный важности, проходил мимо него, Агафон, искривив рябое лицо, зловеще шепнул:

— Ну, достукался ты, старик... Давай попрощаемся!

Щукарь встал как вкопанный, некоторое время молча жевал губами, а потом набрался сил, спросил дрогнувшим голосом:

— Это... это с какой же стати то есть я должен с тобой прощаться?

— А с такой, что жить тебе осталось на белом свете самую малость... Жизни тебе осталось на два огляда и на четыре вздоха. Не успеет стриженая девка косу заплесть, а ты уже доской накроешься...

— Это... как же это так, Агафоша?

— А так, очень даже просто! Тебя убить собираются.

— Кто? — еле выдавил из себя дед Щукарь.

— Известно кто: Кондрат Майданников с женой. Он уже ее домой послал за топором.

Ноги Щукаря мелко задрожали, и он обессиленно присел рядом с услужливо подвинувшимся Дубцовым, потерянно спросил:

— За что же это он меня задумал жизни решить?

— А ты не догадываешься?

— За отлуп, какой ему дал?

— Точно! За критику всегда убивают, иной раз топором, иной раз из обреза. А тебе как больше нравится — от пули умереть или под топором?

— Нравится! Скажешь тоже! Да кому же может нравиться такое пришествие?! — возмутился дед Щукарь.— Ты скажи лучше: что мне теперича делать надо? Как я могу себя оборонить от такого глупого дурака?

— Заявлять надо начальству, пока жив, вот и все.

— Не иначе,— немного поразмыслив, согласился дед Щукарь.— Зараз пойду Макарушке жалиться. А что же ему, проклятому Кондрашке, не страшно за меня на каторгу идти?

— Он говорил, мол, за Щукаря мне больше года не дадут или, на худой конец, больше двух лет, а год или два я смело отсижу, легко отдежурю... За таких старичишек, говорит, много не дают. Самые пустяки дают за подобное барахло.

— Облизнется он, сукин сын! Получит всю десятку, уж это я до тонкостев знаю! — в ярости возопил дед Щукарь.

И тут же получил от Нагульнова строжайшее предупреждение:

— Ежели ты, старик, ишо раз заорешь недорезанным козлом — немедленно выведем с собрания!

— Сиди тихо, дедушка, я провожу тебя отсюда, я тебя в трату не дам! — шепотом пообещал Дубцов.

Но Щукарь в ответ и словом не обмолвился. Он сидел, опершись локтями о колени, низко склонив голову. Он думал о чем-то сосредоточенно, упорно, страдальчески морщил лоб, а потом вдруг вскочил, расталкивая людей, рысцой затрусил к столу президиума. Дубцов, следивший за стариком, видел, как тот склонился над Нагульновым, что-то зашептал ему на ухо, указывая на него, Дубцова, а потом на Кондрата Майданникова.

Трудно, почти невозможно было рассмешить Нагульнова, но тут и он не выдержал, улыбнулся краешками губ и, глядя на Дубцова, укоризненно покачав головой, усадил

Щукаря рядом с собой, шепнул: «Сиди тут и не рыпайся, а то ты домотаешься до какого-нибудь греха».

Спустя немного торжествующий и успокоенный дед Щукарь поймал взгляд Майданникова и злорадно показал ему из-под локтя левой руки дулю. Изумленный Кондрат поднял брови, а Щукарь, чувствуя себя возле Макара в полной безопасности, уже показывал ему сразу две дули.

— Что это старик тебе шиши кажет? — спросил у Майданникова сидевший по соседству Антип Грач.

— А черт его знает, что ему на ум взбрело,— с досадою ответил Кондрат.— Примечаю я, что он умом начинает трогаться. Да оно и пора: года-то его не малые, а пережить ему пришлось тоже немало, бедняку. Всегда мы жили с ним по-хорошему, а зараз, видать, он что-то на меня злобствует. Надо будет у него спросить, за что он обижается.

Случайно Кондрат глянул на место, где недавно сидел дед Щукарь, и тихонько рассмеялся, толкнул локтем Антипа:

— Он же рядом с Агафоном сидел, теперь все понятно! Это чертов Агафон ему что-нибудь в уши надул про меня, какую-нибудь хреновину выдумал, вот дед и бесится, а я и сном-духом не знаю, чем ему не угодил. Он уже как малое дите стал, всякому слову верит.

Стоя возле стола, Давыдов терпеливо ждал, когда извечно медлительные хуторяне снова рассядутся по местам и стихнет шум.

— Давай, Давыдов! Давай, не тяни! — крикнул нетерпеливый на ожидание Демка Ушаков.

Давыдов, о чем-то пошептавшись с Размётновым, торопливо начал:

— Я вас надолго не задержу, факт! Я потому обращаюсь особенно к колхозницам, что вопрос, который сейчас поставлю перед вами, больше касается женщин. Сегодня на нашем партийном собрании весь колхоз присутствует, и мы, коммунисты, посоветовавшись между собою, хотим предложить вам такую штуку: на заводах у нас давным-давно созданы детские сады и ясли, где каждый день, с утра до вечера, под присмотром опытных нянек и воспитательниц находятся, кормятся и отдыхают малые детишки, это, товарищи, факт! А мамаши их тем временем работают и о своей детворе не болеют душой. Руки у них развязаны, от забот о детях они освобождены. Почему бы и нам при колхозе не устроить такой детский сад? Два кулацких дома

у нас пустуют; молоко, хлеб, мясо, пшено и кое-что другое в колхозе есть, факт! Харчами мелких граждан наших мы полностью обеспечим, уходом — тоже, так в чем же дело, черт возьми? А то ведь на носу уборка хлебов, а с выходами женщин на работу дело не ахти как важно обстоит у нас, прямо скажу — плохо обстоит, вы сами это знаете. Как, дорогие колхозницы, согласны вы с нашим предложением? Давайте голоснем, и если большинство будет согласно, то и примем сейчас же такое решение, чтобы из-за этого вопроса не созывать нам лишний раз еще одно собрание. Кто «за» — прошу поднять руки.

— Кто же супротив такого добра будет? — крикнула многодетная жена Турилина. Оглядывая соседок, она первая подняла узкую в запястье руку.

Густейший частокол рук вырос над головами сидевших и толпившихся в проходах колхозников и колхозниц. Против никто не голосовал. Давыдов потер руки, довольно заулыбался:

— Предложение об устройстве детского сада принято единогласно! Очень приятно, дорогие товарищи-граждане, такое единодушие, факт, что попали мы в точку! Завтра приступим к делу. Детишек приходите, мамаши, записывать в правление колхоза с утра, часов с шести, как только со стряпней управитесь. Посоветуйтесь, товарищи женщины, между собой и выберите стряпуху, чтобы была опрятная и умела хорошо готовить, и еще двух-трех колхозниц выберите, аккуратных, чисторядных собою, ласковых к детишкам — на должность нянек. Заведующую будем просить себе в районе, чтобы была грамотная и могла вести отчетность, факт. Мы тут прикидывали и решили, что каждой из колхозниц-нянек и стряпухе мы будем в день начислять по трудодню, а заведующей придется платить жалованье по государственной ставке. Не разоримся, факт! А дело такое, что тут ничего жалеть не надо, расходы окупятся выходами на работу, это я вам впоследствии фактически докажу! Детишек будем принимать от двух лет и до семи. Вопросов нет?

— А не многовато ли в день по трудодню? Не велика тяжесть с детвой возиться, это не вилами в поле ворочать,— вслух усомнился недавно вступивший в колхоз, один из последних на хуторе единоличников Ефим Кривошеев.

Но тут вокруг него закипела такая буря негодующих женских возгласов, что оглушенный Ефим вначале только

морщился, отмахивался, будто от пчел, от наседавших на него женщин, а потом, чуя недоброе, вскочил на парту, весело и зычно заорал:

— Уймитесь, мои лапушки! Уймитесь, за-ради Христа! Это я по нечайке сказал! Это я по оплошке сдуру сбрехнул! Пропустите меня к выходу и не тянитесь, пожалуйста, к моей морде с вашими кулаками! Товарищ Давыдов, выручай нового колхозника! Не дай пропасть геройской смертью! Ты же наших баб знаешь!

Женщины кричали вразнобой:

— Да ты, такой-сякой, когда-нибудь возился с детишками?!

— В стряпухи его определить, толстого борова!

— В няньки!

— И двух трудодней не захочешь, как побудешь с ними день-деньской, а он скряжничает, волчий зуб!

— Проучите его, бабоньки, чтобы брехал, да меру знал!

Может быть, все и обошлось бы чинно-мирно, но шутливый выкрик Ефима послужил как бы сигналом к разрядке напряженности, и дело приняло совсем неожиданный для Ефима оборот: с хохотом и визгом женщины стащили его с парты, чья-то смуглая рука зажала в кулак каштановую бороду Ефима, и звучно затрещала на нем по всем швам и помимо швов новая сатиновая рубаха. Тщетно, надрываясь, Нагульнов призывал женщин к порядку. Свалка продолжалась, и через минуту багрового от смеха и смущения Ефима дружно вытолкали в коридор, но оба рукава, оторванные от его рубахи, лежали на полу в классе, а сама рубаха, оставшаяся без единой пуговицы, была распущена во многих местах от ворота до подола.

Задыхаясь от смеха, под общий хохот окруживших его казаков, Ефим говорил:

— Какую силу забрали наши анафемские бабы! Ведь это беда! Первый раз выступил супротив них и, скажи, как неудачно...— Он стыдливо запахивал на смуглом животе располосованную рубаху, сетовал: — Ну, как я в таком кружеве своей бабе на глаза покажусь? Ведь она меня за такой убыток со двора сгонит! Придется вместе с дедом Щукарем пристраиваться к какой-нибудь вдове во временные жильцы, нету у нас с ним другого выхода!

## ГЛАВА XXIV

С собрания расходились далеко за полночь. По всем улицам и переулкам медленно шли люди, оживленно переговаривались; в каждом дворе скрипели калитки, резко в ночной тишине звякали дверные щеколды; изредка то здесь, то там звучал смех, и — непривычные к такому многолюдству и гомону в ночное время — по всему Гремячему Логу подняли неистовый брех проснувшиеся хуторские собаки.

Одним из последних вышел из школы Давыдов. После ядовитой, густой духоты, заполнившей все помещение школы, воздух на улице показался ему холодным, пьянящим свежестью. Даже как будто запах браги уловил в легком ветерке жадно дышавший Давыдов.

Впереди него шли двое. Услышав их голоса, он невольно улыбнулся.

Дед Щукарь горячо говорил:

— ...А я сдуру и поверил ему, чертову треплу, что Кондрат всурьез собирается казнить меня за мою критику и самокритику, и испужался страшно, подумал про себя: «Да ить это шутка делов — топор в руках у Кондрата! Парень он вроде и смирный, а там черт его знает... раз махнет топором вгорячах и расколет голову напополам, как арбуз!» И как я мог дать веры этому чертову Агафошке?! Ить он шагу не сделает, чтобы мне в чем-нибудь не напакостить! Ить у него же всею жизню язык трепется, как худая варежка на колу. Это он, проклятый сын, и козла Трофима выучил на меня кидаться и поддевать рогами куда попало, не считаясь, что я грызной человек. Уж это я до тонкостев знаю! Сам видал, как он его этой зверской науке выучивал, только я тогда вовсе не думал, что он его супротив меня наставляет и научает жизню мне укорачивать.

— А ты не верь ему! Ни в чем, как есть, не верь и всегда бери его под всевозможное сомнение! Агафон до смерти любит всякие штучки выкидывать, он надо всеми подшучивает, такой уж у него характер,— хрипловатым баском успокаивающе отзывался Нагульнов.

Они вместе вошли в калитку нагульновского двора, продолжая разговор, начатый, очевидно, еще в школе. Давыдов хотел было последовать за ними, но раздумал.

Свернул в ближайший переулок и, пройдя немного, увидел прислонившуюся к плетню Варю Харламову. Она шагнула ему навстречу.

Поздний ущербный месяц светил скупо, но Давыдов отчетливо разглядел на губах девушки смущенную и невеселую улыбку.

— А я вас дожидаюсь... Я знаю, что вы этим переулком всегда домой ходите. Давно я вас не видала, товарищ Давыдов...

— Давно не встречались мы с тобой, Варюха-горюха! — обрадованно проговорил Давыдов.— Ты за это время стала совсем взрослой и красивой, факт! Где же это ты пропадала?

— То на прополке, то на покосе, и по домашности тоже дела... А вы ни разу и не проведали меня, небось и не вспомнили ни разу...

— Моя такая обидчивая! Не упрекай, все — некогда, все — дела. По неделе не бреемся, едим раз в сутки, вот как нас прикрутило перед уборкой. Ну, чего ты меня ждала? Дело какое есть? Не пойму: какая-то ты грустная, что ли? Или я ошибаюсь?

Давыдов легонько сжал тугую и полную руку девушки повыше локтя, сочувственно заглянул ей в глаза:

— Уж не горе ли какое у тебя? Рассказывай!

— Вы домой идете?

— А куда же мне еще в такой поздний час?

— Мало ли куда, вам двери везде открытые... Ежели домой, то нам по дороге. Может, проводите меня до нашей калитки?

— О чем речь! Чудачка ты, право! Ну, когда это матросы, даже бывшие, отказывались провожать хорошеньких девушек? — с шутливым наигрышем воскликнул Давыдов, взяв девушку под руку.— Пошли в ногу! Ать, два! Ать, два! Ну, так что у тебя за горе-беда? Выкладывай все начистоту. Председатель должен все знать, факт! Все до подноготной!

И вдруг Давыдов ощутил, как под его пальцами задрожала рука Вари, шаг ее стал неуверенным, как бы спотыкающимся, и сейчас же послышался короткий всхлип.

— Да ты на самом деле раскисла, Варюха! Что с тобой? — отбросив шутливый тон, обеспокоенно и тихо спросил Давыдов. Он остановился снова, пытаясь заглянуть ей в глаза.

Мокрым от слез лицом Варя ткнулась в его широкую грудь. Давыдов стоял не шевелясь, то хмурясь, то удивленно подымая выгоревшие брови. Сквозь сдавленные рыдания еле расслышал:

— Меня сватают... За Ваньку Обнизова... Маманя день и ночь меня пилит: «Выходи за него! Они живут справно!» — И вдруг все горькое горе, что копилось на сердце у девушки, как видно, не один день, вырвалось в страдальческом вскрике: — Да господи, что же мне делать?!

На короткий миг рука ее легла на плечо Давыдова и тотчас же соскользнула, обессиленно повисла.

Вот уж чего никак не ожидал Давыдов и никогда не думал о том, что такая новость может повергнуть его в полное смятение! Растерянный, онемевший от неожиданности, чувствуя острую боль на сердце, он молча сжал Варины руки и, слегка отшатнувшись, смотрел на ее склоненное заплаканное лицо, не зная, что сказать. И только в этот момент до него наконец дошло, что он, таясь от самого себя, пожалуй, давно любит эту девушку — какой-то новой для него, бывалого человека, чистой и непонятной любовью и что сейчас вот уже в упор подошли к нему две печальные подруги и спутницы почти каждой настоящей любви — разлука и утрата...

Овладев собой, он спросил чуточку охрипшим голосом:

— А ты? Что же ты, моя ланюшка?

— Не хочу я идти за него! Пойми, не хочу!

Варя подняла на Давыдова всклень налитые слезами глаза. Распухшие губы ее трогательно и жалко задрожали. И словно бы в ответ отозвалось, дрогнуло сердце Давыдова. Во рту у него пересохло. Он с трудом проглотил колючую слюну, сказал·

— Ну и не выходи за него, факт! Силой никто тебя замуж не выдаст.

— Да пойми же ты, что у матери нас шестеро, остальные все меньше меня, мать хворая, а одна я такую ораву не прокормлю, хоть задушусь на работе! Как же ты этого не поймешь,родненький мой?

— А замуж выйдешь — тогда как? Муж-то будет помогать?

— Он с себя последнее сымет, лишь бы нашим помочь! Он рук не будет покладать на работе! Знаешь, как он меня любит? Он дюже меня любит! Только не нужны мне ни помочь его, ни любовь! Не люблю я его ни капельки! Противный он мне до смерти! Он меня за руки возьмет потными руками, а мне тошно становится. Я скорее... Эх, да что там говорить! Был бы отец живой, я и не задумывалась бы ни о чем, я бы теперь, может, уже школу второй ступени кончала...

Давыдов все еще пристально глядел на заплаканное, бледное в лунном свете лицо девушки. Горестные складки лежали по углам ее припухших губ, глаза были опущены, и сине темнели веки. Она тоже молчала, комкая в руках платочек.

— А что, если помогать вашей семье? — после коротко го раздумья неуверенно спросил Давыдов.

Но не успел он закончить фразы, как уже не слезами, а гневом блеснули будто сразу высохшие глаза Варюхи. Раздувая ноздри, она по-мужски грубо воскликнула низ ким, рвущимся голосом:

— Иди ты к черту со своей помощью! Понял?!

И опять наступило короткое молчание. Потом Давыдов, немного ошалевший от неожиданности, спросил:

— Это почему же так?

— Потому!

— Но все же?

— Не нуждаюсь я в твоей помощи!

— Да не о моей помощи разговор идет, а колхоз будет помогать твоей матери, как многодетной вдове. Понятно? Поговорю на правлении колхоза, и примем такое решение. Уразумела, Горюха!

— Не нужна мне колхозная помощь!

Давыдов с досадой пожал плечами:

— Странная ты фигура, факт! То она нуждается в помощи и за первого подвернувшегося парня собирается замуж выскакивать, то она не нуждается ни в чьей помощи... Что-то не пойму я тебя! У кого-то из нас мозги сегодня набекрень, факт! Чего же ты хочешь в конце концов?

Спокойный, рассудительный голос Давыдова — а может быть, он показался Варе таким — привел девушку в совершенное отчаяние. Она заплакала навзрыд, прижала к лицу ладони и, круто повернувшись спиной к Давыдову, вначале пошла, а затем побежала по переулку, клонясь вперед, не отнимая мокрых ладоней от лица.

Давыдов догнал ее на повороте в улицу, схватил за плечи, зло проговорил:

— Эй, Горюха, не мудри! Я у тебя толком спрашиваю: в чем дело?

Вот тут-то бедная Варя и дала полную волю своему неистовому девичьему отчаянию, злому горю:

— Дурак слепой! Слепец проклятый! Ничего ты не видишь! Люблю я тебя, с самой весны люблю, а ты... а ты ходишь как с завязанными глазами! Надо мною уже все

подруги смеются, может, уже все люди смеются! Ну, не слепец ли ты? А сколько слез я по тебе, врагу, источила... сколько ночей не спала, а ты ничего не видишь! Как же я приму от тебя помощь или от колхоза милостыню, ежели я тебя люблю?! И у тебя, у проклятого, язык повернулся сказать такое?! Да я лучше с голоду подохну, но ничего от вас не возьму! Ну, вот и все тебе сказала. Добился своего? Дождался? А теперь и ступай от меня к своим Лушкам, а мне ты не нужен, нипочем не нужен такой каменюка холодный, незрячий, такой слепец прижмуренный!

Она с силой рванулась из рук Давыдова, но тот держал ее крепко. Держал надежно, крепко, но молча. Так они постояли несколько минут, потом Варя вытерла глаза кончиком косынки, сказала потухшим, каким-то будничным и усталым голосом:

— Пусти меня, я пойду.

— Говори тише, а то кто-нибудь услышит,— попросил Давыдов.

— Я и так тихо говорю.

— Неосторожная ты...

— Хватит! Полгода осторожничала, а больше не могу. Ну, пусти же меня! Скоро рассветать будет, мне надо идти корову доить. Слышишь?

Давыдов молчал, опустив голову. Правой рукой он все еще крепко обнимал мягкие плечи девушки, вплотную ощущая тепло ее молодого тела, вдыхая пряный запах волос. Но странное чувство испытывал он в эти минуты: ни волнения, ни жара в крови, ни желания не ощущал он, только легкая грусть, словно дымкой, обволакивала его сердце, и почему-то трудно было дышать...

Стряхнув с себя оцепенение, Давыдов левой рукой коснулся круглого подбородка девушки, слегка приподнял ее голову и улыбнулся:

— Спасибо тебе, милая! Моя милая Варюха-горюха!

— За что же? — чуть слышно прошептала она.

— За счастье, каким даришь, за то, что отругала, слепым обозвала... но не думай, что я окончательно слепой! А ты знаешь, я уже иногда подумывал, приходило на ум частенько, что счастье мое, личное счастье, осталось за кормой, в прошлом то есть... Хотя и в прошлом мне его было отмерено — кот наплакал...

— Ну, а мне и того меньше! — тихо проговорила Варя. И уже немного внятнее попросила: — Поцелуй меня, мой председатель, в первый и в последний раз, и давай расхо-

диться, а то уже заря занимается. Нехорошо будет, ежели увидят нас вместе, стыдно.

Она потянулась губами, по-детски привстав на носки и запрокинув голову. Но Давыдов с холодком, как ребенка, поцеловал ее в лоб, твердо сказал:

— Не горюй, Варюха, все утрясется! Провожать тебя дальше не пойду, не надо, факт, а завтра увидимся. Загадала ты мне загадку... Но к утру я ее одолею, факт, что отгадаю! А ты утром матери скажи: пусть вечером она из дома не отлучается, я зайду к вам на закате солнца, будет разговор, и ты будь дома. До свидания, моя ланюшка! Не обижайся, что ухожу вот так... Надо же мне как-то подумать и о твоей судьбе и о моей тоже? Правильно я говорю?

Ответа он не стал дожидаться. Молча повернулся и молча пошел домой обычным своим размеренным и неспешным шагом.

Так они и расстались бы — не свои и не чужие. Но Варя чуть слышно окликнула его. Давыдов нехотя остановился, спросил вполголоса:

— Что тебе?

Он смотрел на быстро приближавшуюся девушку не без некоторой внутренней тревоги: «Какое еще новое решение сумела она принять за эти считанные минуты расставанья? Горе ее на все может толкнуть, факт».

Варя стремительно подошла и с ходу прижалась к Давыдову, дыша ему в лицо, горячечно зашептала:

— Миленький ты мой, не приходи ты к нам, не говори ни о чем с матерью! Хочешь, я буду жить с тобой, ну... ну, как Лушка? Поживем год, а потом бросай меня! Я выйду замуж за Ваньку. Он меня всякую возьмет, и после тебя возьмет! Он позавчера так и сказал: «Ты мне любая будешь мила!» Хочешь?!

Уже не рассуждая, Давыдов грубо оттолкнул Варю, презрительно сказал:

— Дура! Девчонка! Шалава! Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты взбесилась, факт! Одумайся и ступай домой, проспись. Слышишь? А вечером я приду, и ты не вздумай от меня прятаться! Я тебя везде найду!

Если бы Варя оскорбленно, молча ушла — на том бы они и расстались, но она потерянным голосом тихо спросила:

— А что же мне делать, Семен, миленький мой?

И у Давыдова еще раз за встречу дрогнуло сердце — уже не от жалости. Он обнял Варю, несколько раз провел ладонью по ее склоненной голове, попросил:

— Ты меня прости, я погорячился... Но и ты хороша! Тоже мне, жертву придумала... Пойди, на самом деле, милая Варюха, поспи малость, а вечером увидимся, ладно?

— Ладно,— покорно ответила Варя. И испуганно отстранилась от Давыдова: — Господи! Да ведь уж вовсе рассвело! Пропала я...

Рассвет подкрался незаметно, и теперь уже и Давыдов, будто проснувшись, увидел отчетливо обрисованные контуры домов, сараев, крыш, слитые воедино темно-синие купы деревьев в примолкших садах, а на востоке — еле намечавшуюся, мутно-багряную полоску зари.

* * *

А ведь неспроста Давыдов в разговоре с Варей случайно обмолвился, что счастье его «осталось за кормой».

Да и было ли оно, это счастье, в его суматошной жизни?

Вернее всего, что нет.

До позднего утра он сидел дома возле открытого окошка, курил одну папиросу за другой, перебирал в памяти свои былые любовные увлечения, и вот на поверку оказалось, что ничего-то и не было в его жизни такого, о чем можно было бы вспомнить теперь с благодарностью, или грустью или даже, на худой конец, с угрызениями совести... Были короткие связи со случайными женщинами, никого и ни к чему не обязывающие, только и всего. Легко сходились и без труда, без переживаний и жалких слов расходились, а через неделю встречались уже как чужие и лишь для приличия обменивались холодными улыбками и несколькими незначащами словами. Кроличья любовь! И вспоминать-то было стыдно бедному Давыдову, и он, мысленно путешествуя по своему любовному прошлому и наткнувшись на такой эпизод, брезгливо морщился, старался поскорее проскользнуть мимо того, что красило прошлое, допустим, так же, как жирное пятно мазута красит чистую матросскую форменку. Чтобы поскорей забыть неприятное, он в смятении поспешно закуривал новую папиросу, думал: «Вот так и возьмись подбивать итоги... И получается одна чепуха и гнусь, факт! Словом, ноль без палочки получается у матроса. Ничего себе, достойно прожил с женщинами, не хуже любого пса!»

И уже часам к восьми утра Давыдов решил: «Что ж, женюсь на Варюхе. Пора кончать матросу с холостяцкой жизнью! Должно быть, так дело будет лучше. Устрою ее

в сельскохозяйственный техникум, через два года будет свой агроном в колхозе, вот и станем тянуть рядом. А там видно будет».

Приняв решение, он не привык медлить, откладывать дело в долгий ящик,— умылся и пошел к дому Харламовых.

Мать Вари он встретил во дворе, почтительно поздоровался:

— Ну, здравствуй, мать! Как живешь?

— Здорово, председатель! Живем помаленьку. Ты что хотел? Какая нужда тебя принесла поутру?

— Варвара дома?

— Спит. Вы же на собраниях засиживаетесь до белого света.

— Пойдем в хату. И разбуди ее. Разговор есть.

— Проходи, гостем будешь.

Они вошли в кухню. Хозяйка, настороженно глядя на Давыдова, сказала:

— Садись, зараз я Варьку разбужу.

Вскоре из горницы вышла Варя. Она, наверное, тоже не спала это утро. Глаза ее были припухлы от слез, но лицо — по-молодому свежо и как бы осиянно внутренней ласковой теплотой. Немного исподлобья, испытующе и выжидательно взглянув на Давыдова, она проговорила:

— Здравствуйте, товарищ Давыдов! Вот и вы к нам с утра пожаловали в гости.

Давыдов присел на лавку, мельком оглядел спавших вповалку на убогой кровати детей, сказал:

— Не в гости я пришел, а по делу. Вот что, мать...— и на минуту умолк, подыскивая слова, глядя на пожилую женщину усталыми глазами.

Та стояла возле печи, беспокойно перебирая пальцами на впалой груди складки старенького платья.

— Вот что, мать,— повторил Давыдов.— Варвара любит меня, я тоже ее люблю. Решение такое: отвезу ее в округ учиться на агронома, есть там такой техникум, через два года будет она агрономом, приедет работать сюда, в Гремячий, а нынче осенью, когда справимся с делами, сыграем свадьбу. Тут без меня за ней сваты были от Обнизовых, но ты девку не неволь, она сама себе свою судьбу сыщет, факт.

Построжавшим лицом женщина повернулась к дочери:

— Варька?!

А та только и могла прошептать:

— Маманя! — и, кинувшись к матери, низко склонившись, плача счастливыми слезами, стала целовать ее сморщенные, натруженные долголетней безустанной работой руки.

Отвернувшись к окну, Давыдов слышал, как сквозь всхлипы она шептала:

— Маманюшка, родненькая! Я за ним хоть на край света пойду! Что он скажет, то я и сделаю. Хоть учиться, хоть работать — все сделаю!.. Только не приневоливай ты меня выходить за Ваньку Обнизова! Пропаду я с ним...

Давыдов — после недолгого молчания — услышал дрогнувший голос Вариной матери:

— Видать, без материного согласия договорились? Ну что ж, бог вам судья, я Варьке зла не желаю, но ты, матрос, мою девку не позорь! На нее у меня вся надежда! Ты видишь, что она старшая в доме, она за хозяина, а я от горя, от детишек, от великой нужды... Ты видишь, какая я стала? Я раньше времени старухой стала! А вас, матросов, я видала в войну, какие вы есть... Но ты нашу семью не разоряй!

Давыдов круто повернулся от окна, в упор глянул на женщину:

— Ты, мамаша, матросов не трогай! Как мы воевали и били ваших казачишек — про то еще когда-нибудь напишут, факт! А что касается нашей чести и любви, то мы умели и умеем быть и честными и верными похлеще, чем какая-нибудь штатская сволочь! И за Варьку ты не беспокойся, ее я никак не обижу. А касательно того, как нам быть, хочу просить об одном: если ты согласная на наш с ней союз, то завтра я ее отвезу в Миллерово, устрою в техникум, а сам, пока до свадьбы, перейду к вам на жительство. Мне у тебя будет легче, чем у чужих людей, и потом другое: как-то я должен теперь вашу семью содерживать, помогать вам? Ты же с детишками без Варвары из сил выбьешься! Вот я уж и возьму заботу о вас на свои плечи. Они у меня широкие, не беспокойся, выдержат, факт! Вот так у нас и будет порядок. Ну что, договорились?

Давыдов широко шагнул к ней и обнял ее сухонькие плечи, и когда почувствовал на щеке поцелуй мокрых от слез губ своей будущей тещи, досадливо сказал:

— Больно у вас, у женщин, слез много! Этак вы можете и самого твердого разжалобить. Ну-ну, старая, как-нибудь проживем? Фактически тебе говорю, что проживем!

Давыдов поспешно достал из кармана небрежно ском-

канную пачку денег, смущенно сунул их под бедненькую скатерть на столе, неловко улыбаясь, пробормотал:

— Это у меня из старых рабочих накоплений. Мне ведь только на табак... Я ведь редко пьющий, а вам деньжонки потребуются — Варваре справить чтой-то на дорогу, детишкам что-нибудь купишь... Ну вот и все, я пошел, мне сегодня еще надо в район съездить. Вечером я вернусь, принесу свой чемоданишко, а ты, Варвара, собирайся. Завтра утром, на рассвете поедем в округ. Ну, бывайте здоровы, мои дорогие.— Давыдов обеими руками обнял сунувшуюся к нему Варю и ее мать, решительно повернулся и пошел к двери.

Шаг его был тверд, уверен, все тот же, прежний, с легкой матросской развальцей, но если бы кто-нибудь из знающих его посмотрел на его походку — он увидел бы в ней нечто новое...

* * *

В тот же день Давыдов обыденкой съездил в райком и получил от Нестеренко разрешение на поездку в окружной комитет партии.

— Ты только недолго задерживайся там,— предупредил Нестеренко.

— Я не задержусь и лишнего часа, лишь бы ты позвонил секретарю окружкома, чтобы он принял меня и помог в отношении устройства в техникум Харламовой.

Нестеренко шельмовато сощурился.

— Ты, матрос, не морочишь мне голову? Смотри, пеняй на себя, если подведешь меня и не женишься на этой девушке! Второй раз мы тебе не спустим такого донжуанства! С Лукерьей Нагульновой было проще — как-никак разведенная жена, а ведь тут совсем другое дело!..

Давыдов зло взглянул на Нестеренко, не дослушав его, прервал:

— Черт знает, секретарь, как нехорошо ты обо мне думаешь, факт! Ведь я же говорил с ее мамашей и посватался по всем правилам этого порядка! Чего же тебе еще надо и почему ты мне не веришь?

Нестеренко тихо спросил:

— Последний вопрос к тебе, Семен: ты с нею не жил? И если — да, то почему ты перед ее отъездом на учебу не хочешь оформить с ней брак? Ты из Ленинграда никого не ждешь к себе, вроде прежней жены? Пойми же, чертов

чурбан, что я беспокоюсь о тебе, ну, как брат, что ли, и для меня было бы страшно огорчительно разувериться в твоих качествах мужской порядочности... Я влезаю в твою душеньку вовсе не из праздного любопытства... Не обижайся, слышишь? Ну, и совсем напоследок: ты Харламову не затем ли хочешь устроить на учебу, чтобы развязать себе руки? Чтобы избавиться от ее присутствия... Гляди, братец!

Давыдов, устало сгибая затекшие от быстрой верховой езды ноги, тяжело опустился на старенький стул, стоявший как раз против кресла, на котором сидел Нестеренко, тупо посмотрел на потерханные, плетенные из прутьев лозняка подлокотники дешевенького кресла, а потом прислушался к неумолчному чириканью воробьев в кустах акации и, взглянув на желтое лицо Нестеренко, на его старую гимнастерку с аккуратно обшитыми рукавами,— проговорил:

— Напрасно я каялся тебе в своей дружбе, когда познакомился с тобой весной на пахоте... Напрасно, потому что ты, видно, никому не привык верить... Ну, и черт с тобой, секретарь! Ты, должно быть, только самому себе веришь, да и то по выходным дням, а всех остальных, даже кому ты в дружбе объясняешься, ты всегда под какое-то дурацкое подозрение берешь... Как же ты при таком характере можешь руководить районной партийной организацией? Ты себе сначала поверь как надо, а потом уже всех других бери под подозрение!

Нестеренко болезненно усмехнулся:

— Все-таки обиделся, хотя я тебя и просил не обижаться?

— Обиделся!

— Ну, и грош тебе цена!

Еще более усталый, Давыдов поднялся:

— Я пойду, а не то мы с тобой поругаемся...

— Мне бы этого не хотелось,— ответил Нестеренко.

— Мне тоже.

— Ну и побудь еще минут пять — десять, утрясем, в чем не сошлись.

— Побуду.— Давыдов снова опустился на стул, сказал: — Худого девушке я не причинил, факт! Ей надо учиться. У нее большая семья, сама она — старшая, тянет весь дом... Понятно тебе?

— Понятно,— отозвался Нестеренко, но по-прежнему смотрел на Давыдова строгими и отчужденными глазами.

— Жениться на ней думаю, когда она с учением устроится окончательно, а я управлюсь с осенними работа-

ми. Словом, крестьянская свадьба, после уборки,— невесело усмехнулся Давыдов. И, видя, что Нестеренко словно бы помягчел лицом и стал слушать его с бо́льшим вниманием, уже охотнее, без недавней принужденности и какой-то внутренней стеснительности, продолжал: — Женат ни в Ленинграде, нигде не был раньше, с Варюхой первый раз иду на такой риск. Да и пора: скоро уже и под сорок подтянет.

— С тридцати ты каждый год за десять считаешь? — улыбнулся Нестеренко.

— А гражданская война? Каждый год, протопанный в ней, я бы за десять лет считал.

— Многовато...

— А ты на себя погляди и скажешь, что как раз.

Нестеренко встал из-за стола, прошелся по комнате, зябко потирая руки, неуверенно ответил:

— Это как сказать... Впрочем, не об этом разговор, Семен. Я рад, когда выяснил, что тут ты не споткнешься, как с Лукерьей Нагульновой, тут у тебя похоже на что-то надежное. Что ж, поддерживаю доброе начинание и желаю счастья!

— Осенью на свадьбу приедешь? — потеплев сердцем, спросил Давыдов.

— Первый гость! — сказал Нестеренко, и опять его улыбка, как и прежде, засветилась непритворной веселинкой, и в мутных глазах блеснули прежние озорноватые искорки.— Первый не в смысле значимости, а потому, что первый явлюсь, как только услышу о свадьбе.

— Ну, будь здоров! Звякни секретарю окружкома.

— Сегодня же. Поезжай и не задерживайся там.

— Живой ногой!

Они обменялись крепким рукопожатием.

Выйдя на пыльную, нагретую солнцем улицу, Давыдов подумал: «А ведь неспроста он такой не похожий на себя, на прежнего! Ведь он же очень болеет! И эта желтизна, и щеки ввалились, как у покойника, и мутные глаза... Может быть, он потому так и разговаривал со мной?..»

Давыдов уже подходил к коню, когда Нестеренко, высунувшись из окна, негромко окликнул его:

— Вернись на минутку, Семен!

Давыдов неохотно поднялся по ступенькам райкомовского крыльца.

Нестеренко, еще более сгорбившись и как-то поникнув всем телом, посмотрел на Давыдова, проговорил:

— Может быть, я с тобой говорил излишне грубовато, но ты меня извини, брат, у меня большое горе: к малярии, черт его знает где, подцепил еще туберкулез, и сейчас он во мне бушует вовсю, в самой что ни на есть открытой форме. Каверны на обоих легких. Завтра еду в санаторий, окружком посылает. И не хотелось бы перед уборкой отлучаться из района, но ничего не поделаешь, не от сладкой жизни приходится ехать. Но к твоей свадьбе постараюсь вернуться. Поплакал я тебе в жилетку?.. Да нет, просто захотелось поделиться с другом горем, какое на меня свалилось — и так неожиданно...

Давыдов обошел вокруг стола, молча и крепко обнял Нестеренко, поцеловал его в горячую и влажную щеку и только тогда сказал:

— Езжай, дорогой, лечись! От этого одни молодые умирают, а нас с тобой никакая хворость не возьмет!

— Спасибо,— чуть слышно проговорил Нестеренко.

Широко шагая, Давыдов вышел на улицу, сел на коня, впервые с места огрел его плетью — и шибко поскакал по станичной улице, яростно бормоча сквозь стиснутые зубы:

— Все спал бы ты, лопоухий черт!..

* * *

Вернувшись после обеда в хутор, Давыдов прямиком проехал ко двору Харламовых, спешился у калитки, в меру неторопливо вошел во двор. Его, очевидно, увидели из дома, когда он подходил к крыльцу, широко расставляя ноги, морщась оттого, что потерся, сделав с непривычки чрезмерно большой пробег верхом,— на пороге хаты его встретила уже по-иному, приветливая, будто за полдня и приобыкшая к нему будущая теща:

— Да милый ты мой сынок, небось, подбился? И как ты так скоро обернулся! А ведь путь-то в станицу да обратно — не близкий! — с притворным сочувствием приговаривала она, глядя, как, неуверенно, раскорякой, идет к порогу Давыдов, и в душе, наверное, беззлобно посмеиваясь над тем, что нареченный зять ее молодецки помахивает плетью, а сам еле-еле переставляет ноги... Уж кому-кому, а ей старой казачке, полагалось знать, как ездят верхом «русские конники»...

В душе проклиная этакое сочувствие, Давыдов грубовато сказал:

— Да ты не рассыпайся, мамаша! А Варвара где?

— Пошла портнишку какую-нибудь искать. Кое-что из старья ведь ей надо себе приготовить? Ну, парень, и невесту ты себе сыскал! На ней же, окромя старенькой юбчонки, хоть разорвись, ничего не сыщешь! Где твои глазыньки были?

— А я у тебя нынче утром не юбку сватал, а дочь,— облизывая запекшиеся от жары губы, сказал Давыдов.— У тебя вода холодная есть напиться? А юбки дело наживное, с юбками подождем. Когда она придет, Варвара?

— А Христос ее знает. Проходи в хату! Ну как, договорился со своим начальством, чтоб Варьку в науку определять?

— А как же иначе? Завтра поедем в округ, собирай доченьку в дальнюю дорогу. Ну что? Сейчас глаза на мокрое место поставишь? Опоздала!

Мать и на самом деле заплакала — горько, неутешно, но вскоре, справившись со своей слабостью, вытерла глаза не очень чистой завеской, с досадой проговорила, изредка всхлипывая:

— Да ступай же ты в хату, родимец тебя забери! Что же мы будем с тобой об таком великом деле на базу гутарить?!

Давыдов прошел в хату, присел на лавку, бросил под лавку плеть.

— Мать, о чем же нам с тобой говорить? Дело ясное и решенное. Давай вот как договоримся: я сильно устал за эти дни, ты дай мне воды напиться, потом я сосну часок, вот тут у вас, проснусь, тогда и поговорим. А коня пусть кто-нибудь из наших ребятишек отведет на колхозную конюшню.

Подобрев лицом, женщина сказала:

— О коне не беспокойся, его ребята отведут, а ты подожди немного, я тебе холодного молочка принесу. Зараз принесу из погреба.

Усталость, бессонные ночи сморили Давыдова, и не дождался он молока: пока хозяйка пришла, осторожно неся отпотевшую корчагу с молоком, Давыдов уже спал, пристроившись на лавке, там, где сидел, успокоенно свесив правую руку, слегка приоткрыв рот. Хозяйка не стала его будить. Она бережно подняла запрокинутую голову Давыдова, подсунула под нее небольшую, в синем напернике подушку.

Одурманенный жаркой теплотою хаты и усталью, Давыдов беспросыпно проспал часа два и проснулся от детского шепота, от ласкового прикосновения теплых де-

вичьих рук. Он открыл глаза, увидел сидящую возле лавки, ласково улыбающуюся ему Варю и толпящихся возле него пятерых ребят — всех потомков рода Харламовых.

Самый младший из ребят и, очевидно, самый отважный, доверчиво беря в свои ручонки большую руку Давыдова, прижимаясь к нему, несмело спросил:

— Дяденька Семен, верно, что ты теперь у нас будешь жить?

Давыдов свесил с лавки ноги, сонно улыбнулся мальчику:

— Верно, сынок! А как же иначе? Варя уедет учиться, а кто же вас кормить, одевать-обувать будет? Теперь это мне придется делать, факт! — и по-отцовски положил руку на теплую, вихрастую голову ребенка.

## ГЛАВА XXV

На следующий день задолго до рассвета Давыдов разбудил спавшего на сеновале деда Щукаря, помог ему запрячь жеребцов и подъехал ко двору Харламовых. Сквозь неплотно прикрытые ставни он увидел, что в кухне горит лампа.

Мать Вари стряпалась, поперек широкой деревянной кровати спали детишки, а Варя, принаряженная в дорогу, сидела на лавке в родной хате уже не как своя, а как бы пришедшая ненадолго гостья.

Она встретила Давыдова счастливой и признательной улыбкой:

— А я уже давно готова, жду тебя, мой председатель.

Варина мать добавила, поздоровавшись с Давыдовым:

— Она засобиралась после первых кочетов. То-то молодо-зелено! А уж про то, что глупо, и гутарить не приходится!.. Зараз завтрак будет готов. Проходи, садись, товарищ Давыдов.

Втроем они наскоро поели вчерашних щей, жареной картошки, закусили молоком. Поднимаясь из-за стола, Давыдов поблагодарил хозяйку, сказал:

— Пора ехать. Прощайся, Варвара, с матерью, только не долго. Нечего вам сырость разводить, не навек расстаетесь. Как только поеду в округ, так прихвачу тебя, мамаша, с собой, проведать дочь... Я пошел к лошадям.— От порога он спросил Варю: — Какую-нибудь теплую одежку ты с собой берешь?

Варя не без смущения ответила:

— У меня есть ватная кофтенка, только уж дюже она старенькая...

— Сойдет, не на бал едешь, факт.

Час спустя они были уже далеко за хутором. Давыдов сидел рядом со Щукарем, Варя — с другой стороны дрожек. Время от времени она брала руку Давыдова, коротко пожимала ее и снова уходила в какие-то свои мысли. За недолгую жизнь девушка еще ни разу не покидала хутора на длительный срок, всего лишь несколько раз была в станице, еще не видела железной дороги, и первая поездка в город приводила ее сердчишко в восторг, в смятение и трепет. Расставаться с семьей, с подругами все же было горько, и у нее нет-нет да и наворачивались на глаза слезы.

Когда переправились на пароме через Дон и жеребцы шагом стали подниматься в гору на придонский бугор, Давыдов соскочил с дрожек и шел с той стороны, где сидела Варя, шагал, стряхивая сапогами с низкорослого придорожного полынка обильную росу, пока, до восхода солнца, еще бесцветную, не блещущую так, как блестит она поздним утром, переливаясь в солнечных лучах всеми цвета ми радуги. Изредка он взглядывал на Варю, ободряюще улыбался ей, тихо говорил:

— А ну, Варюха, перемести глаза на сухое место.

Или:

— Ведь ты у меня уже большая, взрослым не положено плакать, не надо, милая!

И заплаканная Варя послушно вытирала кончиком голубой косынки мокрые щеки и что-то беззвучно шептала, ответно улыбаясь ему несмелой и покорной улыбкой.

А над меловыми горбатыми отрогами Обдонских гор теснились туманы, и пока еще не виден был покрытый ими гребень бугра.

В этот ранний утренний час ни степной подорожник, ни поникшие ветки желтого донника, ни показавшееся на взгорье и близко подступавшее к шляху жито не источали присущих им дневных запахов. Даже всесильный полынок и тот утратил его — все запахи поглотила роса, лежавшая на хлебах, на травах так щедро, будто прошел здесь недавно короткий сыпучий июльский дождь. Потому в этот тихий утренний час и властвовали всесильно над степью два простых запаха — росы и слегка примятой ею дорожной пыли.

Дед Щукарь, в старом брезентовом плаще, подпоясанном еще более старым красным матерчатым кушаком, сидел, зябко нахохлившись, необычно долго для него молчал, только помахивал кнутом и со свистом причмокивал губами, понукая и без того резво бежавших жеребцов.

Но когда взошло солнце, он оживился, спросил:

— По хутору брешут, будто ты, Семушка, на Варьке жениться думаешь. Это правда?

— Правда, дед.

— Что ж, это дело такое, что как ни крутись, а рано или поздно от женитьбы не уйдешь, то есть я про мужчинов говорю,— глубокомысленно изрек старик. И продолжал: — Меня тоже покойные родители женили, когда мне только что стукнуло восемнадцать годков. А я и тогда был до ужасти хитрый, я и тогда знал, что это за чертовщина — женитьба... Вот уж я от нее крутился, как никто на белом свете! Я очень даже преотлично знал, что жениться — не меду напиться. И чего я только, Семушка, жаль моя, над собой не вытворял! И сумасшедшим прикидывался, и хворым, и припадошным. За сумасшедшего меня родитель — а покойник был крутой человек — битых два часа порол кнутом и кончил, только когда кнутовище обломал об мою спину. За припадошного порол меня уже ременными вожжами. А когда я прикинулся хворым, начал орать дурным голосом и сказал, что у меня вся середка гнилая — он, слова не говоря, пошел на баз и несет в хату оглоблю от саней. Не поленился, старый черт, идти под сарай, выворачивать ее, разорять сани. Вот он какой был, покойник, царство ему небесное. Принес он эту оглоблю и ласково так говорит мне: «Вставай, сынок, я тебя лечить буду»... Э, думаю: раз он не поленился оглоблю вывернуть, так он не поленится и душу из меня вывернуть своим лекарством. Дурна шутка — оглобля в его руках. Он у меня трошки с глупиной был, я ишо махоньким за ним этот грех примечал... И тут я взвился с кровати, как будто под меня кипятку плеснули. И женился. А что я с ним, с глупым человеком, мог поделать? И пошла и поехала моя жизня с той поры и наперекосяк, и боком, и вверх тормашками! Ежели сейчас в моей старухе добрых восемь пудов будет, то в девятнадцать лет в ней было...— Старик задумчиво пожевал губами, поднял глаза вверх и решительно закончил: — Никак не меньше пятнадцати пудов, истинный бог не брешу!

Давыдов, давясь от смеха, чуть слышно спросил:

— А не много ли?..

На что ему дед Щукарь весьма резонно возразил:

— А тебе не все равно? Пудом больше, пудом меньше — какая тебе разница? Ить не тебе же приходилось от нее страдания и баталии принимать, а мне? Один черт, мне было так плохо в этой супружеской жизни, что впору вешаться. Да только не на таковского она напала! Я отчаянный, когда разойдусь! Вот в отчаянности я и думал: повесься ты сначала, а я — после...

Дед Щукарь весело покрутил головой, похихикал, предаваясь, видимо, самым разнообразным воспоминаниям, и, видя, что слушают его с неослабным вниманием, охотно продолжал:

— Эх, дорогие граждане и... ты, Варька! Яростная была у нас любовь смолоду с моей старухой! А спрошу я вас: почему яростная? Да потому, что на злобé она всею жизнью у нас проходила, а ярость и злобá — одно и то же, так я у Макарушки в толстом словаре прочитал.

И вот, бывалоча, проснусь ночью, а моя баба то слезьми плачет, то смеется, а я про себя думаю: «Поплачь, милушка, бабьи слезы — божья роса, мне с тобой тоже не медовое житье, а я же не плачу!»

И вот на пятый год нашей жизни в супружестве случилось такое пришествие: вернулся сосед Поликарп с действительной службы. Служил он в Атаманском полку, гвардеец. Научили его там, дурака, усы крутить, вот он и дома начинает возле моей бабы усы закручивать. Както вечером гляжу, а они стоят у плетня, моя баба — с своей стороны, он — с своей, прошел я в хату, прикинулся слепым, будто ничего не вижу. На другой день вечером — опять стоят. Э, думаю, дурна шутка. На третий день я нарочно из дому ушел. В сумерках возвращаюсь — опять стоят! Экая оказия! Что-то надо мне делать. И придумал: обернул трехфунтовую гирьку полотенцем, прокрался к Поликарпу на баз, шел босиком, чтобы он не услыхал, и пока он усы крутил, я его и тяпнул в затылок со всей мочи. Он и улегся вдоль плетня, как колода.

Дней через несколько встречаюсь с Поликарпом. Голова у него перевязанная. Кисло так говорит мне: «Дурак! Ты же мог убить до смерти». А я ему говорю: «Это ишо неизвестно, кто из нас дурак — тот, кто под плетнем валялся, или тот, кто на ногах стоял».

С тех пор — как бабушка отшептала! Перестали они

стоять возле плетня. Только баба моя вскорости научилась по ночам зубами скрипеть. Проснусь от ее скрипа, спрашиваю: «У тебя, милушка, уж не зубы ли болят?» Она мне в ответ: «Отвяжись, дурак!» Лежу и думаю про себя: «Это ишо неизвестно, кто из нас дурее — кто зубами скрипит или кто спит тихочко и спокойночко, как смирное дите в люльке».

Боясь обидеть старика, слушатели сидели очень тихо. Варя молча тряслась от смеха, Давыдов отвернулся от Щукаря, закрыл лицо ладонями и что-то больно уж часто и заливисто кашлял. А Щукарь, ничего не замечая, с увлечением продолжал:

— Вот она какая иной раз бывает, яростная любовь! Одним словом, добра от этих женитьбов редко когда бывает, так я рассуждаю своим стариковским умом. Или, к придмеру, взять такой случай: в старое время жил у нас в хуторе молодой учитель. Была у него невеста, купецкая дочка, тоже с нашего хутора. Ходил этот учитель уж до того нарядный, до того красивый — я про одежу говорю,— как молодой петушок, и больше не ходил, а ездил на велосипеде. Тогда они только что появились, и уж ежли в хуторе был этот первый велосипед всем людям в диковинку, то про собак и говорить нечего. Как только учитель появится на улице, заблестит колесами, так проклятые собаки прямо с ума сходят. А он знай спешит, норовит ускакать от них, согнется в три погибели на своей машине и так шибко сучит ногами, что и глазом не разглядишь. Сколь-то мелких собачонок он передавил, но пришлось и ему от них лиха хватить!

Как-то утром иду я через площадь в степь за кобылой, и вот тебе — навстречу собачья свадьба. Впереди сучонка бежит, а за ней, как полагается, вязанка кобелей, штук тридцать, если не больше. А тогда наши хуторные, будь они прокляты, развели этих собак столько, что не счесть. В каждом дворе — по два, по три кобеля, да каких! Любой из них хуже тигры лютой и ростом каждый чуть не с телка. Все сундуки свои берегли хозяева да погреба. А что толку? Один черт, война у них всё порастрясла... И вот эта свадьба — мне навстречу. Я, не будь дурак, бросил уздечку и, как самый лихой кот, в один секунд взлетел на телеграфный столб, окорачил его ногами, сижу. А тут как на грех этот учитель на своей машине, колесами блестит, правилом от машины. Ну, они его и огарновали. Бросил он машину, топчется на одном месте, я ему шумлю: «Дурак, лезь ко мне

на столб, а то они тебя зараз на ленты всего распустят!» Полез он, бедняга, ко мне да опоздал малость: как только он ухватился за столб, они с него в один секунд спустили и новые дигоналевые штаны, и форменный пиджак с золотыми пуговицами, и все исподнее. А самые лютые из кобелей уже кое в каком месте до голого мяса добрались.

Потешились они над ним всласть и побегли своей собачьей дорогой. А он сидит на столбу, и только на нем и радости, что одна фуражка с кокардой, и то козырек он поломал, когда лез на столб.

Спустились мы с ним с нашего убежища — он спервоначалу, а я следом за ним: я же выше сидел, под самыми чашечками, через какие провода тянут. Вот по порядку и слезли — он, как есть голый, а на мне простая рубаха и одни холщовые штаны. Он и просит меня: «Дядя, уступи мне на время твои штаны, я через полчаса тебе верну их». Говорю ему: «Милый человек, как же я тебе их уступлю, ежли я без исподних? Ты уедешь на своей машине, а я без штанов буду вокруг столба крутиться среди бела дня? Рубаху уступлю на время, а штаны, извиняй, не могу». Надел он мою рубаху ногами в рукава, пошел, горемыка, потихонечку. Ему весь резон бы рысью бечь — а как он побежит, ежли он шагом идет, и то как стреноженный конь? Ну и увидела его в моей рубахе купецкая дочь — его невеста... В этот же день и кончилась ихняя любовь. Пришлось ему экстренно переводиться в другую школу. А через неделю от такого пришествия — тут тебе и стра́ма, тут и страх от собак, тут тебе и невеста бросила, и вся любовь их рухнулась к едрене-фене — получил парень скоротечную чахотку и помер. Но я этому не дюже верю: скорее всего, он от страху и от стра́мы помер. Вот до чего она доводит, эта проклятая любовь, не говоря уж про разные женитьбы и свадьбы. И ты бы, Семушка, жаль моя, сто раз подумал, допрежь чем жениться на Варьке. Все они одним миром мазанные, и недаром мы их с Макарушкой терпеть ненавидим!

— Ладно, дед, я еще подумаю,— успокоил старика Давыдов, а сам, пользуясь тем, что Щукарь закуривал, быстро притянул к себе Варю и поцеловал в висок, точно в то место, где шевелился под встречным ветром пушистый завиток волос.

Утомленный собственным рассказом, а может быть, воспоминаниями, дед Щукарь вскоре начал дремать, и Да-

выдов взял вожжи из его ослабевших рук. Одолеваемый дремотою, дед Щукарь пробормотал:

— Вот спасибо тебе, жаль моя, ты помахай на жеребцов кнутом, а я часок присплю. Язви ее со старостью! Как только солнце пригреет, так тебя сон начинает морить... А зимой, чем ни дюжей холод, тем тебе дюжей спать хочется, того и гляди, замерзнешь во сне.

Маленький и щуплый, он лег между Варей и Давыдовым, протянувшись вдоль дрожек, как кнут, и вскоре уже храпел, тонко, фистулой.

А нагретая солнцем степь уже дышала всеми ароматами разнотравья, пресно примешивался к запаху скошенных трав запах теплой дорожной пыли, нечетко синели тонущие в мареве нити дальних горизонтов,— и жадными глазами оглядывала Варя незнакомую ей задонскую, но все же бесконечно родную степь.

* * *

Ночевали они возле стога сена, проехав к вечеру более ста километров. Поужинали взятыми из дому скромными харчишками, посидели немного возле дрожек, молча глядя на звездное небо. Давыдов сказал:

— Завтра у нас опять ранний подъем, давайте мостить-ся спать. Ты, Варюха, ложись на дрожках, бери мое пальто, укроешься им, а мы с дедушкой пристроимся под стогом.

— Правильное решение ты принимаешь, Семушка,— обрадованно одобрил Щукарь, весьма довольный тем обстоятельством, что Давыдов ложится именно с ним.

Нечего греха таить, старику было страшновато ночевать одному в чужой безлюдной степи.

Давыдов лежал на спине, закинув руки за голову, смотрел в разверстое над ним бледно-синее небо. Нашел глазами Большую Медведицу, вздохнул, а потом поймал себя на том, что чему-то неосознанно улыбается.

Только к полуночи остыла накаленная за день земля и стало по-настоящему прохладно. Где-то недалеко, в балке, наверное, был пруд или степной лиман. От него потянуло запахом ила, камыша. Совсем недалеко ударил перепел. Послышалось неуверенное, всего лишь в несколько голосов, кваканье лягушек, «Сплю, сплю!» — сонно прокричала в ночи маленькая сова...

Давыдов стал дремать, но тут в сене прошуршала мышь, и дед Щукарь вскочил с бешеным проворством, тормоша Давыдова, заговорил:

— Сема, ты слышишь?! Ну, и выбрали место, язви его! В этом стогу, небось, ужаков и змей полно. Слышишь, шуршат, проклятые? Какие-то совы кричат, как на кладбище... Давай переезжать в другое место с этого гиблого угодья!

— Спи, не выдумывай,— сонно отозвался Давыдов.

Щукарь снова лег, долго ворочался, со всех сторон подтыкал под себя плащ, бормоча:

— Говорил же тебе — давай на арбе поедем, так нет, захотелась тебе на дрожках фасон давить. Вот теперь и радуйся. То бы мы из дому настелили полную арбу своего, природного сена и ехали бы спокойночко, и спали б зараз все трое на этой арбе, а то теперь, пожалуйста, гнись под чужим стогом, как бездомная собака. Варьке добро, она спит наверху в укрытии, барыня барыней, а тут — в головах шуршит, с боков шуршит, в ногах шуршит, а чума его знает, что оно там шуршит? Вот уснешь, подползет к тебе гадюка, тяпнет в притимное место, вот ты и отжениховался! А ить она, проклятая, куда укусит,— а то и с копыт долой. Вот тогда твоя Варька слез корыто прольет, а что толку?.. Меня любой гадюке кусать резона нет, у меня мясо старое, жилистое, да к тому же от меня козлом воняет,— потому как Трофим рядом со мной часто спит на сеновале,— а гадюки козлиного духа не любят. Ясное дело, ей тебя кусать, а не меня... Давай переезжать с этого места!

Давыдов с досадою сказал:

— Ты сегодня угомонишься, дед? Ну, куда мы среди ночи поедем?

Дед Щукарь печально ответил:

— Завез ты меня в пропащее место — знал бы, хучь со старухой попрощался бы, а то поехал, как сроду не венчанный. Так не будешь трогаться с места, жаль моя?

— Нет. Спи, старик.

Тяжело вздыхая и крестясь, дед Щукарь сказал:

— И рад бы уснуть, Семушка, да ить страх в глазах. Тут сердце от страху стукотит в грудях, тут сова эта треклятая орет, хучь бы она подавилась...

Под размеренные причитания Щукаря Давыдов крепко уснул.

Проснулся он перед восходом солнца. Рядом с ним, привалившись боком к стенке стога и поджав ноги, сидела

Варя и перебирала на его лбу спутанные пряди волос,— и так нежны и осторожны были касания ее девичьих пальцев, что Давыдов, уже проснувшись, еле ощущал их. А на ее месте, на дрожках, укрывшись давыдовским пальто, крепко спал дед Щукарь.

Розовая, как эта зоренька, Варя тихонько сказала:

— А я уже сбегала к пруду, умылась. Буди дедушку, давай ехать! — Она легко прижалась губами к колючей щеке Давыдова, пружинисто вскочила на ноги.— Пойдешь умываться, Сема? Я покажу дорогу к пруду.

Осипшим со сна голосом Давыдов ответил:

— Проспал я свое умыванье, Варюха, где-нибудь дорогой умоюсь. А этот старый суслик давно тебя разбудил?

— Он меня не будил. Я проснулась на рассвете, а он сидит возле тебя, обнял колени руками и цигарку курит. Я спрашиваю: «Ты чего не спишь, дедушка?» А он отвечает: «Я всю ночь не сплю, милушка, тут кругом змей полно. Ты пойди погуляй по степи, а я на твоем месте хоть часок в спокойствии усну». Я встала и пошла умываться к пруду.

В первой половине этого дня они были уже в Миллерове. За полчаса Давыдов управился в окружкоме, вышел на улицу веселый, довольно улыбающийся:

— Все решил секретарь, как и надо решать в окружкоме, быстро и дельно: тебя, моя Горюха, возьмут под свою опеку девчата из окружкома комсомола, а сейчас поедем в сельхозтехникум, буду тебя устраивать на новое местожительство. Договоренность с заместителем директора уже есть. До начала приемных испытаний с тобой позанимаются преподаватели, и к осени будешь ты у меня подкована на все четыре ноги, факт! Девчатки из окружкома будут тебя проведывать, договорился с ними по телефону.— По привычке Давыдов оживленно потер руки, спросил: — А знаешь, Варюха, кого к нам посылают в хутор секретарем комсомольской организации? Кого бы ты думала? Ивана Найденова, паренька, который был у нас зимой с агитколонной. Очень толковый парень, я страшно рад буду его приезду. Тогда у нас дело с комсомолом пойдет на лад, это я тебе фактически говорю!

За два часа все было улажено и в сельхозтехникуме. Подошла пора расставаться. Давыдов твердо сказал:

— До свидания, милая моя Варюха-горюха, не скучай и хорошенько учись, а мы там без тебя не пропадем.

Впервые он поцеловал Варю в губы. Пошел по коридору. На выходе оглянулся, и вдруг такая острая жалость стиснула его сердце, что ему показалось, будто шероховатый пол закачался под его ногами, как палуба: Варя стояла, прижавшись к стене лбом, уткнув лицо в ладони, голубенькая косынка ее съехала на плечи, и столько было во всей ее фигуре беспомощности и недетского горя, что Давыдов только крякнул и поспешил выйти во двор.

К исходу третьих суток после отъезда из хутора он уже вернулся в Гремячий.

Несмотря на поздний час, в правлении колхоза его ожидали Нагульнов и Размётнов. Нагульнов хмуро поздоровался с ним, так же хмуро сказал:

— Ты что-то, Семен, последние дни дома не живешь: в станицу съездил, а потом в окружком... Какая нужда тебя в Миллерово-то носила?

— Обо всем доложу в свое время. А у вас что нового в хуторе?

Вместо ответа Размётнов спросил:

— Ты дорогой видел хлеба? Ну, как они там, подошли уже?

— Ячмень кое-где уже можно косить, выборочным порядком, рожь — тоже. Ну, рожь, по-моему, можно класть наповал, но что-то соседи наши медлят.

Как бы про себя Размётнов проговорил:

— Тогда не будем и мы спешить. С зеленцой ее повалять можно при хорошей погоде, она и в валках дойдет,— а ежели дождь? Вот и пиши пропало.

Нагульнов согласился с ним:

— Тройку дней подождать можно, но потом уже браться за покос надо и руками и зубами, иначе райком съест тебя, Семен. А нас с Андреем на закуску... Да, имею и я новость: есть у меня в совхозе дружок по военной службе, ездил я его проведать вчера. Он давно меня приглашал нá-гости, да все как-то неуправно было, а вчера решился — думаю: смотаюсь к нему на денек, проведаю приятеля, а кстати и погляжу, как трактора работают. Сроду не видал, и дюже мне это было любопытно! У них там пары пашут, я и проторчал в поле целый день. Ну, братцы, и штука, должен я вам сказать, этот трактор фордзон! Рысью пашет пары. А как только напорется на целину где-нибудь на повороте, так у него, у бедного, силенок и не хватает. Подымется вдыбки, как норовистый конь перед препятствием, постоит-постоит и опять вдарится колесами об

землю, поспешает поскорее убраться обратно на пары, не под силу ему целина... Но иметь пару таких лошадок у нас в колхозе все равно было бы невредно, вот о чем я думал и думаю все время. Дюже уж завидная в хозяйстве штука! Так меня это завлекло, что с дружком даже выпить не успели. Прямо с поля повернулся я и поехал домой.

— Ты же думал в Мартыновскую МТС съездить? — спросил Размётнов.

— А какая разница — в МТС или в совхоз? И там трактора, и тут такие же. Да и далековато, а покос — вот он, на носу.

Размётнов хитро сощурился:

— А я, признаться, грешил на тебя, Макар, что ты по пути из Мартыновской завернешь в Шахты проведать Лукерью...

— И в мыслях не держал! — решительно сказал Нагульнов.— А вот ты, небось, бы заехал, знаю я тебя, белобрысого!

Размётнов вздохнул:

— Будь она моей предбывшей женой, я бы не только непременно заехал, но и прогостил у нее не меньше недели! — И уже шутливо добавил: — Я не такой соломенный тюфяк, как ты!

— Знаю я тебя,— повторил Нагульнов. И, подумав, тоже добавил: — Чертова бабника! Но и я не такой бегунец по бабам, как ты!

Размётнов пожал плечами:

— Я вдовцом живу тринадцатый год. Чего ты от меня хочешь?

— Вот потому ты и бегунец.

После короткого молчания Размётнов уже совершенно серьезно и тихо сказал:

— А может, я все двенадцать годов одну люблю, ты же не знаешь?

— Это ты-то? Поверю я тебе, как же!

— Одну!

— Уж не Марину ли Пояркову?

— Не твое дело — кого, и ты в чужую душу не лезь! Может быть, когда-нибудь, под пьяную руку, я и рассказал бы тебе, кого любил и доныне люблю, но ведь... Холодный ты человек, Макар, с тобой по душам сроду не поговоришь. Ты в каком месяце родился?

— В декабре.

— Я так и думал. Не иначе, тебя мать у проруби на

льду родила — пошла за водой и по нечаянности разродилась прямо на льду: потому-то от тебя всю жизнь холодом несет. Как же тебе признаешься от сердца?

— А ты, видать, на горячей плите родился?

Размётнов охотно согласился:

— Дюже похоже! Потому от меня и пышет жаром, как при суховее. А вот ты — другое дело.

С досадой Нагульнов сказал:

— Надоело! Хватит об нас с тобой и об бабах разговаривать, давайте лучше потолкуем об том, кому из нас в какую бригаду направляться на уборку.

— Нет,— возразил Размётнов,— давай уж прикончим начатый разговор, а кому в какую бригаду ехать — это мы успеем поговорить. Ты спокойночко рассуди, Макар, вот об чем: прозвал ты меня бегунцом, а какой же я бегунец по нынешним временам, ежели я вскорости вас обоих на свадьбу кликать буду?..

— Это ишо на какую свадьбу? — строго спросил Нагульнов.

— На мою собственную. Мать окончательно старухой стала, тяжело ей в хозяйстве, заставляет жениться.

— И ты послушаешься ее, старый дурак? — Нагульнов не мог скрыть своего величайшего возмущения.

С притворным смирением Размётнов ответил:

— А куда же мне деваться, миленький мой.

— Ну и трижды дурак! — Затем, почесав в раздумье переносицу, Нагульнов заключил: — Придется нам, Семен снимать с тобой одну квартиру и жить вместе, чтобы не так скучно было. А на воротах напишем: «Тут живут одни холостяки».

Давыдов не замедлил с ответом:

— Ничего у нас, Макар, из этой затеи не выйдет: невеста у меня есть, потому и ездил в Миллерово.

Нагульнов переводил испытующий взгляд с одного на другого, пытаясь разгадать, шутят они или нет, а потом медленно поднялся, раздувая ноздри, даже несколько побледнев от волнения.

— Да вы что, перебесились, что ли?! Последний раз спрашиваю: всурьез вы это говорите или высмеиваетесь надо мной? — Но, не дождавшись ответа, плюнул под ноги со страшным ожесточением, не прощаясь, вышел из комнаты.

## ГЛАВА XXVI

Дурея от скуки, с каждым днем все больше морально опускаясь от вынужденного безделья, Половцев и Лятьевский по-прежнему коротали дни и ночи в тесной горенке Якова Лукича.

В последнее время что-то значительно реже стали навещать их связные, а обнадеживающие обещания из краевого повстанческого центра, которые доставлялись им в простеньких, но добротно заделанных пакетах, уже давно утратили для них всякую цену...

Половцев, пожалуй, легче переносил длительное затворничество, даже наружно он казался более уравновешенным, но Лятьевский изредка срывался, и каждый раз по-особому: то сутками молчал, глядел на стену перед собой потухшим глазом, то становился необычайно, прямо-таки безудержно, болтливым, и тогда Половцев, несмотря на жару, с головой укрывался буркой, временами испытывая почти неодолимое желание подняться, вынуть шашку из ножен и сплеча рубнуть по аккуратно причесанной голове Лятьевского. А однажды с наступлением темноты Лятьевский незаметно изчез из дома и появился только перед рассветом, притащив с собой целую охапку влажных цветов.

Обеспокоенный отсутствием сожителя, Половцев всю ночь не смыкал глаз, ужасно волновался, прислушивался к самому ничтожному звуку, доносившемуся извне. Лятьевский, пропахший ночной свежестью, возбужденный прогулкой, веселый, принес из сеней ведро с водой, бережно опустил в него цветы. В спертом воздухе горенки одуряюще пьяно, резко вспыхнул аромат петуний, душистого табака, ночной фиалки, еще каких-то неизвестных Половцеву цветов,— и тут произошло неожиданное: Половцев, этот железный есаул, всей грудью вдыхая полузабытые запахи цветов, вдруг расплакался... Он лежал в предрассветной тьме на своей вонючей койке, прижимая к лицу потные ладони, а когда рыдания стали душить его, рывком повернулся к стене, из всей силы стиснул зубами угол подушки.

Лятьевский, мягко ступая босыми ногами, ходил по теплым половицам горенки. В нем проснулась деликатность, и он чуть слышно насвистывал опереточные арии и делал вид, что ничего не слышит, ничего не замечает...

Уже часов в одиннадцать дня, очнувшись от короткого, но тяжелого сна, Половцев хотел учинить Лятьевскому жестокий разнос за самовольную отлучку, но вместо этого сказал:

— Воду в ведре надо бы переменить... завянут.

Лятьевский весело отозвался:

— Сию минуту будет исполнено.

Он принес кувшин холодной колодезной воды, теплую воду из ведра выплеснул на пол.

— Где вы достали цветы? — спросил Половцев.

Ему было неловко за свою слабость, стыдно за слезы, пролитые ночью, и он смотрел в сторону.

Лятьевский пожал плечами:

— «Достал» — это слишком мягко, господин Половцев. «Украл» — жестче, но точнее. Прогуливался возле школы, уловил поразивший мое обоняние божественный аромат и махнул в палисадник к учителю Шпыню, там и ополовинил две клумбы, чтобы хоть как-нибудь скрасить наше с вами гнусное существование. Обещаю и впредь снабжать вас свежими цветами.

— Нет уж, увольте!

— А вы еще не полностью утратили некоторые человеческие чувства,— тихо, намекающе проговорил Лятьевский, глядя на Половцева в упор.

Тот промолчал, сделал вид, будто не слышит...

Каждый из них по-своему убивал время: Половцев часами просиживал за столом, раскладывая пасьянсы, брезгливо касаясь толстыми пальцами замусоленных, толстых карт, а Лятьевский чуть ли не в двадцатый раз, не вставая с койки, перечитывал единственную имевшуюся у него книгу — «Камо грядеши?» Сенкевича, смаковал каждое слово.

Иногда Половцев, оставив карты, садился прямо на полу, по-калмыцки сложив ноги, и, расстелив кусок брезента, разбирал, чистил и без того идеально чистый ручной пулемет, протирал, смазывал теплым от жары ружейным маслом каждую деталь и снова не спеша собирал пулемет, любуясь им, клоня лобастую голову то в одну, то в другую сторону. А потом, вздохнув, укладывал пулемет в этот же кусок брезента, бережно укладывал его под койку, смазывал и снова заряжал диски и, уже сидя за столом, доставал из-под тюфяка свою офицерскую шашку, пробовал на ногте большого пальца остроту клинка и сухим бруском осторожно, всего лишь несколько раз проводил по тускло

блистающей стали. «Как бритва!» — удовлетворенно бормотал он.

В такие минуты Лятьевский, отложив книгу, щурил единственный глаз, саркастически улыбался:

— Удивляет меня, без меры удивляет ваша дурацкая сентиментальность! Что вы носитесь с вашей селедкой, как дурень с писаной торбой? Не забывайте, что сейчас тридцатый год и век сабель, пик, бердышей и прочих железок давно уже миновал. Артиллерия, любезнейший, решала все в прошлую войну, а не солдатики на лошадках или без оных, она же будет решать исход и будущих сражений и войн. Как старый артиллерист утверждаю это самым решительным образом!

Половцев, как всегда, смотрел исподлобья, цедил сквозь зубы:

— Вы думаете начинать восстание, сразу же опираясь на огонь гаубичных батарей — или же на солдатиков с шашками? Дайте мне поначалу хоть одну трехдюймовую батарею, и я с удовольствием оставлю шашку на попечение жены Островнова, а пока помолчите, ясновельможный фразер! От ваших разговорчиков меня тошнит. Это вы польским барышням рассказывайте о роли артиллерии в прошлой войне, а не мне. И вообще всегда вы пытаетесь говорить со мной пренебрежительным тоном, а напрасно, представитель великой Польши. Ваш тон и ваши разговорчики дурно пахнут. Впрочем, ведь это о вашей державе в двадцатых годах говорили: «Еще Польска не сгинела, но дала уже душок»...

Лятьевский трагически восклицал:

— Боже мой, какое духовное убожество! Карты и сабля, сабля и карты... Вы за полгода не прочли ни одного печатного слова. Как вы одичали! А ведь вы когда-то были учителем средней школы...

— По нужде был учителем, милейший пан! По горькой нужде!

— Кажется, у вашего Чехова есть рассказик о казаках: на своем хуторе живет невежественный и тупой казак-помещик, а два его взрослых оболтуса-сына только тем и занимаются, что один подбрасывает в воздух домашних петушков, а другой стреляет по этим петушкам из ружья. И так изо дня в день: без книг, без культурных потребностей, без тени каких-либо духовных интересов... Иногда мне кажется, что вы — один из этих двух сынков... Может быть, я ошибаюсь?

Не отвечая, Половцев дышал на мертвую сталь шашки, смотрел, как растекается и медленно тает на ней синеватая тень, а затем подолом серой толстовки вытирал шашку и осторожно, даже нежно, без пристука, опускал ее в потертые ножны.

* * *

Но не всегда их внезапно возникавшие разговоры и короткие пикировки кончались столь мирно. В горенке, редко проветриваемой, было душно; наступившая жара еще более отягчала их жалкое житье в доме Островнова, и все чаще Половцев, вскакивая с влажной, пропахшей потом постели, приглушенно рычал: «Тюрьма! Я пропаду в этой тюрьме!» Даже по ночам, во сне, он часто произносил это неласковое слово, пока наконец выведенный из терпения Лятьевский как-то не сказал ему:

— Господин Половцев, можно подумать, что у вас, в вашем и без того убогом лексиконе, осталось всего только одно слово «тюрьма». Если уж вы так тоскуете по этому богоугодному заведению, мой добрый совет вам: идите сегодня же в районное ГПУ и попросите, чтобы вас определили в тюрьму этак лет на двадцать, не меньше. Уверяю вас, что в вашей просьбе вам не будет отказано!

— Это как называется? Остроумием по-польски? — криво улыбаясь, спросил Половцев.

Лятьевский пожал плечами:

— Вы находите мое остроумие плоским?

— Вы просто скот,— равнодушно сказал Половцев.

Лятьевский снова пожал плечами, усмехнулся:

— Возможно. Но я так долго живу рядом с вами, что не мудрено потерять человеческий облик..

После этой стычки они в течение трех суток не обменялись ни одним словом. Но на четвертый день им поневоле снова пришлось заговорить...

Рано утром, когда Яков Лукич еще не уходил на работу, во двор вошли двое незнакомых, один — в новеньком прорезиненном пальто, другой — в замызганном брезентовом плаще с капюшоном. У первого под мышкой был прижат объемистый, пухлый портфель, у второго через плечо висел кнут с нарядными ременными махрами. Согласно давнему уговору, Яков Лукич, завидев в окно пришельцев, быстро прошел в сени, дважды, с короткой паузой, стукнул

в дверь горницы, где жили Половцев и Лятьевский, и степенно вышел на крыльцо, разглаживая усы.

— Вы ко мне, добрые люди? Аль понадобилось вам что из колхозного закрома? И кто вы такие? Из приезжих?

Плотный коренастый человек с портфелем, приветливо улыбаясь, сияя женственными ямочками на толстых щеках, тронул ладонью козырек поношенной кепки, сказал:

— Вы и есть хозяин дома? Здравствуйте, Яков Лукич! Нас направили к вам ваши соседи. Мы — заготовители скота, работаем на шахтеров, заготовляем им скот, как говорится, на дневное пропитание. Платим хорошие деньги, повыше общегосударственных, заготовительных. А платим выше потому, что нам надо шахтеров кормить посытнее и без перебоев. Вы же завхоз колхоза и должны понимать нашу нужду... Но из колхозного закрома нам ничего не надо, мы покупаем скот личного пользования, а также у единоличников. Нам сказали, что у вас есть телка-летошница. Может, продадите? За ценой мы не постоим, была бы она в теле.

Яков Лукич помолчал, задумчиво почесал бровь, прикидывая про себя, что со щедрых заготовителей можно сорвать лишнее, не таскаясь по рынкам, и ответил так, как отвечает большинство хлеборобов, умеющих не продешевить:

— Продажной телушки у меня нету.

— А может, все-таки поглядим ее и сойдемся? Еще раз скажу вам, что мы готовы заплатить лишнего.

И Яков Лукич, помолчав с минуту, поглаживая усы, для важности — врастяжку, как бы про себя, ответил:

— Телушка то есть имеется у меня, и сытенькая, аж блестит! Но она мне самому нужна: корова пристарела, менять надо, а порода на молоко и на сним, то есть на сливки, по-вашему, дюже хорошая. Нет, товарищи покупатели, не продам!

Коренастый, с портфелем, разочарованно вздохнул:

— Ну, что ж, хозяину виднее... Извиняйте нас, поищем товару в другом месте,— и еще раз неловко коснувшись рукой козырька помятой кепки, пошел со двора.

Следом за ним поплелся и дюжий, очень широкоплечий гуртовщик, поигрывая кнутом, рассеянным взглядом обводя двор, жилые постройки, окна дома, наглухо закрытую дверцу чердака...

И тут хозяйское сердце Якова Лукича не выдержало. Допустив гостей до калитки, он окликнул коренастого:

— Погоди трошки, эй ты, товарищ заготовитель! Вы сколько платите за килограмму живого веса?

— Как сойдемся. Но я уже тебе сказал, что за ценой не стоим и сами располагаем своими деньгами. Они у нас считанные, но не мереные,— хвастливо похлопывая пухлой рукой по пухлому портфелю, сказал коренастый, выжидающе стоя возле калитки.

Яков Лукич решительно зашагал с крыльца.

— Пойдемте глядеть телушку, пока не прогнали ее в табун, но поимейте в виду, что дешево я вам ее не отдам — только из уважения, потому что ребята вы, видать, сходственные, да и не дюже скуповатенькие. А мне скупых купцов на моем базу и на дух не нужно!

Оба покупателя осматривали и ощупывали телку дотошно, придирчиво, потом коренастый стал нудно торговаться, а тот, который был с кнутом, скучливо посвистывая, пошел по забазьям и базу, заглядывая и в курятник, и в пустую конюшню, и всюду, куда ему и не надо было бы заглядывать... И тут Якова Лукича как бы осенило: «Ох, не те покупатели!»

Сразу сбавив цену на целых семьдесят пять рублей, он сказал:

— Ладно, отдаю себе в убыток, только для товарищей шахтеров, но вы меня извиняйте, мне надо идти в правление, некогда мне с вами проводить время. Телушку зараз поведете? Тогда деньги на кон!

У входа в сарай коренастый, слюнявя пальцы, долго отсчитывал кредитки, накинул сверх условленной цены еще пятнадцать рублей, пожав руку заскучавшему Якову Лукичу, подмигнул:

— Может, на нашей сделке разопьем бутылочку, Яков Лукич? Наше заготовительное дело требует магарыч при себе иметь,— и, не торопясь, достал из кармана неярко блеснувшую при свете раннего солнца бутылку белоголовки.

С деланной веселостью Яков Лукич ответил:

— Вечерком, дорогие сваты, вечерком! Вечером радый буду и поприветить вас, и выпить с вами. Такая веселуха в бутылке, какую ты показываешь, найдется и у хозяина в доме, пока мы ишо не дюже обедняли, а зараз извиняйте: с утра мне здоровье не дозволяет водку пить, да и дело не указывает, мне на колхозную службу надо направляться. Наведайтесь после захода солнца, вот тогда и пропьем мою телочку.

— Ты хоть бы в дом пригласил, угостил сватов молоком от телочкиной мамаши,— сияя добродушнейшей улыбкой и ямочками на круглых щеках, сказал коренастый и просительно положил руку на локоть Якова Лукича.

Но непреклонный Яков Лукич уже был собран в единый комок воли и предельного напряжения, а потому и ответил, усмехаясь несколько пренебрежительно:

— У нас, у казаков, господа хорошие, в гости ходят не тогда, когда кому-то погостевать захочется, а тогда, когда хозяева зовут и приглашают. У вас, может быть, по-другому? Ну уж тут давайте по нашему обычаю, по-хуторскому: уговорились повидаться вечером? Стало быть, с утра и речей больше терять нечего. Прощевайте!

Повернувшись спиной к покупателям, даже не взглянув на телку, которую неспешно взналыгивал дюжий гуртовщик, Яков Лукич шел до крыльца с ленивой развальцей. Кряхтя и притворно охая, держась за поясницу левой рукой, он поднялся на верхнюю ступеньку и только в сенях, уже без тени притворства, прижал к груди ладонь, постоял с минуту, закрыв глаза, прошептал побелевшими губами: «Будьте вы все трижды прокляты!» Колющая боль в сердце скоро утихла, прошло и легкое головокружение. Яков Лукич постоял еще немного, потом почтительно, но настойчиво постучался в дверь горницы, где жил Половцев.

Переступив порог, он едва успел сказать: «Ваше благородие, беда!..» — и тотчас же, как ночью в грозу — при вспышке молнии, увидел направленный на него ствол нагана, тяжелую, выдвинутую вперед челюсть Половцева, его напряженный немигающий взгляд и Лятьевского, сидевшего на койке в небрежной позе, но с лопатками, плотно прижатыми к стене, с ручным пулеметом на слегка приподнятых коленях, ствол которого тоже был направлен на входную дверь, как раз на уровне груди Якова Лукича... Все это за миг ослепительного видения узрел Яков Лукич, даже улыбку Лятьевского и лихорадочный блеск его одинокого глаза, когда, словно издалека, услышал вопрос:

— Ты кого же это привел во двор, милый хозяин?!

Голоса не узнал потрясенный Яков Лукич, будто кто-то третий, невидимый, задал ему этот вопрос свистящим, прерывающимся шепотом. Но неподвластная сила заставила старика на короткое время преобразиться: вытянутые по швам руки согнулись в локтях, сам Яков Лукич как-то обмяк, сник. Однако заговорил хоть и бессвязно, с передышками, но заговорил иным, чем прежде, языком:

— Никого я к себе не приводил, они сами непрошеные явились. И до каких же это пор, господа хорошие, вы будете изо дня в день на меня пошумливать и помыкать мной, ну, как малым парнишкой? Мне это очень даже обидно! Задаром и кормлю вас, и пою, и всячески угождаю. И бабы наши и обстирывают вас и всякую пищу готовят бесплатно... Убить меня вы можете враз, хучь сей секунд, но мне уж и жизня-то при вас стала в великую тягость! И телушку я в убыток себе отдал потому, что чем-то вас правдать надо? А ведь вам, вашим благородиям, пустых щей не подашь, а непременно с мясцом. Вы с меня и водки постоянно требуете... Я же вас упредил, когда эти незваные гости заявились на баз, я только немного опосля смикитил, что не те покупатели явились, и подался от них задом: «Бог с вами, берите телушку хучь задарма, только поскорей уходите!» А вы, господа хорошие... Эх, да что я вам докажу? — Яков Лукич безнадежно махнул рукой, прижался грудью к дверной притолоке, пряча лицо в ладонях.

Со странным равнодушием, которое давно уже одолевало Половцева, тот вдруг сказал удивительно бесцветным голосом:

— А ведь, пожалуй, старик прав, пан Лятьевский. Запахло жареным, и нам надо убираться отсюда, пока не поздно. Ваше мнение?

— Надо уходить сегодня же,— решительно высказался Лятьевский, осторожно опуская пулемет на помятую постель.

— А связь?

— Об этом после. — Лятьевский кивком головы указал на Якова Лукича. И, обращаясь к нему, резко сказал: — Хватит вам, Лукич, бабиться! Расскажите, о чем шел разговор с покупателями. Деньги они вам заплатили сполна? Сюда эти купцы еще раз не заявятся?

Яков Лукич по-детски всхлипнул, высморкался в подол неподпоясанной рубахи, вытер ладонью глаза, усы и бороду и коротко, не подымая глаз, рассказал о разговоре с заготовителями, о подозрительном поведении гуртовщика, не забыл упомянуть и о том, что вечером заготовители придут выпить с ним магарыча.

Половцев и Лятьевский при этом сообщении молча переглянулись.

— Очень мило,— нервически посмеиваясь, сказал Лятьевский. — Умнее ты ничего не мог придумать, пригла-

щая их к себе в дом? Чертова ты тупица, безнадежный идиот!

— Не я их приглашал, они сами навязались в гости и норовили зараз же пройти в дом, насилу уговорил их подождать до вечера. И вы, ваше благородие, или как вас там кличут-величают, напрасно меня дурите, за глупого считаете... За каким же чертом, прости господи, зазывал бы я их в дом, ежели вы тут отсиживаетесь? Чтобы с вас и с себя головы посымать?

Влажные глаза Якова Лукича недобро блеснули, и закончил он уже с нескрываемой злобой:

— Вы, господа офицеры, до семнадцатого года думали, что одни вы умные, а солдаты и простые казаки все как есть с придурью. Учили вас красные, учили, да так, видать, ничему и не выучили... Не впрок пошла вам наука и великое битье!

Половцев подмигнул Лятьевскому. Тот, закусив губу, молча отвернулся к занавешенному окну, а Половцев подошел к Островнову вплотную, положил ему руку на плечо, примиряюще улыбнулся:

— Охота тебе, Лукич, волноваться по пустякам! Мало ли что человек не скажет вгорячах. Не всякое же лыко в строку. Вот в чем ты прав: покупатели твоей телки — такие же заготовители, как я архиерей. Оба они чекисты. Одного из них Лятьевский лично опознал. Понятно? Ищут они нас, но ищут пока на ощупь, вслепую, потому-то они и прикинулись заготовителями. Теперь дальше: до обеда нам надо по одному уйти отсюда. Иди и займи твоих покупателей часа на два, на три, как хочешь и чем хочешь. Можешь повести их куда-нибудь к знакомым, из наших, кто окажется сейчас дома, выпить с ними водки, поговорить, но боже тебя и хозяина упаси напиться пьяными и развязать языки! Узнаю — убью обоих! Ты это крепко запомни! А пока ты займешь их выпивкой, мы тихонько, по яру, что выходит в задах твоего подворья, выйдем в степь, а там нас ищи-свищи! Сыну поручи, чтобы сейчас же в прикладе кизяка надежно спрятал мою шашку, пулемет, диски и обе наши винтовки.

— Одну вашу винтовку прячьте, моя будет со мной,— вставил Лятьевский.

Половцев молча взглянул на него и продолжал:

— Пусть все это имущество завернет в полсть и тихонько, оглядевшись предварительно, пройдет в сарай. В доме ни в коем случае ничего не смей прятать. Есть еще одна

просьба к тебе, вернее — приказ: пакеты, которые будут поступать на мое имя, получай и, как только получишь, клади их под молотильный камень, что лежит возле амбара. По ночам мы будем иногда наведываться сюда. Ты все понял?

Яков Лукич прошептал:

— Так точно.

— Ну, ступай и не спускай глаз с этих чертовых заготовителей! Уведи их подальше отсюда, а через два часа нас уже здесь не будет. Вечерком можешь пригласить их к себе. Койки из этой горницы убрать на чердак, комнату проветрить. Для отвода глаз набросай сюда всякой рухляди — и тогда, если они попросят, покажи им весь дом... А они наверняка под разными предлогами будут пытаться осмотреть весь твой курень... Неделю мы побудем в отлучке и снова придем к тебе. Съеденным у тебя куском ты нас не попрекай! За все твое добро, за всю трату на нас тебе будет уплачено с лихвой, как только восторжествует наше дело. Но мы снова должны прийти сюда, потому что восстание я на своем участке буду подымать отсюда, из Гремячего. И час уже близок! — торжественно закончил Половцев и коротко обнял Якова Лукича.— Ступай, старик, помогай тебе бог!

* * *

Как только за Островновым закрылась дверь, Половцев присел к столу, спросил:

— Где вы встречались с этим чекистом? Уверены вы, что не обознались?

Лятьевский подвинул табурет, наклонился к Половцеву и, пожалуй, впервые за все время их знакомства без иронии и гаерства заговорил:

— Езус-Мария! Как я мог обознаться! Да я этого человека буду помнить до конца жизни! Вы видели у него шрам на щеке? Это я его полоснул кинжалом, когда меня забирали. А глаз, вот этот мой левый глаз, он мне выбил на допросе. Вы видели, какие у него кулачищи? Это было четыре года назад, в Краснодаре. Меня выдала женщина, ее нет в живых, слава всевышнему! Я еще сидел во внутренней тюрьме, а вина ее уже была установлена. На второй день после моего бегства она перестала жить. А была очень молодая и красивая, стерва, кубанская казачка, вернее — кубанская сучка. Вот что было... Знаете, как я бежал из тюрьмы? — Лятьевский довольно усмехнулся, потер сухие,

маленькие руки.— Все едино меня бы расстреляли. Мне нечего было терять, и я пошел на отчаянный риск и даже на некоторую подлость... Пока я морочил головы следователям и прикидывался пешкой, они держали меня в строгой изоляции. Тогда я решился на последний шаг к спасению: я выдал на допросе одного казачишку из станицы Кореновской. Он был в нашей организации, и на нем кончалась цепочка: он мог выдать еще только трех своих станичников, больше никого, ни единой души из наших он не знал. Я подумал: «Пусть расстреляют или сошлют этих четырех идиотов, но я спасусь, а одна моя жизнь неизмеримо важнее для организации, чем жизнь этого быдла, этих четырех животных». Должен сказать, что в организации на Кубани я играл немаловажную роль. Можете судить о моем значении в деле по тому, что я с двадцать второго года пять раз переходил границу и пять раз виделся в Париже с Кутеповым. Я выдал этих четырех статистов в деле, но тем самым смягчил следователя: он разрешил мне прогулки во внутреннем дворе вместе с остальными заключенными. Мне нельзя было медлить. Вы понимаете? И вот вечером, прогуливаясь в толпе кубанского хамья, обреченного на гибель, во время первого же круга по двору я увидел, что из двора на сеновал ведет приставная лестница — ее, очевидно, недавно поставили. Было время сенокоса, и гепеушники днем возили сено для своих лошадей. Прошелся я еще раз по кругу, руки, как полагается, назад, а дефилируя в третий раз, я спокойно подошел к лестнице и, не глядя по сторонам, стал медленно, как на арене цирка, подниматься по ступенькам. Руки по-прежнему назади... Я правильно рассчитал, господин Половцев! Психологически правильно. Ошалевшая от моей дикой дерзости охрана дала мне возможность беспрепятственно подняться ступенек на восемь, и только тогда один из них отчаянно заорал: «Стой!» — когда я уже через две ступеньки, пригибаясь, побежал по лестнице вверх и, как козел, прыгнул на крышу. Беспорядочная стрельба, крики, ругань! В два прыжка я был уже на краю крыши, а оттуда — еще прыжок, и я в переулке! Вот и все. А утром я был уже в Майкопе на явочной, надежной квартире... Фамилия этого богатыря, который сделал меня уродом, Хижняк. Вы его сейчас видели, эту каменную скифскую бабу в штанах. Так что вы хотите — чтобы я теперь выпустил его живым из своих рук? Нет, пусть у него закроются оба глаза за мой выбитый им глаз! За око — два ока!

— Вы с ума сошли! — негодующе воскликнул Половцев.— Из чувства личной мести вы хотите провалить все дело?!

— Не беспокойтесь. Убью я Хижняка и его приятеля не здесь, а подстерегу где-нибудь за хутором, подальше от Гремячего Лога. Инсценирую ограбление заготовителей, и — шито-крыто! И деньги у них возьму. Попались на торговле — значит, плохие купцы... Вашу винтовку прячьте, а свою я пронесу под плащом. Не вздумайте меня отговаривать. Слышите? Мое решение бесповоротно! Я выхожу сейчас, вы — попозже. Встретимся в субботу после захода солнца в лесу под Тубянским, у родника, где встречались прошлый раз. До свидания, и, ради бога, не сердитесь на меня, господин Половцев! Мы же здесь дошли до предела в смысле нервишек, и, признаться, я вел себя не всегда достойно.

— Полно вам... Можно и без нежностей в нашем положении,— смущенно пробормотал Половцев, но все же обнял Лятьевского, отечески прижался губами к его покатому бледному лбу.

Лятьевский был растроган этим неожиданным проявлением товарищеского чувства, но, не желая выдавать своей взволнованности, стоя к Половцеву спиной и уже держась за дверную ручку, сказал:

— Я возьму с собой Харитонова Максима с Тубянского. Винтовка у него есть, да и сам он из таких, на которых можно положиться в трудную минуту. Вы не возражаете?

Помедлив, Половцев ответил:

— Харитонов служил в моей сотне вахмистром. Выбор ваш правилен. Берите. Он отличный стрелок, во всяком случае — был таким. Я понимаю ваши чувства. Действуйте, но только ни в коем случае не вблизи Гремячего и не в хуторе, а где-нибудь в степи...

— Слушаюсь. До свидания.

— Желаю удачи.

Лятьевский вышел в сени, накинул на плечи старенький островновский зипун, оглядел сквозь дверную щель безлюдный переулок. Минуту спустя он уже не спеша шагал через двор, прижимая кавалерийский карабин к левому боку, и так же не спеша скрылся за углом сарая. Но как только спрыгнул в яр, тотчас преобразился: надел зипун в рукава, взял карабин на руку, сдвинул предохранитель и пошел по теклине в гору крадущейся, звериной

походкой, зорко посматривая по сторонам, прислушиваясь к каждому шороху, изредка оглядываясь на хутор, тонувший внизу в сиреневой утренней дымке.

* * *

Через два дня, в пятницу утром, на пути между хуторами Тубянским и Войсковым, на дороге, проходившей в шестидесяти метрах от отножины Кленового буерака, были убиты два заготовителя и одна из упряжных лошадей. На второй, обрезав постромки, доскакал до Войскового возница — казак с хутора Тубянского. Он и сообщил в сельсовет о случившемся.

Выехавшие на место происшествия участковый милиционер, председатель сельсовета, возница и понятые установили следующее: бандиты, таясь в лесу, стреляли из винтовок раз десять. Первым выстрелом был убит здоровый, плечистый гуртовщик. Он упал с дрожек лицом вниз. Пуля попала ему прямо в сердце. Коренастый заготовитель дурным голосом крикнул вознице: «Гони!» — и, вырвав у него из руки кнут, замахнулся на правую дышловую, но хлестнуть ее не успел: второй выстрел уложил его на дрожках. Пуля попала ему в голову, повыше левого уха. Лошади понесли. Убитый свалился с дрожек метрах в двадцати от гуртовщика. Последовало еще несколько выстрелов сразу из двух винтовок. На скаку, через голову упала срезанная пулей левая дышловая лошадь, сломав дышло, опрокинув накатившиеся на нее дрожки. Возница обрезал постромки на уцелевшей лошади, поскакал во весь мах. Вдогон ему несколько раз выстрелили, но скорее не с целью убить, а для острастки, так как пули, по словам возницы, свистели высоко над ним.

У обоих убитых были вывернуты карманы. Документов в одежде не оказалось. Пустой портфель заготовителя валялся в придорожной траве. У гуртовщика, которого бандиты, обыскивая, перевернули на спину, ударом каблука, судя по отпечатку на коже, был выбит левый глаз.

Председатель сельсовета бывалый казак, сломавший две войны, сказал милиционеру:

— Ты погляди, Лука Назарыч, ведь уже над мертвым смывался какой-то гад! Дорогу он ему перешел, что ли? Или бабу не поделили? Простые разбойнички так не зверуют...— и, стараясь не глядеть на багровую пустую глазницу

убитого, на расползшуюся по щеке кровяно-студенистую, уже застывшую массу, накрыл лицо убитого своим носовым платком, выпрямился, вздохнул: — Отчаянный народ пошел! Не иначе — выследили купцов лихие люди и деньжонок цапнули у них, видно, не одну тыщонку... Проклятый народ! Из-за денег каких орлов поклали...

В тот день, когда слух о гибели Хижняка и Бойко-Глухова дошел до Гремячего, Нагульнов, оставшись наедине с Давыдовым в правлении колхоза, спросил:

— Ты понимаешь, Семен, куда дело оборачивается?

— Не хуже тебя понимаю. Половцев руки приложил или его подручные, факт!

— Это само собою. Я одного не пойму: как их могли раскусить, кто они такие, вот в чем вопрос! И кто это мог проделать?

— Этого вопроса мы с тобой не решим. Эта задача на уравнение с двумя неизвестными, а мы с тобой в арифметике и алгебре не сильны. Согласен?

Нагульнов долго сидел молча, положив ногу на ногу, глядя на носок пыльного сапога отсутствующими глазами, потом сказал:

— Одно неизвестное мне известно...

— Что же именно?

— А то, что волк вблизи своего логова овец не режет...

— Ну, и что из этого?

— А то, что издали, их достали не с Тубянского и не с Войскового, это точно!

— Из Шахт или из Ростова, думаешь?

— Не обязательно. А может, из нашего хутора, почем ты знаешь?

— И это может быть,— подумав, сказал Давыдов.— Что же ты предлагаешь, Макар?

— Чтобы коммунисты глаза разули. Чтобы поменьше спали по ночам и потихонечку, потаенно, похаживали по хутору, востро глядели. Может, и не минует нас удача повстречать в хуторе либо за хутором того же Половцева или ишо кого-нибудь из подозрительных незнакомцев. Волки по ночам промышляют...

— Это ты нас к волкам приравниваешь? — еле заметно улыбнулся Давыдов.

Но Нагульнов не ответил улыбкой на улыбку, сдвинув разлатые брови, сказал:

— Они — волки, а мы — на волков охотники. Понимать надо!

— Не надо сердиться. Согласен с тобой, факт! Давай сейчас же соберем всех коммунистов.

— Не зараз, а попозже, когда люди спать лягут.

— И это правильно,— согласился Давыдов.— Но только надо не патрулировать по хутору, а то ведь сразу насторожим казаков, а сидеть в засадах.

— Где же это сидеть? Где придется? Пустая затея! Легко было мне Тимошку караулить: окромя Лушки, ему некуда было податься, иного путя у него не было. А этих где ждать? Свет велик, и дворов в хуторе много, возле каждого не просидишь.

— А возле каждого и незачем.

— А по какому выбору?

— Узнаем, у кого заготовители покупали скот, и вот именно эти-то дворы и возьмем под наблюдение. Убитые наши товарищи по большей части возле подозрительных граждан вертелись, у них покупали скот... К кому-нибудь из них и потянутся бандиты... Понятно?

— Идейный ты человек! — убежденно сказал Нагульнов.— Очень толковые идеи иной раз приходят тебе в голову!

## ГЛАВА XXVII

Половцев и Лятьевский снова поселились в горнице Островнова и жили в ней уже четвертый день. Они пришли на рассвете, через полчаса после того, как Размётнов, наблюдавший за домом Островнова из соседнего сада, зевнув в последний раз, поднялся и тихонько пошел домой, рассуждая про себя: «Выдумает же этот Семен чертовщину! Какой день уже гнемся по чужим забазьям, как конокрады или простые ворюги, хоронимся, не спим по всем ночам, а все без толку! Где они, эти бандиты? Караулим свою собственную тень... Надо поспешать, а то какая-нибудь позаранняя баба встанет корову доить, увидит меня, и пойдет по хутору, как волна по речке: «Размётнова заря выкинула! Какая же это лихая баба так его приспала, пригрела, что он только на рассвете очухался?» Ну, и пойдут трепать языками, авторитету мне подбавлять... Надо кончать с этим делом! Пущай ГПУ бандитов ловит, а нам нечего чекистские должностя́ себе присваивать. Вот я пролежал ночь в саду, глядел так, что глаза чуть на лоб не вылазили,— а днем какой же из меня будет работник?

Спать за столом в сельсовете? Глядеть на людей красными глазами? Опять же скажут: «Прогулял, чертяка, всю ночь, а теперь зевает, как кобель на завалинке!» Опять же полный подрыв авторитета...»

Мучимый сомнениями, усталый после бессонной ночи, почти убежденный в никчемности затеянной слежки, Размётнов, крадучись, вошел во двор — и на пороге в хату столкнулся с выходившей из сеней матерью.

— Это я, маманя,— смущенно сказал Андрей, норовя прошмыгнуть в сени.

Но старуха загородила ему дорогу, сурово заметила:

— Вижу, что ты, не слепая... А не пора ли тебе, Андрюшка, кончать гулянки, кончать таскаться по всем ночам? Не молоденький, свое давно отжениховал, не пора ли и матерю, да и людей постыдиться? Женись и дай себе прикорот, хватит!

— Зараз жениться или подождать, пока со́лнце взойдет? — зло спросил Андрей.

— Нехай солнце трижды взойдет и сядет, а на четвертые сутки женись, я тебя не тороплю,— отводя недобрую шутку, вполне серьезно ответила мать.— Пожалей ты мою старость! Тяжело же мне при моих старушечьих хворостях и корову доить и стряпаться и обстирывать тéбя, и огород управлять, и все по хозяйству делать... Как ты этого не поймешь, сынок? Ты же в хозяйстве и пальцем о палец не ударишь! Какой ты мне помощник! Воды и то не принесешь. Поел и пошел на службу, как какой-нибудь квартирант, как чужой в доме человек... Одни голуби тебя заботят, как малый парнишка, возишься с ними. Да разве это мужчинское дело? Постыдился бы людей — тешишься детской забавой! Ежели бы Нюрка мне не помогала, я давно бы уж в лежку слегла! Али тебе повылазило, и ты не видишь, что она, моя милушка, каждый божий день бегает к нам, то одно сделает, то другое, то корову подоит, то огород прополет и польет, то ишо чем-нибудь пособит? Уж такая ласка́вая да хорошая девка, что по всей станице поискать! Заглядает тебе в глаза, а ты и не видишь, ослеп от гулянок! Ну, где тебя нелегкая носила? Ты погляди на себя: в орепьях весь, как кобелишка поблудный! Нагни голову, горюшко ты мое неизживное! И где уж тебя так катали, мучили?..

Старуха положила руку на плечо сына, слегка нажала на него, заставляя согнуться, а когда Андрей склонил голову — с трудом вытащила из его поседевшего чуба комок прошлогодних репьев, въедливых по цепкости.

Андрей выпрямился, усмехнулся, прямо глядя в брезгливо сморщившееся лицо матери.

— Не думайте обо мне худого, маманя! Не потеха, а нужда заставила в орепьях валяться. Пока это вам ишо непонятное дело, потом поймете, когда придет время узнать вам. А что касаемо женитьбы, то срок ваш — трое суток — дюже большой: завтра же приведу вам Нюрку в дом. Только глядите сами, маманя, вы ее выбрали себе в снохи — вы с ней и ладьте, чтобы у вас промеж себя скандалов не было. А я уживусь хоть с тремя бабами под одной крышей, вы же знаете, я покладистый, пока меня не трогают... А зараз пропустите меня, пойду усну хоть часок перед работой.

Старуха, крестясь, посторонилась.

— Ну, слава богу, что вразумил тебя господь пожалеть мою старость. Иди, мой родной, иди, мой сынушка, поспи, а я тебе к завтраку блинцов нажарю. Я и каймаку тебе трошки собрала. И не знаю, чем и как тебе угодить за такую радость!

Андрей уже плотно притворил за собою дверь, а старуха так тихо, словно он еще стоял рядом с ней, сказала:

— Ты ведь у меня один на всем белом свете! — и заплакала.

В разных концах хутора в одно и то же время, на заре, ложились спать Андрей Размётнов, Давыдов, просидевший ночь под сараем во дворе Атаманчукова, Нагульнов, неусыпно наблюдавший за подворьем Банника, и благополучно проскользнувшие в островновский курень Половцев и Лятьевский.

Наверно, в тихое, слегка туманное летнее утро разные сны снились всем этим таким разным по убеждениям и характерам людям, но уснули все они в один и тот же час...

Быстрее всех из них проснулся Андрей Размётнов. Он досиза выбрил щеки, помыл голову, надел чистую рубаху, суконные штаны, доставшиеся ему на правах прямого наследства от покойного мужа Марины Поярковой, долго плевал на сапоги, а потом тщательно начистил их суконкой — отрезком от полы старой шинели. Собирался он продуманно, без лишней спешки.

Мать догадалась, к чему эти сборы, однако ничего не спросила, боясь спугнуть неосторожным словом торжественное настроение сына. Она лишь изредка поглядывала на него да больше обычного суетилась возле печи. Позавтракали они молча.

— Раньше вечера меня не ждите, маманя,— официальным тоном предупредил Размётнов.

— Помогай тебе бог! — пожелала мать.

— Он поможет, жди...— скептически отозвался Размётнов.

По-деловому, не так, как Давыдов, всего лишь за десять минут провел он и сватовство. Но, войдя в хату Нюркиных родителей, все же отдал дань приличиям: минуты две посидел, молча покуривая, потом обменялся с отцом Нюрки несколькими фразами о видах на урожай, о погоде — и сейчас же, как о чем-то давно решенном, заявил:

— Завтра у вас Нюрку забираю.

По-своему не лишенный остроумия, родитель невесты спросил:

— Куда? Дежурить рассыльной в сельсовет?

— Хуже. В жены себе.

— Это как она скажет...

Размётнов повернулся к полыхающей румянцем невесте,— даже тени улыбки не было на его обычно смешливых губах,— спросил:

— Согласна?

— Я десять лет согласна,— решительно ответила девушка, не сводя с Андрея смелых, круглых и влюбленных глаз.

— Вот и весь разговор,— удовлетворенно проговорил Размётнов.

Соблюдая старые обычаи, родители хотели было поломаться, но Андрей, еще раз закурив, решительно пресек их попытки:

— Я из вас ни приданого, ничего не выбиваю, а из меня что вы сумеете выбить? Табачный дым. Собирайте девку. Нынче поедем в станицу, зарегистрируемся, нынче же вернемся, а завтра справим свадьбу, вот так!

— И что уж это так тебе загорелось? — с досадой спросила мать невесты.

Но Размётнов холодно посмотрел на нее, ответил:

— Мое отгорело двенадцать лет назад, отгорело и пеплом взялось... А поспешаю затем, что уборка к хрипу подпирает и дома, сами знаете, старуха моя в отставку, по чистой, уходит. Стало быть, договоримся так: водку я привезу из станицы — не более десяти литров. По водке и закуску готовьте и гостей зовите. С моей стороны будут трое: мать, Давыдов и Шалый.

— А Нагульнов? — поинтересовался хозяин.

— Он захворал,— слукавил Андрей, глубочайше убежденный в том, что Макар ни за что не явится на свадьбу.

— Баранчика резать, Андрей Степаныч?

— Дело хозяйское, только гулять шибко не будем, мне нельзя: с должности вытряхнут и выговор по партийной линии могут влепить такой горячий, что буду год дуть на пальцы, какие рюмку держали.— И повернулся к невесте, лихо подмигнул, а улыбнулся не очень щедро: — Через полчаса приеду, а ты тем часом, Нюра, принарядись как следует. За председателя сельсовета выходишь, а не абы за кого-нибудь!

* * *

Грустная это была свадьба, без песен, без пляски, без присущих казачьим свадьбам веселых шуток и пожеланий молодым, иногда развязаных, а иной раз и просто непристойных... А всему тон задал Размётнов: был он несоответственно случаю серьезен, сдержан, трезв. В разговорах участия почти не принимал, все больше отмалчивался, и, когда слегка подпившие гости изредка кричали «горько», он словно бы по принуждению поворачивал к своей румяной жене голову, словно бы нехотя целовал ее холодными губами, а глаза его, всегда такие живые, теперь смотрели не на молодую, не на гостей, а куда-то вдаль, как бы в далекое, очень далекое и печальное прошлое.

## ГЛАВА XXVIII

А жизнь шла в Гремячем Логу и над ним все той же извечно величавой, неспешной поступью: все так же плыли над хутором порою белые, тронутые изморозной белизною облака, иногда их цвет и оттенки менялись, переходя от густо-синего, грозового, до бесцветия; иногда, горя тускло или ярко на закате солнца, они предвещали ветер на будущий день, и тогда всюду во дворах Гремячего Лога женщины и дети слышали от хозяев дома или тех, кто собирался ими стать, спокойные, непререкаемые в своей тоже извечной убедительности короткие фразы: «Ну, куда же в такой ветер копнить либо на воза класть?» Кто-то из сидевших рядом — либо семейных по старшинству, либо соседей,— помедлив, отзывался: «И не моги! Разнесет! И начинался в такую пору жестокого восточного ветра наверху и вынужденного безделья людей внизу — во всех трехстах

дворах хутора один и тот же рассказ о некоем давно почившем хуторянине Иване Ивановиче Дегтяреве, который когда-то давным-давно, в восточный ветер затеялся возить с поля на гумно хлеб и, видя, что с возов ветер несет вязанками, копнами спелую пшеницу, отчаявшись бороться со стихией, поднял на вилах-тройчатках огромное беремя пшеницы и, глядя на восток, адресуясь к ветру, в ярости заорал: «Ну, неси и эту, раз ты такой сильный! Неси, будь ты проклят!» — и, перевернув арбу с наложенной по наклецки пшеницей, нещадно ругаясь, порожняком поехал домой.

Жизнь шла в Гремячем Логу, не ускоряя своей медлительной поступи, но каждый день и каждая ночь приносили в один из трехсот домов хутора свои большие и малые радости, печали, волнения, не сразу гаснущее горе... В понедельник на заре умер на выгоне давнишний хуторской пастух дед Агей. Побежал завернуть и подогнать к табуну молодую, шалую первотелку-корову, но недолго бежал старческой трусцой, как вдруг остановился, прижимая к сердцу кнут, с минуту покачался, переступая на месте гнущимися ногами, а потом, шатаясь, как пьяный, уронив из рук кнут, пошел медленно и неуверенно назад. К нему подбежала прогонявшая корову сноха Бесхлебнова, схватила холодеющие старческие руки и, еле переводя дыхание, жарко дыша в стекленеющие глаза старика, спросила:

— Дедушка, миленький, тебе плохо?! — и уже в голос крикнула: — Дародненький мой! Чем же я тебе помогу?!

Коснеющим языком дед Агей произнес:

— Касатушка моя, ты не пужайся... Поддержи меня под руку, а то я упаду...

И упал — сначала на правое колено, а потом завалился на бок. И умер. Только и всего. А в обеденное время, почти в один час родили две молодые колхозницы. У одной были очень трудные роды. Давыдову пришлось срочно посылать в Войсковой за участковым фельдшером первую попавшуюся под руку подводу. Он только что вернулся из осиротевшего дома деда Агея, попрощавшись с покойником, и сейчас же явился в правление к нему молодой колхозник Михей Кузнецов. Бледный, взволнованный, он с порога начал:

— Дорогой товарищ Давыдов, ради Христа, выручай! Баба вторые сутки мучается, никак не разродится. А ведь у меня, окромя нее, двое детей, да и ее до смерти жалко. Помоги лошадьми, надо фельдшера, что-то наши бабки ей никак не помогут...

— Пошли! — сказал Давыдов и вышел во двор.

Дед Щукарь уехал в степь за сеном. Все лошади были в разгоне.

— Пойдем к твоему дому, первую же, какую встретим, подводу направим в Войсковой. Ты иди к жене, а я любую перехвачу на подъезде и пошлю.

Давыдов великолепно знал, что не пристало мужчине быть вблизи от места, где рожает женщина, но он ходил возле низкого плетня хатенки Кузнецова широкими шагами, озирая из конца в конец пустую улицу, слышал глухие стоны и протяжные вскрики женщины и сам сдержанно мычал от боли за чужое ему материнское страдание и вполголоса ругался самыми последними матросскими ругательствами. А когда увидел неторопливо едущего по улице бригадного водовоза — шестнадцатилетнего паренька Андрея Акимова,— бегом, как мальчишка, бросился ему наперерез, не без усилия столкнул с дрог полную бочку воды, задыхаясь, выговорил:

— Вот что, парень, тут бабе трудно. Лошади у тебя добрые, гони вовсю в Войсковой и вези мне фельдшера, живого или мертвого! Загонишь лошадей — я отвечаю, факт!

И в полуденной, застойной тишине снова прозвучал и коротко оборвался крик, приглушенный и низкий, смертно мучающейся женщины. Давыдов пристально посмотрел в глаза паренька, спросил:

— Слышишь? Ну и гони!

Став на дроги во весь рост, парень по-взрослому, накоротке взглянул на Давыдова.

— Дядя Семен, я все понимаю и за лошадей не беспокойтесь!

Лошади рванули с места намётом, парень стоя молодецки посвистывал и удальски помахивал кнутом, а Давыдов, посмотрев на всклубившуюся под колесами пыль, безнадежно махнув рукой, пошел в правление колхоза. На ходу он еще раз услышал диковатый женский вскрик, поморщился, как от острой боли, и, лишь пройдя два квартала, с досадой пробормотал:

— Тоже мне, затеется родить, и то как следует не умеет, факт!

Не успел он в правлении разобраться с тем, что называют текущими делами, как пришел молодой и смущенный парень, сын старого колхозника Абрамова, переминаясь с ноги на ногу, стеснительно заговорил:

— Товарищ Давыдов, у нас нынче свадьба, приглашаем вас всем семейством. Неловко будет, если вас за столом не хватит.

И тут Давыдова прорвало — он вскочил из-за стола, воскликнул:

— Да вы что, одурели в хуторе?! В один день помирать, родить и жениться! Сговорились вы, что ли?! — И, усмехнувшись внутренне над своей горячностью, уже спокойно спросил: — И какого черта ты спешишь? Ну, вот осенью бы и женился. Осенью самое время свадьбы справлять.

Словно стоя на горячем, парень сказал:

— Дело не указывает до осени ждать.

— Какое дело?

— Ну, вы сами должны понимать, товарищ Давыдов...

— Ага, вот как... О деле, сынок, всегда надо думать заранее,— назидательно заметил Давыдов. И тут же улыбнулся, подумав: «Не мне бы ему говорить, и не ему бы слушать». Внушительно помолчав некоторое время, Давыдов добавил: — Ну что ж, иди, вечером зайдем на минутку, зайдем все. Ты Нагульнову и Размётнову говорил?

— Я уже приглашал их.

— Ну вот и зайдем все трое, посидим часок. Пить нам много не положено, не то сейчас время, так что вы там не обижайтесь. Ну, ступай, желаю счастья. Хотя — желать его будем вам, когда придем... А она у тебя очень толстая?

— Не так чтобы, но видно...

— Ну когда видно, оно всегда лучше,— снова несколько назидательным тоном заметил Давыдов и опять улыбнулся, уловив фальшивинку в этом разговоре.

А когда через час Давыдов подписывал сводку, как раз в это время явился счастливый отец Михей Кузнецов и, с ходу обняв Давыдова, растроганной скороговоркой зачастил:

— Спаси Христос тебе, наш председатель! Привез Андрюшка фельдшера — и как раз вовремя: баба чуть не померла, а зараз с его помощью отгрохала мне такого сына, ну как телок, на руках не удержишь. Фельдшер говорит: дескать, не так шел. А по мне, так или не так, а парень-то в семье есть! Кумом будешь, товарищ Давыдов!

Поглаживая рукой лоб, Давыдов сказал:

— Кумом буду, страшно рад, что у твоей жены все благополучно кончилось. Там, что надо по хозяйству, обратись завтра к Островнову, будет ему дан приказ, факт. А что касается того, что парень не так шел,— это не беда:

учти, что парни редко ходят так, настоящие парни...— И на этот раз даже не улыбнулся, не почувствовал своего назидательного тона, над которым только что усмехался.

Что ж, видно сентиментален стал матрос, если чужая радость и счастливый исход материнских мук заставили его прослезиться. А почувствовав слезы на глазах, он прикрыл глаза широкой ладонью, грубовато закончил:

— Ты ступай, тебя жена ждет. Если что понадобится, приходи, а пока ступай, мне некогда, тут, понимаешь, мне и без тебя дел хватает.

В этот день, уже к вечеру, произошло немалое для Гремячего Лога и почти никем не замеченное чрезвычайное происшествие: часов в семь к дому Островнова подкатили щеголеватые дрожки. Несла их пара добрых лошадей. У калитки сошел с них невысокий человек в парусиновом кителе и таких же брюках. Со старческой щеголеватостью отряхнув отвороты пропыленных брюк, он по-молодому весело поднялся на крыльцо островновского куреня, уверенно вошел в сени, где его уже ожидал встревоженный новым визитом Яков Лукич. Коротко блеснув черноватыми, прокуренными зубами, он маленькой сухою рукой крепко сжал локоть Якова Лукича, спросил, приветливо улыбаясь:

— Александр Анисимович у себя? По виду узнаю, что ты — хозяин. Яков Лукич?

И, видя по выправке, по стати, чуя чутьем служилого человека в приезжем высокое начальство, Яков Лукич послушно щелкнул каблуками стоптанных чириков, оторопело ответил:

— Ваше высокоблагородие! Это вы? Боже ж мой, как вас ждут!

— Проведи!

С расторопностью, которая так была ему несвойственна по природе, Яков Лукич услужливо распахнул дверь в горницу, где жили Половцев и Лятьевский.

— Александр Анисимович, извиняйте, что не доложился, а к нам — дорогие гости!

Приезжий шагнул в раскрытую дверь, широко, театрально раскрыл объятья:

— Здравствуйте, дорогие затворники! Здесь можно говорить в полный голос?

Половцев, сидевший за столом, и Лятьевский, по обыкновению небрежно развалясь, лежавший на кровати, вскочили, как по команде «смирно».

Приезжий обнял Половцева и, только левой рукой прижав к себе Лятьевского, сказал:

— Прошу садиться, господа офицеры. Полковник Седой, тот, кто писал вам приказы. Ныне волею судеб агрономом краевого сельхозуправления. Как видите, прибыл к вам с инспекционной поездкой. Время у меня накоротке. Должен доложить вам обстановку.

Приезжий, пригласив офицеров садиться, по-прежнему улыбаясь, показывая прокуренные зубы, с наигранной дружелюбностью продолжал:

— Бедно живете, даже угостить гостя как будто бы нечем... Но тут речь будет идти не об угощении, я пообедаю в другом месте. Прошу пригласить к столу моего кучера и обеспечить нашу охрану, по крайней мере — наблюдением.

Половцев услужливо метнулся к двери, но в нее уже входил статный и ладный кучер господина полковника. Он протянул Половцеву руку:

— Здравия желаю, господин есаул! По русскому обычаю через порог не здороваются...— И, обращаясь к полковнику, почтительно спросил: — Разрешите присутствовать? Наблюдение мною обеспечено.

Приезжий по-прежнему улыбался Половцеву и Лятьевскому глубоко посаженными серыми глазами:

— Прошу знакомиться, господа офицеры: ротмистр Казанцев. Ну, а хозяев вы, господин Казанцев, знаете. Теперь, господа, к делу. Давайте присядем к вашему холостяцкому столу.

Половцев робко спросил:

— Господин полковник, может быть, разрешите чем-нибудь вас угостить? По-простецки, чем богаты, тем и рады.

Приезжий сухо ответил:

— Благодарю вас, нужды нет. Давайте сразу перейдем к делу, времени у меня — в обрез. Ротмистр, дайте карту.

Ротмистр Казанцев достал из внутреннего грудного кармана пиджака сложенную вчетверо карту-десятиверстку Азово-Черноморского края, развернул ее на столе, и все четверо склонились над нею.

Приезжий, поправив воротник свободно расстегнутого парусинового кителя, вынул из кармана синий карандаш, постукивая им о стол, сказал:

— Фамилия моя, как вы и полагаете, отнюдь не Седой... а Никольский. Полковник генштаба императорской армии. Карта общая, но более подробная карта вам для боевых

операций не нужна. Ваша задача: у вас около двухсот активных штыков или сабель, вам надлежит, перебив местных коммунистов, но отнюдь не ввязываясь в мелкие и затяжные стычки, походным порядком, перерезав по пути связь, идти на совхоз «Красная заря». Там вы сделаете что надо, получите в результате около сорока винтовок с соответствующим боезапасом. И, самое главное, сохранив полностью имеющиеся у вас на вооружении ручные и станковые пулеметы, приобретя в совхозе около тридцати грузовых автомобилей, форсированным маршем двигаться на Миллерово. И еще одно, главное... Видите, сколько главных задач я вам ставлю... Вам необходимо, я приказываю это, господин есаул, застать врасплох и не дать развернуться полку, который дислоцирован в городе Миллерово, разбить его с хода, обезоружить, захватить имеющиеся у него огневые средства и тех красноармейцев из полка, кто пристанет к вам, и вместе, на машинах, двигаться в направлении Ростова. Я вам намечаю задачу только в общих чертах, но от нее зависит многое. Паче чаяния, если ваше продвижение на Миллерово встретит сопротивление, в обход Миллерова двигайтесь на Каменск, вот этим маршрутом.— Синим карандашом полковник вялым движением провел прямую черту на карте.— В Каменске я встречу вас со своим отрядом, господин есаул.

Помолчав, он добавил:

— С севера вас, возможно, будет поддерживать подполковник Савватеев. Но вы на это не очень надейтесь и действуйте сами. От успеха вашей операции, поймите это, очень многое зависит. Я говорю о разоружении полка в Миллерове и об использовании его огневых средств. Как-никак у них — батарея, а это нам во многом бы помогло. А затем от Каменска мы завязали бы бои за Ростов, полагая, что нам придут на помощь наши силы с Кубани и Терека, а там — помощь союзников, и мы уже властвуем на юге. Прошу учесть, господа офицеры, что продуманная нами операция рискованна, но у нас нет иного выхода! Если мы не используем возможности, которые дает нам история в тысяча девятьсот тридцатом году, то тогда прощайтесь с империей и переходите на мелкие террористические акты... Вот и все, что я имею вам сказать. Короткое слово за вами, есаул Половцев. Учтите одно обстоятельство: что мне надо еще заехать в сельсовет, отметить мою командировку и ехать в район. Я, так сказать, лицо официальное, агроном сельхозуправления, поэтому покороче — ваши соображения.

Не глядя на полковника, Половцев глухо проговорил:

— Господин полковник, вы ставите передо мной общую задачу, никак ее не конкретизируя. Совхоз я возьму, но я полагал, что мы после этого пойдем подымать казаков, а вы меня посылаете ввязываться в бой с кадровым полком Красной Армии. Не кажется ли вам, что это невыполнимая задача при моих возможностях и силах? А если даже один батальон на пути моего следования выйдет мне навстречу... вы же обрекаете меня на верную гибель?!

Полковник Никольский, постукивая костяшками пальцев по столу, усмехнулся:

— Я думаю, напрасно вас произвели в есаулы в свое время. Если вы в трудную минуту колеблетесь и не верите в успех задуманного нами предприятия, то вы ничего не стоите как офицер русской армии! И вы не подумайте мудрить и строить ваши самостийные планы! Как прикажете воспринять ваши слова? Будете вы действовать или вас надо убирать?

Половцев встал. Склонив лобастую голову, он тихо ответил:

— Есть действовать, господин полковник. Но только... Но только за неуспех операции будете отвечать вы, а не я!

— Ох, уж об этом не ваша забота, господин есаул! — невесело усмехаясь, проговорил полковник Никольский и поднялся.

Тотчас же встал и ротмистр Казанцев.

Обнимая Половцева, Никольский сказал:

— Мужество и еще раз мужество! Вот чего не хватает офицерскому корпусу доброй старой императорской армии! Засиделись вы, будучи в учителях средних школ, в агрономах. А традиции? Славные традиции русской армии, вы про них забыли? Но ничего. Вы только начните по приказу тех, кто думает за вас, а там... А там — аппетит приходит во время еды! Надеюсь видеть вас, господин есаул, еще генерал-майором — в Новороссийске или, скажем, в Москве. Судя по вашему нелюдимому виду, вы на многое способны! До встречи в Каменске. И последнее: приказ о выступлении, единовременном всюду, где есть наши точки сопротивления, будет дан особо, вы это понимаете. До свидания, до встречи в Каменске!

Холодно обнявшись с приезжавшими, распахнув двери горницы и встретив взгляд трепетно стоявшего в сенях Якова Лукича, Половцев не сел, а упал на койку. Спустя

немного спросил у прижавшегося спиной к окну Лятьевского:

— Видали вы такого жука?

А Лятьевский презрительно махнул рукой:

— Езус-Мария, а чего вы хотели от этого русского воинства?! Вы спросите у меня, господин Половцев: за каким только чертом я с вами связался?!

И еще одно трагическое происшествие случилось в этот день: в колодце утонул козел Трофим. Будучи непостоянным по характеру, шляясь по хутору все ночи напролет, он, очевидно, нарвался ночью на стаю гулящих собак, и те, ринувшись за ним в погоню, принудили его прыгнуть через колодец, находившийся возле правления колхоза. Створка, прикрывавшая устье колодца, по стариковской небрежности деда Щукаря была не прикрыта с вечера, старый козел, напуганный собаками, их злой погоней, прыгнул через колодец и — видно, скользнули старые копыта — сорвался вниз и утонул.

Вечером дед Щукарь вернулся с возом сена, захотел напоить своих жеребцов и, пытаясь зачерпнуть воды, почувствовал, что ведро ткнулось во что-то мягкое. Все его попытки набрать воды, как он ни старался водить из стороны в сторону веревкой, привязывавшей ведро, закончились неудачей. Тогда старик, озаренный страшной догадкой, сиротливыми глазами оглядел двор в надежде увидеть где-нибудь на крыше сарая своего извечного недруга, но взгляд его бродил впустую: Трофима нигде не было. Дед Щукарь торопливо пошел на сеновал, затем рысцой пробежал за ворота,— нигде Трофима не было... Тогда Щукарь, заплаканный и жалкий в своем горе, вошел в комнату правления, где сидел Давыдов, опустился на лавку.

— Ну, вот, Сема, жаль моя, дождались мы новой беды: наш Трофим-то, не иначе — утоп в колодезе. Пойдем, добудем «кошку», надо его вытягивать.

— Загоревался? — улыбаясь, спросил Давыдов.— Ты же все время просил, чтобы его зарезали.

— Мало ли что просил! — зло вскричал дед Щукарь.— Не зарезали, и слава богу! А теперь как мне без него жить? Он меня каждый божий день под страхом держал, я с кнутом с зари до вечера не расставался, держа от него оборону, а теперь какая моя будет жизня? Одна гольная скука! Теперь хучь самому в колодезь кидайся вниз головою... Какая у нас с ним была дружба? Да никакой! На одни баталии мы с ним сходились. Бывалоча, поймаю его, про-

клятого, держу за рога, говорю: «Трофим, таковский сын, ты ить уж не молодой козел, откуда же у тебя столько злобы? Откуда в тебе столько удали, что ты мне ни один секунд спуску не даешь? Так и караулишь меня, чтобы поддать сзаду или откуда-нибудь сбоку. А ить ты пойми, что я хворый человек и должен ты ко мне какое-то восчувствие иметь...» А он смотрит на меня стоячим зраком, и ничего человеческого в его глазах не видно. Никакого восчувствия в его глазах я не вижу. Потяну его через спину кнутом и говорю ему вослед: «Беги, будь ты трижды проклят, старый паскудник! С тобой ни до чего путного не договоришься!» А он, вражий сын, кинет задом, отбежит шагов на десять, начинает щипать траву от нечего делать, как будто он, проклятый, голодный! А сам косит на меня своими стоячими глазами и, должно быть, опять же норовит подстеречь меня. Потеха, а не жизня была у нас с ним! Потому что договориться с таким глупым идиотом, а попростому — с дураком, мне было никак невозможно! А вот зараз утоп, и мне его жалко, и жизня моя вовсе обнищала...— Дед Щукарь жалостно всхлипнул и вытер рукавом грязной ситцевой рубахи прослезившийся глаз.

Добыв в соседнем дворе «кошку», Давыдов и Щукарь извлекли из колодца уже несколько размокшего Трофима. Давыдов, отворачивая от Щукаря лицо, спросил:

— Ну, а теперь что будем делать?

Дед Щукарь, по-прежнему всхлипывая и вытирая слезящийся глаз, ответил:

— Ты иди, Семушка, справляй свои государственные дела, а я его сам похороню. Это не твое молодое дело, это — дело стариковское. Я его зарою, лиходея, чин по чину, посижу, поплачу над его погибелью... Спаси Христос, что помог его вытянуть, один бы я не управился: в нем же, в рогатом мерине, не меньше трех пудов будет. Он же разъелся на даровых харчах, потому и утоп, дурак, а будь он полегче — перескочил бы через колодезь, как миленький! Не иначе — разжелудили его эти собаки так, что он без ума летел через этот колодезь. Да и какого ума с него было, со старого дурака, требовать? А ты мне, Семушка, жаль моя, боль моя, дай на четвертинку водки, я его помяну вечером на сеновале. Домой, к старухе, мне идти ни к чему: приду, а что от этого толку? Одно расстройство всех нервных систем. И опять баталия? А мне это в моих годах вовсе ни к чему. А так я потихонечку выпью, помяну покойника, напою жеребцов и усну, факт.

Давыдов, всеми силами пытаясь сдержать улыбку, вручил Щукарю десятку, обнял его узенькие плечи.

— А ты, дед, по нем не очень горюй. На худой конец мы тебе нового козла купим.

Горестно покачивая головой, дед Щукарь ответил:

— Такого козла ни за какие деньги не купишь, не было и нет таких козлов на белом свете! А мое горе при мне останется,— и пошел за лопатой, сгорбленный, жалкий, трогательно смешной в своем искреннем горе.

На этом и кончился исполненный больших и малых событий день в Гремячем Логу.

## ГЛАВА XXIX

Поужинав, Давыдов прошел к себе в горницу и только что присел к столу просмотреть недавно принесенные ему с почты газеты, как услышал тихий стук в переплет оконной рамы. Давыдов приоткрыл окно. Нагульнов, поставив ногу на завалинку, приглушенно сказал:

— Собирайся в дело! А ну-ка, пусти, я пролезу к тебе, расскажу...

Смугловатое лицо его было бледно, собранно. Он легко перекинул ногу через подоконник, с ходу присел на табурет и стукнул кулаком по колену.

— Ну вот, я тебя упреждал, Семен, по-нашему и вышло! Доглядел я все-таки одного: пролежал битых два часа возле островновского куреня, гляжу — идет невысокенький, идет сторожко, прислушивается, стало быть, кто-то из них, из этих самых субчиков... Припоздал я в секрет, уже дюже стемнело. Припозднился я, в поле ездил. А может, до него ишо один прошел? Короче — пойдем, прихватим по пути Размётнова, ждать тут нечего. Мы их возьмем там, у Лукича, свеженьких! А нет — так хоть этого одного заберем.

Давыдов сунул руку под подушку постели, достал пистолет.

— А как будем брать? Давай тут обговорим.

Нагульнов, закуривая, чуть приметно улыбнулся:

— Дело мне по прошлому знакомое. Так вот, слушай: тот невысокенький стукнул не в дверь, а вот так, как я тебе, в окно. Горенка у Якова Лукича в курене есть, с одной окошкой во двор. Вот этот бандюга — в зипуне он или в плащишке, не разобрал в потемках,— постучал в окно;

кто-то, то ли Лукич, то ли сынок его Семен, чуть приоткрыл дверь, и он прошел в хату. А когда подымался по порожкам — раз оглянулся, и когда входил в дверь — второй раз глянул назад. Я-то, лежа за плетнем, видал все это. Учти, Семен, так добрые люди не ходят, с такой волчьей опаской! Предлагаю такой план захвата: мы с тобой постучимся, а Андрей ляжет со двора возле окна. Кто нам откроет — будем видать, но дверь в горницу я помню, она первая направо, как войдешь в сенцы. Гляди, будет она запертая, придется с ходу вышибать ее. Мы двое входим, и ежели какой сигнет в окно на уход — Андрей его стукнет. Заберем этих ночных гостей живьем, очень даже просто! Я буду вышибать дверь, ты будешь стоять чуть сзади меня, и ежели что, какая заминка выйдет,— бей на звук и из горницы без дальнейших разговоров!

Макар посмотрел в глаза Давыдова чуть прищуренными глазами, снова еле приметная усмешка тронула его твердые губы:

— Ты эту игрушку в руках нянчишь, а ты обойму проверь и патрон в ствол зашли тут, на месте. Шагать отсюда будем через окно, ставню прикроем.

Нагульнов оправил ремень на гимнастерке, бросил на пол цигарку, посмотрел на носки пыльных сапог, на измазанные в пыли голенища, опять усмехнулся:

— Из-за каких-то гадов поганых весь вывалялся в пыли, как щенок: лежать же пришлось плашмя и по-всякому, ждать дорогих гостей... Вот один и явился... Но такая у меня думка, что их там двое или трое, не больше. Не взвод же их там?

Давыдов передернул затвор и, заслав в ствол патрон, сунул пистолет в карман пиджака, сказал:

— Что-то ты, Макар, сегодня веселый? Сидишь у меня пять минут, а уже три раза улыбнулся...

— На веселое дело идем, Сема, того и посмеиваюсь.

Они вылезли в окно, прикрыли створки его и ставню, постояли. Ночь была теплая, от речки низом шла прохлада, хутор спал, кончились мирные дневные заботы. Где-то мыкнул телок, где-то в конце хутора взлаяли собаки, по соседству, потеряв счет часам, не ко времени прокричал одуревший спросонок петух. Не обмолвившись ни одним словом, Макар и Давыдов подошли к хате Размётнова. Макар согнутым указательным пальцем почти неслышно постучал в створку окна и, когда, выждав немного, увидел

в сумеречном свете лицо Андрея, призывно махнул рукой, показал наган.

Давыдов услышал голос из хаты, сдержанный, серьезный:

— Понял тебя. Выхожу быстро.

Размётнов почти тотчас же появился на крылечке хаты. Прикрывая за собой дверь, с досадою проговорил:

— И все-то тебе надо, Нюра! Ну, зовут в сельсовет по делу. Не на игрища же зовут? Ну и спи, и не вздыхай, скоро явлюсь.

Втроем они стали, тесно сблизившись. Размётнов обрадованно спросил:

— Неужто налапали?

Нагульнов приглушенным шепотом рассказал ему о случившемся.

...Втроем они молча вошли во двор Якова Лукича. Размётнов лег под теплый фундамент, прижавшись к нему спиной. Ствол нагана он осторожно уложил на колено... Он не хотел лишнего напряжения в кисти правой руки.

Нагульнов первый поднялся по ступенькам крыльца, подошел к двери, звякнул щеколдой.

Было очень тихо во дворе и в доме Островнова. Но недобрая эта тишина длилась не так уж долго,— из сеней отозвался неожиданно громко прозвучавший голос Якова Лукича:

— И кого это нелегкая носит по ночам?

Нагульнов ответил:

— Лукич, извиняй меня, что бужу тебя в позднюю пору, дело есть, ехать нам с тобой в совхоз зараз надо. Неотложная нужда!

Была минутная заминка и молчание.

Нагульнов уже нетерпеливо потребовал:

— Ну, что же ты? Открывай дверь!

— Дорогой товарищ Нагульнов, поздний гостечек, тут в потемках... Наши задвижки... не сразу разберешься, проходите.

Изнутри щелкнул железный добротный засов, плотная дверь чуть приоткрылась.

С огромной силой Нагульнов толкнул левым плечом дверь, отбросил Якова Лукича к стене и широко шагнул в сенцы, кинув через плечо Давыдову:

— Стукни его в случае чего!

В ноздри Нагульнову ударил теплый запах жилья и свежих хмелин. Но некогда было ему разбираться в запа-

хах и ощущениях. Держа в правой руке наган, он левой быстро нащупал створку двери в горенку, ударом ноги вышиб эту запертую на легкую задвижку дверь.

— А ну, кто тут, стрелять буду!

Но выстрелить не успел: следом за его окриком возле порога грянул плескучий взрыв ручной гранаты, и, страшный в ночной тишине, загремел рокот ручного пулемета. А затем — звон выбитой оконной рамы, одинокий выстрел во дворе, чей-то вскрик...

Сраженный, изуродованный осколками гранаты, Нагульнов умер мгновенно, а ринувшийся в горницу Давыдов, все же успевший два раза выстрелить в темноту, попал под пулеметную очередь.

Теряя сознание, он падал на спину, мучительно запрокинув голову, зажав в левой руке шероховатую щепку, отколотую от дверной притолоки пулей.

* * *

Ох, и трудно же уходила жизнь из широкой груди Давыдова, наискось, навылет простреленной в четырех местах... С тех пор как ночью друзья молча, спотыкаясь в потемках, но всеми силами стараясь не тряхнуть раненого, на руках перенесли его домой, к нему еще ни разу не вернулось сознание, а шел уже шестнадцатый час его тяжкой борьбы со смертью...

На рассвете на взмыленных лошадях приехал районный врач-хирург, молодой, не по возрасту серьезный человек. Он пробыл в горнице, где лежал Давыдов, не больше десяти минут, и за это время напряженно молчавшие в кухне коммунисты гремяченской партячейки и многие любившие Давыдова беспартийные колхозники только раз услышали донесшийся из горницы глухой и задавленный, как во сне, стон Давыдова. Врач вышел на кухню, вытирая полотенцем руки, с подобранными рукавами, бледный, но внешне спокойный, на молчаливый вопрос друзей Давыдова ответил:

— Безнадежен. Моя помощь не требуется. Но удивительно живуч! Не вздумайте его переносить с места, где лежит, и вообще трогать его нельзя. Если найдется в хуторе лед... впрочем, не надо. Но около раненого должен кто-то находиться безотлучно.

Следом за ним из горницы появились Размётнов и Майданников. Губы у Размётнова тряслись, потерянный взгляд

бродил по кухне, не видя беспорядочно толпившихся хуторян. Майданников шел со склоненной головой, и страшно резко обозначались на висках его вздувшиеся вены, а две глубокие поперечные морщины повыше переносья краснели, как шрамы. Все, за исключением Майданникова, толпою вышли на крыльцо, разбрелись по двору в разные стороны. Размётнов стоял, навалившись грудью на калитку, свесив голову, и только крутые волны шевелили на его спине лопатки; старик Шалый, подойдя к плетню, в слепом, безрассудном бешенстве раскачивал покосившийся дубовый стоян; Демка Ушаков, почти вплотную прижавшись к стене амбара, как провинившийся школьник, ковырял ногтем обмытую дождями глину штукатурки и не вытирал катившихся по щекам слез. Каждый из них по-своему переживал потерю друга, но было общим свалившееся на всех огромное мужское горе...

Давыдов умер ночью. Перед смертью к нему вернулось сознание. Коротко взглянув на сидевшего у изголовья деда Щукаря, задыхаясь, он проговорил:

— Что же ты плачешь, старик? — Но тут кровавая пена, пузырясь, хлынула из его рта, и, только сделав несколько судорожных глотательных движений, привалившись белой щекой к подушке, он еле смог закончить фразу: — Не надо...— и даже попытался улыбнуться.

А потом тяжело, с протяжным стоном выпрямился и затих...

...Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака... Вот и все!

* * *

Прошло два месяца. Так же плыли над Гремячим Логом белые, теперь уже по-осеннему сбитые облака в высоком небе, выцветшем за жаркое лето, но уже червленой позолотой покрылись листья тополей над гремяченской речкой, прозрачней и студеней стала в ней вода, а на могилах Давыдова и Нагульнова, похороненных на хуторской площади, недалеко от школы, появилась чахлая, взлелеянная скупым осенним солнцем, бледно-зеленая мурава. И даже какой-то безвестный степной цветок, прижавшись к штакетнику ограды, запоздало пытался утвердить свою жалкую жизнь. Зато три стебля подсолнушка, выросшие после августов-

ских дождей неподалеку от могил, сумели подняться в две четверти ростом и уже слегка покачивались, когда над площадью дул низом ветер.

Много воды утекло в гремяченской речке за два месяца. Многое изменилось в хуторе. Похоронив своих друзей, заметно сдал и неузнаваемо изменился дед Щукарь: он стал нелюдим, неразговорчив, еще более, чем прежде, слезлив... После похорон пролежал дома, не вставая с кровати, четверо суток, а когда поднялся,— старуха заметила, не скрывая своего страха, что у него слегка перекосило рот и как бы повело на сторону всю левую половину лица.

— Да что же это с тобой подеялось?! — в испуге воскликнула старуха, всплеснув руками.

Немного косноязычно, но спокойно дед Щукарь ответил, вытирая ладонью слюну, сочившуюся с левой стороны рта:

— А ничего такого особого. Вон какие молодые улеглись, а мне давно уж там покоиться пора. Задача ясная?

Но когда медленно пошел к столу, оказалось, что приволакивает левую ногу. Сворачивая папироску, с трудом поднял левую руку...

— Не иначе, старая, меня паралик стукнул, язви его! Что-то, замечаю, я не такой стал, каким был недавно,— сказал Щукарь, с удивлением рассматривая не повинующуюся ему руку.

Через неделю он несколько окреп, уверенней стала походка, без особых усилий мог владеть левой рукой,— но от должности кучера отказался наотрез. Придя в правление колхоза, так и заявил новому председателю — Кондрату Майданникову:

— Отъездился я, милый Кондратушка, не под силу мне будет управляться с жеребцами.

— Мы с Размётновым о тебе уже думали, дедушка,— ответил Майданников.— А что, ежели тебе заступить в ночные сторожа в сельпо? Построим тебе теплую будку к зиме, поставим в ней чугунку, топчан сделаем, а тебе в зиму справим полушубок, тулуп, валенки. Чем будет не житье? И жалованье будешь получать, и работа легкая, а главное — ты при деле будешь. Ну как, согласен?

— Спаси Христос, это мне подходяще. Спасибо, что не забываете про старика. Один черт, я по ночам почти не сплю, а зараз и вовсе. Тоскую я по ребятам, Кондратушка, и сон меня вовсе стал обегать... Ну пойду, попрощаюсь с моими жеребцами — и домой. Кому же вы их препоручаете?

— Старику Бесхлебнову.

— Он крепкий старик, а вот я уже подызносился, подкосили меня Макарушка с Давыдовым, уняли у меня жизни... С ними-то, может, и я бы лишних год-два прожил, а без них что-то мне тошновато стало на белом свете маячить...— грустно проговорил дед Щукарь, вытирая глаза верхом старой фуражки.

С этой ночи стал он сторожевать.

Могилы Давыдова и Нагульнова, обнесенные невысокой оградой, были неподалеку, напротив лавчонки сельпо, и на другой же день, вооружившись топором и пилой, дед Щукарь соорудил возле могильной ограды небольшую скамеечку. Там он и стал просиживать ночи.

— Все к моим ро́дным поближе мощусь... И им со мной веселее будет лежать, и мне возле них коротать ночи приятственней. Детей у меня сроду не было, Андрюшенька, а тут — как будто двух ро́дных сынов сразу потерял... И щемит проклятое сердце день и ночь, и никакого мне покою от него нету! — говорил он Разметнову.

А Разметнов — новый секретарь партячейки — делился своими опасениями с Майданниковым:

— Ты примечаешь, Кондрат, как за это время страшно постарел наш дед Щукарь? В тоску вдарился по ребятам и на себя ничуть не похожий сделался. Видать, скоро подомрет старик... У него уже и голова трясется, и руки чернотой взялись. Ей-богу, наделает он нам горя! Привыкли к нему, к старому чудаку, и без него вроде пустое место в хуторе останется.

Короче становились дни, прозрачнее — воздух. К могилам ветер нес со степи уже не горький душок полыни, а запах свежеобмолоченной соломы с расположенных за хутором гумен.

Когда шла молотьба, деду Щукарю было веселее: допоздна гремели на гумнах веялки, глухо выстукивали по утрамбованной земле каменные катки, слышались людские понукающие голоса и фырканье лошадей. А потом все стихло. Длиннее и темнее стали ночи, и уже иные голоса зазвучали в ночи: журавлиный стон в аспидно-черном поднебесье, грустный переклик казарок, сдержанный гогот гусей и посвист утиных крыльев.

— Тронулась птица в теплые края,— вздыхал в одиночестве дед Щукарь, прислушиваясь к птичьему гомону, призывно падавшему с высоты.

Однажды вечером, когда уже стемнело, к Щукарю тихо

подошла женщина, закутанная в черный платок, молча остановилась.

— Кого бог принес? — спросил старик, тщетно стараясь разглядеть пришедшую.

— Это я, дедуня, Варя...

Дед Щукарь, насколько мог проворно, поднялся со скамейки:

— Касатушка моя, пришла-таки? А я уж думал, что ты про нас забыла... Ох, Варюха-горюха, как же он нас с тобой осиротил! Проходи, милушка, в калитку, вот его могилка, с краю... Ты побудь с ним, а я пойду лавку проведаю, замки проверю... Тут у меня всякие дела, сторожую, делов у меня хватает на мою старость... Хватает, моя добрая.

Старик поспешно заковылял по площади и вернулся только через час. Варя стояла на коленях в изголовье могилы Давыдова, но, заслышав деликатно предупреждающее покашливанье деда Щукаря, встала, вышла из калитки, качнулась, испуганно оперлась рукою об ограду. Молча постояла. Молчал и старик. Потом она тихо сказала:

— Спасибо тебе, дедуня, что дал мне побыть тут, с ним одной...

— Не за что. Как же ты теперича будешь, милушка?

— Приехала совсем. Нынче утром приехала, а сюда пришла поздно, чтобы люди не видали...

— А как же с ученьем?

— Бросила. Наши без меня не проживут.

— Сема наш был бы недовольный, я так разумею.

— А что же мне делать, дедуня миленький? — Голос Вари дрогнул.

— Не советчик я тебе, милушка моя, гляди сама. Только ты его не обижай, ведь он любил тебя, факт!

Варя быстро повернулась и не пошла, а побежала через площадь, давясь рыданиями, она не в силах была даже попрощаться со стариком.

А в непроглядно-темном небе до зари звучали стонущие и куда-то зовущие голоса журавлиных стай, и до зари, не смыкая глаз, сидел на скамеечке сгорбившийся дед Щукарь, вздыхал, крестился и плакал...

* * *

Постепенно, изо дня в день, разматывался клубок контрреволюционного заговора и готовившегося восстания на Дону.

На третьи сутки после смерти Давыдова приехавшие из Ростова в Гремячий Лог сотрудники краевого управления ОГПУ без труда опознали в убитом Размётновым человеке, лежавшем во дворе у Островнова, давно разыскиваемого преступника, бывшего подпоручика Добровольческой армии Лятьевского.

Спустя три недели в совхозе неподалеку от Ташкента к пожилому, недавно поступившему на работу счетоводу по фамилии Калашников подошел неприметный человек в штатском, наклонившись над столом, негромко сказал:

— А вы уютно устроились, господин Половцев... Тихо! Давайте выйдем на минутку, ступайте вперед!

На крыльце их ожидал еще один человек в штатском, с седыми висками. Тот не был так безукоризненно вежлив и сдержан, как его младший товарищ, — завидев Половцева, он шагнул вперед, часто моргая, побледнев от ненависти, сказал:

— Гадина! Далеко ты уполз... Думал тут, в этой норе, от нас спрятаться? Ну, подожди, я с тобой поговорю в Ростове! Ты у меня еще попляшешь перед смертью...

— Ой, как страшно! Ой, как я испугался! Я весь дрожу, как осиновый лист дрожу от ужаса! — иронически проговорил Половцев, останавливаясь на крыльце и закуривая дешевую папиросу. А сам исподлобья смотрел на чекиста и смеющимися и ненавидящими глазами.

Его обыскали здесь же, на крыльце, и он, покорно поворачиваясь, говорил:

— Послушайте, не трудитесь напрасно! Оружия при мне нет: зачем бы здесь я таскал его с собой? Маузер у меня на квартире спрятан. Пошли!

По пути на квартиру он говорил спокойно и рассудительно, обращаясь к чекисту с седыми висками:

— Чем же ты, наивный человек, думаешь меня запугать? Пытками? Не выйдет, я ко всему готов и все вытерплю, да и пытать нет смысла, потому что, не таясь и ничуть не лукавя, расскажу все, решительно все, что знаю! Даю честное слово офицера. Два раза ты меня не убьешь, а к смерти я уже давно готов. Мы проиграли, и жизнь для меня стала бессмыслицей. Это не для красного словца,— я не позер и не фат,— это горькая для всех нас правда. Прежде всего долг чести: проиграл — плати! И я готов оплатить проигрыш своею жизнью. Ей-богу, не страшно!

— Слезай с ходулей и помолчи, а за расплатой дело не

станет,— посоветовал ему тот, к которому Половцев обращался со своей выспренней речью.

При обыске на квартире у него, кроме маузера, ничего компрометирующего не оказалось. Ни единой бумажки не было в его фанерном чемодане. Но на столе были аккуратно сложены все двадцать пять томов сочинений Ленина.

— Это принадлежит вам? — спросили у Половцева.

— Да.

— А для чего вы имели эти книги?

Половцев нагловато усмехнулся:

— Чтобы бить врага — надо знать его оружие...

Он сдержал слово: на допросах в Ростове выдал полковника Седого-Никольского, ротмистра Казанцева, по памяти перечислил всех, кто входил в его организацию в Гремячем Логу и окрестных хуторах. Никольский выдал остальных.

Широкой волною прокатились по Азово-Черноморскому краю аресты. Более шестисот человек казаков — рядовых участников заговора, в том числе и Островнов с сыном,— были осуждены Особым совещанием на разные сроки заключения. Из них расстреляны были только те, которые принимали прямое участие в совершении террористических актов. Половцев, Никольский, Казанцев, подполковник Савватеев из Сталинградской области и два его помощника, а помимо них, девять человек белогвардейских офицеров и генералов, проживавших в Москве под чужими фамилиями, были приговорены к расстрелу. Среди девяти арестованных в Москве и подмосковных городках находился и один небезызвестный в кругах деникинской армии казачий генерал-лейтенант. Он непосредственно возглавлял заговор и осуществлял постоянную связь с зарубежными эмигрантскими воинскими организациями. Только четыре человека из руководящего центра сумели избежать ареста в Москве и разными путями пробраться за границу.

Так закончилась эта отчаянная, заранее обреченная историей на провал попытка контрреволюции поднять восстание против Советской власти на юге страны.

* * *

Через несколько дней после того, как в хутор приехала Варя Харламова, вернулся из поездки в Шахты Андрей Размётнов. По просьбе Майданникова он ездил туда покупать для колхоза локомобиль. Поздно вечером они сидели

в правлении колхоза втроем: Майданников, Размётнов и Иван Найденов — секретарь созданной в Гремячем Логу комсомольской ячейки. Размётнов подробно рассказал о поездке, о покупке локомобиля, а затем спросил:

— Говорят, что Варька Харламова заявилась в хутор, бросила учиться и что будто бы уже была у Дубцова, просила принять ее в бригаду, верно это?

Майданников вздохнул:

— Верно. Жить-то ее матери и детишкам чем-то надо? Вот она и бросила техникум. А девчонка способная.

Размётнов, очевидно, уже все продумал в отношении Вари и теперь заговорил в полной уверенности, что с ним согласятся:

— Она — невеста покойного Семена. Надо, чтобы она училась. Он этого хотел. Так и надо сделать. Завтра же давайте призовем ее сюда, поговорим с ней и отправим обратно в техникум, а семью ее возьмем на колхозное обеспечение. Раз нет с нами дорогого нашего Давыдова — давайте возьмем на себя содержание его семьи. Возражений нету?

Майданников молча кивнул головой, а горячий Иван Найденов сжал руку Размётнова, воскликнул:

— Ты просто молодец, дядя Андрей!

И тут Размётнов вдруг вспомнил:

— Да, ребятки, забыл вам сказать... Знаете, кого я встретил на улице там, в Шахтах? А кого бы вы думали? Лушку Нагульнову! Идет этакая толстая бабеха, рядом с ней лысоватый толстенький мужчина... Глянул я на нее — и потерялся: то ли она, то ли не она! Морда толстая, глазки заплыли, и обнимать уже надо тремя руками. А по выходке вижу — она. Подхожу, здороваюсь, говорю: «Лушаня, да ты ли это?!» А она мне в ответ: «Гражданин, я вас не знаю». Я смеюсь, говорю ей: «Скоро же ты своих хуторских забыла! Ведь ты же Лушка Нагульнова?» Она этак, по-городскому, фасонисто, пожевала губами и говорит: «Когда-то была Нагульнова, когда-то была Лушка, а теперь Лукерья Никитична Свиридова. А это мой муж, горный инженер Свиридов, познакомьтесь». Ну, я поручкался с инженером, а он смотрит на меня чёртом: дескать, почему я так с его женой по-простому разговариваю? Повернулись и пошли, обое толстые, видать, довольные собой, а я про себя думаю: «Ну, и сильны же бабы! Недаром Макар против них всю жизню восставал! Не успела двух похоронить, Тимошку и Макара, а уже выскочила за третьего!» Да ведь

дело не в том, что выскочила, а когда она сумела такие тела на себя набрать?! Вот об чем я думал, стоя там, на улице. И что-то во мне воспечалилось сердце, жалко стало прежнюю Лушку, молодую, хлесткую, красивую! Как, скажи, я ее, прежнюю-то, когда-то давным-давно во сне видал, а не жил с ней в хуторе бок о бок...— Размётнов вздохнул: — Вот она, наша жизненка, ребята, какими углами поворачивается! Иной раз так развернется, что и нарочно не придумаешь! Ну, пошли?

Они вышли на крыльцо. Далеко за Доном громоздились тяжелые грозовые тучи, наискось резали небо молнии, чуть слышно погромыхивал гром.

— Дивно мне, что так припозднилась гроза в нынешнем году,— сказал Майданников.— Покрасоваться на нее, что ли?

— Вы красуйтесь на нее, а я пошел.— Размётнов попрощался с товарищами, молодцевато сбежал с крыльца.

Он вышел за хутор, постоял немного, затем неторопливо направился к кладбищу, далеко, кружным путем, обходя смутно видневшиеся кресты, могилы, полуразрушенную каменную ограду. Он пришел туда, куда ему надо было. Снял фуражку, пригладил правой рукой седой чуб и, глядя на край осевшей могилы, негромко проговорил:

— Не по-доброму, не в аккурате соблюдаю твое последнее жилье, Евдокия...— Нагнулся, поднял сухой комок глины, растер его в ладонях, уже совсем глухим голосом сказал: — А ведь я доныне люблю тебя, моя незабудная, одна на всю мою жизнь... Видишь, все некогда... Редко видимся... Ежли сможешь — прости меня за все лихо... За все, чем обидел тебя, мертвую...

Он долго стоял с непокрытой головой, словно прислушивался и ждал ответа, стоял не шевелясь, по-стариковски горбясь. Дул в лицо ему теплый ветер, накрапывал теплый дождь... За Доном бело вспыхивали зарницы, и суровые, безрадостные глаза Размётнова смотрели уже не вниз, не на обвалившийся край родной могилки, а туда, где за невидимой кромкой горизонта алым полымем озарялось сразу полнеба и, будя к жизни засыпающую природу, величавая и буйная, как в жаркую летнюю пору, шла последняя в этом году гроза.

*1932—1959*

## СОДЕРЖАНИЕ

**ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА**

Шолохов М. А.
Ш78 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 6. Поднятая целина: Роман в 2-х кн./Сост. М. Манохиной.— М.: Худож. лит., 1986.—351 с.

В том входит роман «Поднятая целина» (Книга вторая)

Ш $\frac{4702010200\text{-}109}{028(01)\text{-}86}$ подписное ББК 84 Р7 Р2

Михаил Александрович
ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

ТОМ 6

Редактор
Т. Халилова
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
С. Ефимова
Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 4410

Сдано в набор 24.05.85. Подписано в печать 17.09.85. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 20,18. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № III. Заказ 1952. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.